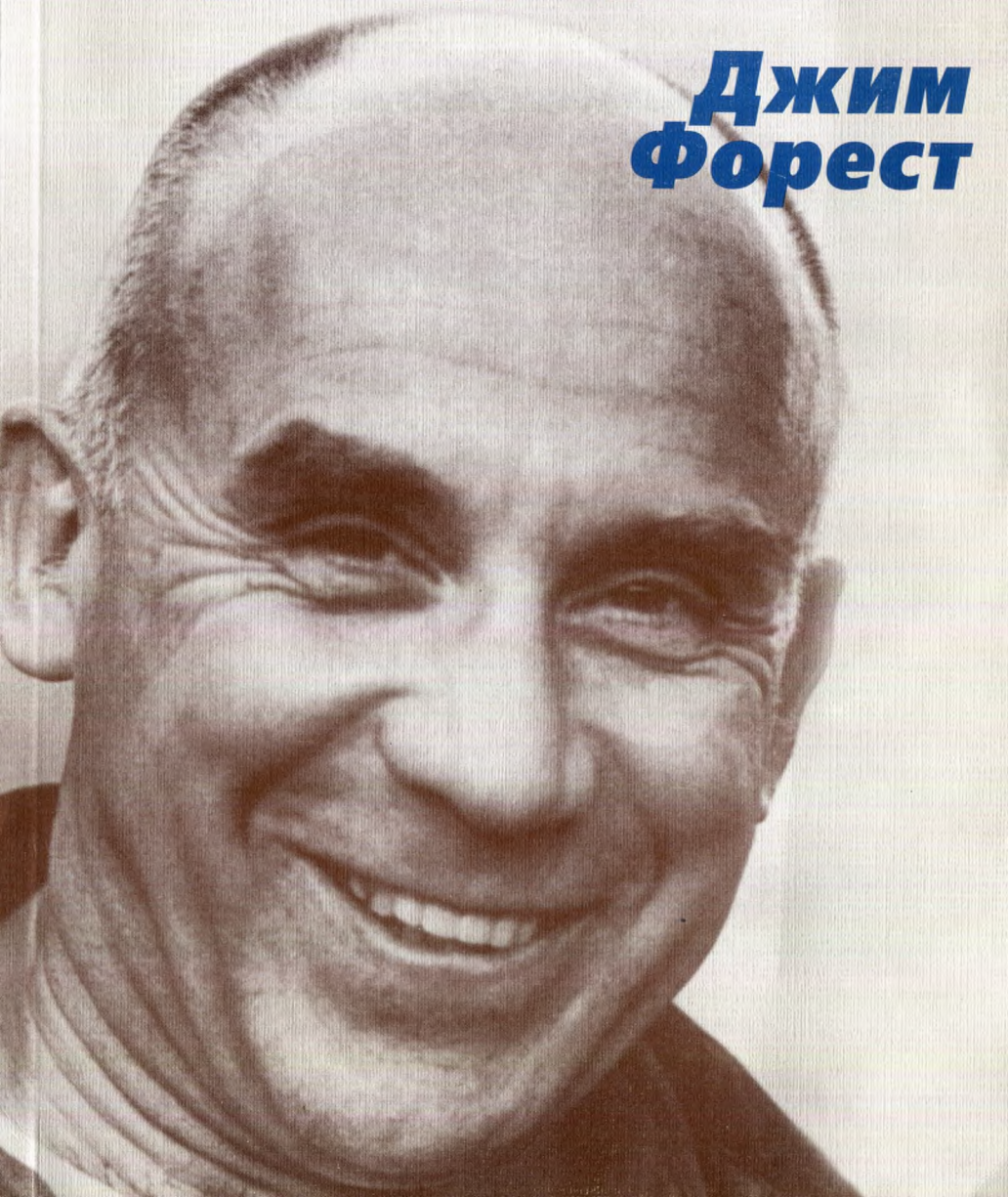


ЖИВУЩИЙ в премудрости

**Джим
Форест**



Перевод с английского *Андрея Кириленкова*
под редакцией *Наталии Трауберг*

Форест Д.

Живущий в премудрости. Жизнь Томаса Мертона: Пер. с англ. —
М.: Истина и Жизнь, 2000. — 264 с. Илл.

Редактор *А. Калмыкова*

Корректор *Н. Худякова*

Компьютерная вёрстка *Н. Смирнов*

Эта книга переведена и издана благодаря дружескому участию, помощи, молитвам и материальной поддержке тех, кто лично знал и любил Томаса Мертона. Благодарим прежде всего председателя Британского общества Томаса Мертона, каноника Дональда Оллина, в своё время горячо поддержавшего идею переводить Мертона на русский, за его рассказы о Мертоне и первую спонсорскую поддержку. Благодарим монсеньора Уильяма Шеннона, основавшего в 1987 году Международное общество Томаса Мертона и ставшего его первым президентом, за присланные книги Мертона, написанную им биографию Мертона «The Silent Lamp», которая облегчила работу над переводом, и за грант, выделенный на перевод. Благодарим Попечительский совет и всех членов Международного общества Томаса Мертона, внесших пожертвования на работу над книгой. Благодарим Гарри и Лин Избелл, пожертвовавших всю сумму, необходимую для издания книги, и конечно же, самого автора, Джима Фореста, без помощи которого этой книги не было бы.

Права на перевод на русский язык и эксклюзивное право на издание русского перевода «Living with Wisdom: A Life of Thomas Merton» Джима Фореста переданы издательству «Истина и Жизнь» издательством «Orbis Books»; договор от 24 января 1997 г.

Перевод осуществлён с издания: Jim Forest. Living with Wisdom. A Life of Thomas Merton. — Orbis Books, New York, 1992.

© 1991 by James H. Forest

© Андрей Кириленков, перевод, 2000

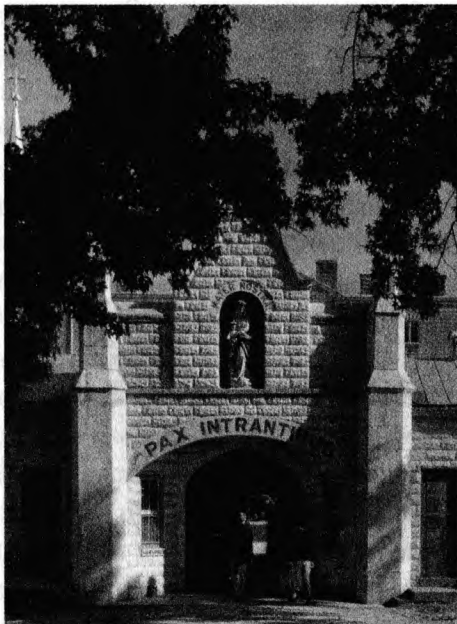
© Наталия Трауберг, общая редакция, 2000

© Истина и Жизнь, русское издание, 2000

Из письма Томасу Генрихсону
Хасслер-Форест:

*То, что мы ищем — в нас.
Нет нужды за этим гоняться.
Оно тут всё время
и даст знать о себе,
если мы не будем его торопить.*

Томас Мертон



*... Если хотите знать, кто я,
не спрашивайте, где я живу,
что люблю есть,
как зачёсываю волосы,
но спросите, зачем живу
и что мне мешает
совсем отдаться тому,
для чего живу.*

Томас Мертон

Предисловие

Томас Мертон вошёл в мою жизнь со страниц своей автобиографии. Я служил на флоте, ехал домой на Рождество и, дожидаясь автобуса, заметил бумажный переплёт «Семярусной горы» у газетного ларька. История о молодом человеке, ставшем монахом, мгновенно привлекла моё внимание. Потом я ехал в направлении Хадсон Вэлли и, по временам отрываясь от книги, смотрел на густо падавший снег. С тех самых пор эта книга связана для меня с безмолвным танцем снежинок, стремительным водоворотом пронесшихся в свете уличных огней.

Она сыграла не последнюю роль в том, что через полтора года я вернулся домой сознательным противником существующих порядков. Впрочем, были и другие причины, из коих отнюдь не второстепенная — моё участие в Движении рабочих-католиков (ДРК). У Движения был дом в Нью-Йорк Сити, и я поселился там после демобилизации. Тогда же я ближе познакомился с Мертоном.

Дороти Дэй, основательница ДРК, состояла с ним в переписке. Зная о моём интересе к монашеству и Мертону, Дороти советовала и мне ему написать. Я долго не находил повода, пока наконец Мертон не прислал Дороти свои стихи, а она дала их мне. Я написал ему, и он ответил, среди прочего признавая, что мы живём в эпоху войн и нужно «умолкнуть, смириться и, оставаясь на своём месте, довериться Богу и уповать на мир, который во благо нашим душам».

Я ещё не понимал, что эта фраза выстрадана Мертоном в длительных борениях. Казалось, что он просто отвечает мне (настолько его слова пришлись в точку); он же, по своему обыкновению, говорил отчасти с собой самим. Ему тоже было очень трудно молчать,

он тоже страшился оказаться не очень смиренным, а иногда противился тому, чтобы сидеть на месте.

Переписка — родная стихия Мертона. В Луисвилле, штат Кентукки, создан Центр по изучению Томаса Мертона, в котором хранятся многочисленные папки с его корреспонденцией. Три подборки писем уже опубликованы, выйдут и другие. Поражаясь дару Мертона, Ивлин Во посоветовал ему «отложить книги, взяться серьёзно за письма и достичь в этом вершин». Письма были для Мертона и единственным способом связи, и местом, где он мог размышлять вслух без оглядки на цензоров; они учили его; в них и сам он поддерживал тех, кому сострадал — вселял надежду, дарил и разделял любовь. За семь лет, прошедших с 1961 года до его гибели, мы написали друг другу столько, что этого хватило бы на внушительную книгу.

Мертон любил отвечать молодым людям. По-моему, он радовался, когда подмечал в них то, что скрыто от них самих, и помогал им найти себя. Со мной, по крайней мере, случилось именно так — он был мне настоящим духовником, хотя я и не ходил к нему на исповедь.

Поначалу, прочтя одну «Семиярусную гору» — опубликованную, как и все его ранние книги, без фотографии автора — я представлял себе Мертона таким монахом в железной маске. Конечно, я многое проглядел в нём или просто неверно понял — как обычно и бывает, когда читаешь книгу в первый раз. К примеру, не заметив в нём чувства юмора, я воображал его суровым, тощим, как скелет, от непрерывных постов, вроде Ихавода Крейна¹, хотя знал, что Гефсиманский монастырь — не «Долина спящих». Пугало, которое я придумал, не вызывало во мне особого беспокойства — разве не так должен выглядеть монах? Пленял меня не воображаемый облик Мертона, а его дар рассказчика и та страстность, с которой он описывал свой путь к обращению. Его книга в каком-то смысле — лю-

¹ Ихавод Крейн — персонаж «Долины спящих» Вашингтона Ирвинга (*Legend of Sleepy Hollow*). Само по себе слово «ихавод» означает «беславие» (см. 1 Цар 4. 12).

бовное письмо, с той лишь разницей, что любит он не женщину, а Бога, Христа, Марию, святых, Католическую Церковь, траппистский орден и, наконец, свой монастырь. Что ж удивляться, если всё прочее, в том числе многообразие христианского мира, отброшено в сторону, и читателю вполне может показаться, будто лучший путь на небо — это траппистская проволока под куполом цирка. Ведь то же самое — в любовных письмах: ты самая красивая, ты — моё единственное счастье, тобой и только тобой я дышу...

В самом начале нашей переписки Мертон предложил мне навестить его. Выбраться я смог только в феврале 1962 года. Денег на поездку не было. В доме ДРК у меня был полный пансион да мелочь на подземку и тому подобное. Просить денег я не осмеливался, предпочитая продавать на уличных перекрёстках «Кэтолик Уоркер». Часть прибыли доставалась мне на карманные расходы. Мысль о поездке в монастырь привлекла моего коллегу по газете, Боба Кея, и мы решили ехать на попутках. В сырой зимний день, рано утром, закупив в булочной на Спринг-стрит ещё тёплого итальянского хлеба, мы отправились в Кентукки и два дня добирались до Гефсимании.

После того как комендант отвёл меня в мою комнату, я первым делом отправился в церковь. Благодарить Бога было легко, ведь позади — изнурительное путешествие. Мою молитву бесцеремонно прервал отдалённый смех, такой насыщенный и пронзительный, что меня против воли потянуло взглянуть на его источник — чего-чего, а уж веселья в покаянном траппистском монастыре я не ожидал.

Смех раздавался из гостиницы, из соседней с моей комнаты, где поселился Боб Кей. Когда я открывал дверь, он ещё не смолк. «Вот она, разница между нами, — подумал я. — Благочестивой молитве Бог явно предпочитает самозабвенный смех». Боб и впрямь смеялся, но главным виновником был не он, а сидевший на полу краснолицый человек: он схватился за живот, а ноги задрал кверху, едва не доставая коленями плеч. На нём было чёрно-белое облачение и широкий кожаный пояс. Слегка более упитанный, чем воображаемые мной трапписты, он чем-то напоминал Пикассо с фотографии

Дэвида Дункана. Человек, который смеялся с неведомым для меня самозабвением, оказался Томасом Мертоном. (Чему они смеялись? Тому, как пахли ноги, превшие в ботинках от Ист Сайда до Гефсиманского монастыря.)

После недели в Гефсимании «Семярусная гора» стала для меня новой и совсем другой. С тех пор я знал, что человек, написавший её и ещё много других книг, способен разразиться смехом, сходящим прямо с небес.

Всякий, читавший автобиографические книги Мертона, доподлинно знает, что в иные — и продолжительные — времена ему бывало вовсе не до смеха, причём отнюдь не всё его горе связано с событиями, предшествовавшими монашеству. Самый почитаемый из здравствующих монахов и самый знаменитый из траппистов, он так до конца и не был уверен, что он — на своём месте.

К 1962 году, когда мы впервые встретились, многое в его жизни уже разрешилось, хотя и не окончательно. Мертон был на редкость свободен и умиротворён. Не оттого, конечно, что сжёг мосты, соединявшие его с миром, а оттого, что осознал, как связаны монах и мир. Его стремление дать христианский ответ войне и социальной несправедливости питало нашу оживлённую переписку, а два года спустя снова привело меня в монастырь.

О Мертоне невозможно писать, не воздавая должного его участию в движении за мир, но легко поддаться искушению, переоценив эту сторону его жизни и упуская или принижая остальные. Надеюсь, мне удастся сохранить разумное равновесие.

За кого бы его ни принимали — за эссеиста, критика общественных порядков, дерзновенного экумениста, поэта, фотографа, художника, автора писем, — Мертон прежде всего монах. За Мессой, в молитве и медитации он проводил гораздо больше времени, чем над книгами, письмами или чем-либо ещё, что могло привлечь к нему внимание. Большая часть его жизни в монашестве ушла на поедающие уйму времени послушания. Кроме того, он разделял с братьями повседневный физический труд. Ткань обыденной жизни часто (и, видимо, неизбежно) из биографий выпадает; они стара-

ются показать события, «не-события» же отходят в тень. Мертон интересен прежде всего ими.

Размеры этой книги не позволяют осветить всё самое важное в его жизни и трудах. Но если она приоткроет дверь к писаниям самого Мертона, а возможно, и к работам о нём, я буду рад.

Этому варианту биографии предшествовал первый, более краткий, написанный двенадцать лет назад. Новая, переработанная и существенно расширенная версия, появилась по инициативе Роберта Элсберга, главного редактора «Орбис». За издание новой книги и за работу над рукописью приношу благодарность ему, а также Джоан Мэри Лафлам, которая была редактором.

Среди прочих я должен поблагодарить Майкла Мотта, чьим величайшим должником я себя считаю. Его книга величиной с Библию — «Семь гор Томаса Мертона» — и по сей день остаётся самой полной биографией. Благодарю Боба Лакса за помощь и незлобивость, Роберта Жири, Джеймса Лафлина и Наоми Бертон Стоун — за книги Мертона, которые они много лет присылали мне; монсеньора Уильяма Шеннона — за советы и поддержку, равно как и за глубокие мысли о духовности Мертона в его книге «Тёмный путь Томаса Мертона». Благодарю дом Эда Бамбергера за эссе о Мертоне и православии; сестру Донну Кристоф за эссе о Мертоне и иконах; брата Патрика Харта за многолетнюю дружбу и рассказы о Мертоне; Роберта Дагги, директора Исследовательского центра в Луисвилле, — за многолетнее сотрудничество и помощь с фотографиями для этого издания; Роберта О'Нила из Бостон-колледжа и Кеннета Лофа из Колумбийского университета — за фотографии; Марго Мунц и Боба Грипа, помогавших вычитать рукопись. Наконец, благодарю свою жену Нэнси, с которой мы вместе молимся, работаем, читаем и растим детей.

Д.Ф.

20 января 1991 года

Алкмаар, Голландия

Предисловие к русскому изданию

Томас Мертон, которого хорошо знают во многих странах, конечно же, хотел бы, чтобы его книги узнали и оценили по достоинству православные христиане в России.

Мертон был католиком, монахом строжайшего по уставу ордена, но на его духовность сильно повлияли традиции, хранимые православием: иконография, Иисусова молитва, апофатика синайских и афонских подвижников. Он высоко ценил изречения отцов-пустынников, знал Добротолюбие. Ни один из наших современников не был так близок по духу к неразделённой Церкви. (Он подарил мне первую мою икону — немаловажная веха на пути, приведшем меня в православие.)

Когда Мертон в последний раз пришёл к умирающему отцу, тот рисовал иконы. Томасу тогда было всего пятнадцать. Через два года в Риме его так тронули древние иконы, что он купил Новый Завет и со слезами молился.

Спустя много лет он писал другу, недоумевавшему, почему Мертон так дорожит иконами: «Когда я говорю, что мой Христос — это Христос с иконы, я имею в виду, что Он постигается не научным познанием, а просто верой, созерцанием — в богослужении, иконописи, таинствах, молитве, богословии света. Здесь очень много дали русская и греческая традиции». Эти строки появились за два года до его гибели, случившейся в 1968 году в Тайланде, на монашеской конференции. В ту последнюю поездку он взял с собой писанную на Афоне икону Богородицы.

Очень много в своё время дала Мертону встреча с Екатериной де Гук, или, как её называли в Америке и Канаде, Баронессой, русской из аристократической петербургской семьи. Баронесса, горевшая верой и умевшая разглядеть присутствие Христа в людях, основала в нью-йоркском Гарлеме Дом Дружбы. О своей интернациональной общине она рассказывала в колледже, где Мертон преподавал английскую литературу. Он тогда мучительно размышлял о своём призвании и, послушав Баронессу, пошёл в Дом Дружбы на часть дня добровольцем. Потом он долго не мог решить, что лучше — остаться навсегда в Гарлеме или уйти в монастырь. Выбор дался ему очень нелегко. В конце 1941 года, через неделю после вступления Соединённых Штатов во Вторую мировую войну, он поступил в аббатство Девы Марии Гефсиманской в Кентукки.

Через два года после окончания войны вышла в свет его «Семи-ярусная гора», одна из самых читаемых в нашем веке автобиографий. Автор стал знаменит, книгу перевели на многие языки, но Мертону было грустно. Он сожалел о том, что, став католиком, отмахивался от остального христианского мира и свысока смотрел на тех, кто не шёл в монахи.

На пятнадцатом году монашества он очень увлёкся русской светской и религиозной литературой. В то время в Америке только и говорили, что о запущенном в России спутнике. Мертону же влекла к себе русская духовность. Он понял, что Церковь станет единой только тогда, когда каждый преодолет раскол в себе:

«Совмеща в себе мысль и веру восточного и западного христианства, греческих и латинских отцов, русских и испанских мистиков, я воссоединяю разделённое. Рано или поздно христиане станут едины — уже не только во мне, не тайно, прикровенно, а явно, открыто. Стремясь объединиться, нельзя просто свалить в кучу то, что разделяет. Такой союз обречён; он будет не христианским, а политическим. Мы должны вместить в себя разрозненные миры и принести их ко Христу».

Последние десять лет жизни Мертон много писал об этом. Но та же мысль занимала его и раньше — он жаждал единства не бюрократического, не теоретического, а духовного, общей таинственной жизни во Христе, Которого называл «тайным основанием любви», «милостью милости».

К сожалению, он так и не побывал на православной литургии, но очень любил иконы и хорошо знал книги Александра Шмемана, Павла Евдокимова, Владимира Лосского, Оливье Клемана; переписывался с православными священниками и мирянами. Его восхищало то, насколько православие верно традиции, которую он никогда не воспринимал как нечто застывшее. В статье «Монашеская духовность и ранние отцы» он писал:

«Если вы захотите напиться из Миссисипи, то где почерпнёте воду — у её истоков в Миннесоте или в устье, в Новом Орлеане? Образ, конечно, несовершенный. И всё-таки, с одной стороны, время не портит христианской традиции и духовности, а с другой — они тем чище и подлинней, чем ближе к источнику и чем больше в них его свежести».

Мертон одним из первых в Америке прочёл «Доктора Живаго» — по-итальянски, за несколько месяцев до выхода английского перевода. В августе 1958 года он писал Пастернаку, восхищаясь тем «ярким неподдельным христианским духом», которым проникнут роман:

«Я рад, что, минуя огромные расстояния и непреодолимые преграды, говорю с Вами, человеком родственного мне духа. Мы словно встретились на той глубине, где люди уже не отделены друг от друга. На языке, близком мне, католическому монаху, мы познали друг друга в Боге. Для меня это простые и понятные слова, говорящие о привычном, почти будничном. ... Я уверен, что Вы меня поймёте. Верно, что каждый человек остаётся собой, не похожим на других, особенным. Но верно и то, что каж-

дый призван так понять другого, так с ним сродниться, чтобы выйти за пределы самого себя. Русская традиция называет это соборностью. На Западе это понятие остаётся туманным».

Он говорил, что надеется выучить язык «и читать русскую прозу в оригинале. ... Я бы так хотел прочесть Вашу книгу по-русски!»

Вся почта, пересекавшая границы разделённых «холодной войной» стран, проходила через ЦРУ и КГБ. То, что это письмо дошло до дачи Пастернака в Переделкине, — просто чудо. Чудо и то, что несколькими месяцами позже Мертон получил ответ. За два года — до смерти Пастернака — было шесть писем. Мертон сблизился с человеком другой Церкви, другой политической системы. Пастернак вскоре после изгнания из Союза писателей говорил друзьям: «Высокий дух и молитвы Мертона спасли мне жизнь».

Любовь Мертона к Айя София, Святой Премудрости — ещё одно свидетельство того, как близко было ему православие. Вдохновлённый русскими богословами, он воспринимал Святую Софию не рационально, а глубоко мистически, как Личность, о которой книга Притч говорит: «Я была при Нём художницею, была радостию всякий день, веселясь пред лицом Его во всё время» (Притч 8. 30). Он горячо почитал Божию Матерь, вместе со всею Церковью прославляя Её как воплощение и полноту Премудрости.

Я думаю, что обилие цитат из самого Мертона — главное достоинство этой небольшой книги. В них вы узнаете незаурядного писателя, преданного, мужественного ученика Христова, человека, неотступно, день за днём ищущего волю Божию, изумлявшего, а порой и шокировавшего монастырское начальство и простых католиков.

Многих искушал интерес Мертона к разным типам духовности, христианской и нехристианской. Он переписывался с протестантами, иудеями, буддистами, мусульманами; многие из них приезжали к нему в монастырь. Незадолго до гибели Мертон путешествовал по Азии и несколько раз встречался с Далай-Ламой.

Стали поговаривать, будто он «перерос» христианство, но это не

так. Мертон и в Азии вычитывал монашеское правило, часто служил Мессу, много молился по чёткам. Христос стоял в центре его жизни, а сам он был Его молчаливым свидетелем, миссионером, не навязывающим свою веру другим.

Не всё в Мертоне было безупречно. Узнав о нём больше, вы увидите, что и он ошибался. На первом курсе в Кембридже он пришёл внебрачного ребёнка, а в конце жизни, лёжа в больнице после операции, влюбился в медсестру. Это случилось вскоре после того, как аббат позволил ему жить в скиту. Оказавшись вне общего монастырского ритма, Мертон стал как никогда прежде уязвим для искушений. В первые годы монашества он идеализировал свой монастырь, а позже порывался найти «лучшее» убежище и в письмах, говоря об аббате и братии, порой не мог сдержать едкого сарказма.

Но обо всех этих промахах никто не знал лучше, чем сам Томас Мертон. Свидетельство тому — его дневники (недавно вышел в свет их седьмой, последний том). Видя своё несовершенство, он до последнего вздоха всего себя предавал милости Божией.

*Алкмаар, Голландия
10 декабря 1998 года,
30-я годовщина гибели
Томаса Мертона*

*Она — одна, но может всё,
и, пребывая в самой себе,
всё обновляет,
и, переходя из рода в род
в святые души,
приготавливает друзей Божиих
и пророков;
ибо Бог никого не любит,
кроме живущего с премудростью.
Она прекраснее солнца
и превосходнее сонма звёзд;
в сравнении со светом она выше;
ибо свет сменяется ночью,
а премудрости
не превозмогает злоба.*

Премудрость Соломона 7. 27—29

Pax Intransibilibus¹

Среди холмов Кентукки, в местности, известной, по большей части, своим виски и породистыми лошадьми, приютился траппистский монастырь.

Аббатство Девы Марии Гёфсиманской не похоже на ласкающие взор старые аббатства Европы, сюда не наведываются поглазеть на архитектуру или повосхищаться каменной кладкой. Трудно себе представить что-нибудь более заурядное, чем эти каменные или кирпичные сооружения. Столь же неприметны и обитатели, если привыкнуть к их чёрно-белым облачениям. Изумления достойна жизнь, которую они ведут.

Во времена, когда Литургию ещё служили по-латыни, над воротами монастыря были начертаны два слова: «Pax Intransibilibus». Надпись прочно покоилась на своём месте 10 декабря 1941 года, когда к ней подошёл приехавший из Нью-Йорка ничем не примечательный человек с мягкими чертами лица и рыжеватыми волосами.

Должно быть, Томас Мертон читал слова над воротами не без тонкой иронии. Не исключено даже, что он рассмеялся, ибо и в особо торжественных случаях не терял весёлости. Всего лишь три дня прошло с того момента, как японцы напали на тихоокеанскую флотилию в Пёрл Харбор и Америка вступила во Вторую мировую войну. Слова «Bellum Intransibilibus»² пришлось бы к месту над дверями призывных пунктов, около которых толпились в ожидании своей очереди тысячи молодых людей.

¹ Мир входящим (лат.).

² Война входящим (лат.).

Как и все, он выступил в поход, но — сам по себе, не в ногу, не в том направлении.

Немало соотечественников сочло бы его появление у этих ворот постыдным. Ясное дело — трус. Разве ему безразличны бомбёжки и фашистские полчища? Но, глядя на лицо, ещё не тронутое морщинами, легко обмануться, а монастырские ворота редко путают с аварийным выходом. Молодой Мертон знал, на что идёт. Разрывы бомб уже вспороли хорошо знакомые улицы Лондона. Несколько лет известия о войне в Европе разъедали ему душу, как разъедают известняк кислотные дожди. В монастыре он искал мира, а не безопасности. Он приехал в Гефсиманское аббатство, убеждённый в том, что место, где жизнь посвящена молитве, — в центре, а не на обочине истории и что он больше сделает для мира именно там, а не на полях сражений. У монастырских ворот он появился по той же причине, по какой другие записывались в солдаты, — чтобы встать в строй.

Впрочем, были у него и другие соображения. В отличие от тех, кто уходил на фронт, он знал, что многое из того, чем мир так дорожит, того не стоит. Работая добровольцем в трущобах Гарлема, он получил представление о расизме. Много лет прожив чужаком во Франции, Англии, Америке, он не питал почтения к знамёнам. Мир оглушил людей своим грохотом, они не слышат собственной совести. Мертон жаждал вырваться из этого шума. Ему досаждал даже перестук пишущей машинки, на которой он надеялся выступать свою судьбу. Его тяготило собственное имя, как и все притязания на место в этом мире.

Он обрёл почти всё: безмолвную и суровую жизнь, заполненную молитвой и богослужением, общину, старающуюся жить только для Бога. Всё, кроме безвестности. Не прошло и десяти лет, как о книгах его стали говорить повсюду, от кухонь до папских покоев. Его автобиографию и целый парад других книг перевели на многие языки, их читали не только католики и христиане других конфессий, но и иудеи, буддисты, индуисты, мусульмане и ещё многие, не относящие себя ни к одной из вер. Тысячи его читателей обратились к Богу.

Ровно через 27 лет он погиб на другом конце земного шара, монахом своего монастыря, уже не только знаменитым, но и вызывающим пререкания. После статей о войне и расизме его обвиняли в том, что он коммунист, скрывающийся под монашеским облачением. Монастырское начальство заставило его замолчать, но потом запрет был снят; оба Папы прислали ему дары, а один из них, Иоанн XXIII, опубликовал энциклику «Pacem in Terris», которую мог бы написать Мертон. В десятилетие политических убийств многие решили, что гибель его не случайна, и вину в ней ЦРУ.

«Pax Intransigentibus...»

Молодой Мертон позвонил и стал ждать. Показалось лицо старого монаха. «Я хочу стать монахом», — сказал приезжий из Нью-Йорка.

Детство

*Мать хотела, чтобы я стал независимым,
не поддавался стадному инстинкту.*

Томас Мертон родился вечером, в последний день января 1915 года, во время снегопада, в Прадес — городке, приютившемся под сенью французской части Пиренеев, недалеко от испанской границы. Место это и по сей день прекрасно. В двух днях пути от него только что началась Первая мировая война.

Его родители встретились в 1911 году в Париже. Оба они учились в художественной школе, обоим было по двадцать с небольшим. Рут Дженкинс выросла в Америке, на Среднем Западе, Оуэн Мертон — в Новой Зеландии. Поженились они в апреле 1914 года в Лондоне, а через два месяца уехали в Прадес.

Мертонеры выбрали это местечко, польстившись на заманчивую для художников лёгкую и недорогую жизнь и стремясь быть поближе к друзьям. Но летом 1916 года, гонимые войной, они переехали в Америку, к родителям Рут — Сэму и Марте Дженкинс. Дом их располагался в Дуглстоне на Лонг-Айленде, и Сэм каждый день ездил оттуда в Манхэттен, в свой издательский офис.

Я не был идеальным ребёнком. В маминых дневниках времён моего раннего детства сквозит недоумение, откуда взялись у меня черты, которые она никак не ожидала увидеть и которые ей неприятны. К примеру, когда мне ещё не было и четырёх лет, я всерьёз поклонялся огню газовой горелки и придумал целый ритуал. Мама считала, что время, когда детей непременно общали к церкви и формальному благочестию, прошло...

«Семярусная гора»

Я появился на свет в год великой войны, в последний день января 1915-го, под знаком Водолея, под сенью французских гор на границе с Испанией — свободный по замыслу Божьему, как Его образ, а по образу мира сего, в который вступил по рождению. — пленник своей жестокости и своего самолюбия.

«Семиарусная гора»

Осенью Оуэн и Рут сняли ветхий домик во Флашинге, в пяти милях от Дуглстона. Из четырёх комнат две были «едва ли больше чулана» (1).

Талант Оуэна Мерттона постепенно завоёвывал признание. В живописи, писал уже в монастыре его сын, выражалось его видение мира, «здра-

вое, уравновешенное, полное благоговения перед устойчивостью, равновесием и слаженностью этого мира и перед всем, что делает каждое творение неповторимым». Это был «религиозный и ясный» взгляд (2). И всё же семья нередко оказывалась на грани нищеты, продать картину удавалось редко. Отец Рут, человек вполне состоятельный, всегда был готов прийти на помощь, но гордые дети не допускали семейной филантропии. Оуэн то работал садовником, то играл на органе в местной церкви, то — на пианино в местном кинематографе, где крутили тогда немое кино.

Родители Тома держались радикальных убеждений. Идеалами их, среди прочего, были простота и пацифизм. Оуэн не испытывал ни малейшего желания примерять военную форму или работать штыком. Призывные плакаты, военные песни и разговоры о «войне, которая покончит с войнами» его совершенно не трогали. Он продолжал писать картины, понимая, впрочем, что Америка не прибавляет ему живости. Рут сблизилась с общиной квакеров и стала ходить к ним по воскресеньям, зная, что там уж никто не станет петь дифирамбов войне.

Хотя Рут и оставила живопись, в её фотографиях чувствуется глаз художника. На одной из них Том сидит в детском креслице за взрослым стулом, как за партией. Это фото скорее похоже на икону — жизнь, осиянная светом.

Матери удалось поймать то, что её особенно трогало в сыне, — невероятную, немислимую сосредоточенность. Вообще же он был

трудным, упрямым ребёнком и не оправдывал её надежд. «Мама хотела, чтобы я был независимым, не поддавался стадному инстинкту. По её замыслу, я должен был стать личностью незаурядной, особенной, со своими устоями и идеалами. Меня нельзя было слепить наспех, поточным методом, как обычного буржуа» (3). В памяти Мертон она — «хрупкая, изящная, рассудительная, с серьёзным, озабоченным и очень нежным лицом... беспокойная, педантичная, проворная и строгая... полная неосуществимых грёз и немислимо устремлённая к совершенству» (4), до которого сам он не мог или не хотел достигать. Когда, например, пятилетний Том писал с ошибками, мать укладывала его в постель раньше обычного. «Вполне естественно, что у строгих матерей вырастают отшельники» (5), — говорил он потом.

Младший брат Тома, Джон Пол, родившийся в ноябре 1918 года, был поспокойней. «Живущая в нём тихая радость поражала всех», — вспоминал Мертон; в нём не было «смутных побуждений и порывов» старшего брата (6).

Самым невозмутимым в семействе был Оуэн Мертон. «Это был очень честный, искренний, очень ясно мыслящий человек... талантливый и великодушный», — писал Мертон в монастыре. В отличие от Рут, он не заботился о правописании, но, как и она, хотел ограждать душу Тома «от заблуждений, посредственности, уродств и подделок» (7).

Летом 1921 года врачи обнаружили у Рут рак желудка. В октябре, уже при смерти, в нью-йоркском госпитале, она написала Тому прощальную записку. Она не хотела, чтобы сын видел, как она умирает. «Взяв записку, я вышел к клёну на заднем дворе, — вспоминал Мертон. — Я долго бился над ней, пока наконец не понял,

Верующим среди нас был только отец. Верил он, несомненно, очень глубоко... Это был очень честный, искренний, очень ясно мыслящий человек... талантливый и великодушный. Он произвёл меня на свет, растил, заботился обо мне, он воспитал мою душу; я безмерно любил и почитал его, восхищался им, был очень к нему привязан. Опухоль мозга оборвала его жизнь.

«Семиярусная гора»

Наверное, у детей так часто бывает: младший брат чувствует себя принижённым, а старший считает его младенцем, презирает и поглядывает свысока.

«Семиярусная гора»

что всё это значит. Тяжкая горечь и уныние охватили меня» (8). Тело Рут кремировали, и от неё не осталось ничего, кроме густого рыжего локона, состриженного ещё в детстве и завёрнутого в бумажную салфетку, и двух сы-

новей — шестилетнего Тома и трёхлетнего Пола.

Мальчиков отправили к родителям Рут, а Оуэн, бросив свои беспорядочные занятия, отправился путешествовать. Вскоре Том начал сопровождать отца и попал вместе с ним сперва на Кейп Код, а потом — на Бермуды, ещё не затоптанные туристами. Под карибским солнцем Оуэн чувствовал себя как дома и даже влюбился в писательницу Ивлин Скотт, жену его друга, тоже художника. Так образовался продержавшийся около двух лет «ménage à trois»¹. Крах его отчасти связан с антипатией, которую Том питал к Ивлин. «Маленький Том просто ненавидел меня», — признавалась она (9).

Оуэн Мертон приобщал Тома к вольной богемной жизни. Пока Джон Пол ходил в школу, старший брат прочёсывал взморье, слушал моряцкие шутки и истории. «Едва ли был какой-то смысл в том, что наша жизнь и планы из месяца в месяц менялись, — вспоминал Мертон. — То я ходил в школу, то нет; то мы жили с отцом, то я оставался с чужими и мы виделись изредка. Новые люди то появлялись в нашей жизни, то исчезали; сегодня мы дружили с одними, а завтра — с другими. Всё постоянно менялось». На Бермудах Том начал было ходить в школу, но вскоре бросил, предпочтя школьной доске песчаные дюны. Отец не возражал. «Я мог носиться, где мне заблагорассудится, и делать всё, что хочу. Прекрасная была жизнь» (10). Только в 1923 году, на время своих поездок во Францию, а по-

¹ «Союз втроем» (франц.).

том в Северную Африку, Оуэн оставил Тома в Дуглстоне.

Дед Тома, «Папаша» Дженкинс, работал в издательском доме «Гроссет и Данлэп», где пахло типографской бумагой и пишущими машинками. Среди полок, уставленных детскими книжками, Том чувствовал себя не хуже, чем на Бермудах.

Папаша Дженкинс питал страсть к кино и заразил ею своих внуков. Он водил дружбу с актёрами из Голливуда, и частная жизнь кинозвёзд была обычной темой застольных бесед. В то время Лонг-Айленд уступал в киноиндустрии лишь Голливуду. На съёмочных площадках, неподалёку от Дуглстона, Том смотрел, как Глория Свэнсон играет невесту в сцене цыганской свадьбы; но комедии нравились ему больше. Однажды Том видел, как Филдз дубль за дублем отработывал одну и ту же сцену — пошатываясь, спускался по лестнице полуразвалившегося дома, шёл напролом через кусты и наконец обрушивался вниз, прямо на спину пасшейся под обрывом коровы.

Хотя Сэм и Марта Дженкинс принадлежали к местной Епископальной церкви, религиозность Папаши, насколько мог тогда судить Том, скорее стояла на отрицании — он не был ни католиком, ни иудеем. Католики, говорил Папаша, — лицемеры и плуты, иудеи — не многим лучше. Слово «Ватикан» было ругательным.

Когда Мертону исполнилось восемь лет, произошло событие, воспоминание о котором преследовало его всю жизнь. Старший брат, перед которым Джон Пол просто благоговел, считал младшего соперником и занудой.

Однажды Том с двумя друзьями соорудил в лесу хибарку из старых досок и толя и объявил её запретной зоной. Камни летели в любого, кто дерзал подойти слишком близко. Спустя четверть века, после событий, лишь обостривших мучительные воспоминания,

В детстве всё самое важное о вере и добродетели я узнавал от отца.

Это происходило как-то невзначай, когда мы разговаривали на вполне обыденные темы. Отец никогда не задавался целью преподать мне урок веры, всё получалось у него очень непринуждённо.

«Семярусная гора»

После смерти мамы стало ясно одно: отец мог теперь всё своё время отдать живописи. Его ничто и нигде не держало, в поисках новых сюжетов и замыслов он волен был отправиться куда угодно. Я же был достаточно взрослым, чтобы ехать с ним.

«Семиярусная гора»

Мертон рассказывал, как Джон Пол стоял в поле, в стаях от них. «...Сбитый с толку пятилетний мальчик в коротких штанишках и кожаной курточке... растерянно опустил руки и пристально смотрел в нашу сторону. Он боялся камней и не решался идти дальше. Обиженный, грустный, несчастный,

он стоял и не уходил. ...Ему страшно хотелось быть с нами и делать то же, что мы. Вписанный в него закон влѣк его к старшему брату, и он не мог понять, почему его любовь попирают так дико и несправедливо» (11).

В начале 1925 года, пережив разрыв с Ивлин и приступ тяжѣлой болезни, которую он подхватил в Алжире, Оуэн Мертон устроил выставку своих картин в Лондоне. Сверх всяких ожиданий его похвалил сам Роджер Фрай, и Оуэн вернулся в Дуглстон при деньгах и при бороде, в ореоле триумфа. Проведя несколько месяцев с Дженкинсами, он решил, что самое время возвратиться во Францию. Тома он хотел взять с собой, а Джона Пола оставить, полагая, что тот ещё слишком мал. Для Джона Пола это был, конечно, тяжѣлый удар, куда болезненнее изгнания из хибарки. В августе Оуэн и Том отплыли во Францию.

Очередным домом для Мертона стал хорошо сохранившийся средневековый город Сент-Антонен на юге Франции, в сорока милях от Тулузы, чѣе местоположение и архитектура ещё напоминали о минувшей эпохе веры.

«То был, — вспоминал Мертон, — лабиринт узких улочек с домами XIII века, в большинстве своём — дышащими на ладан... От красок, веселья и шума средних веков не осталось ничего; однако всякий, гуляющий по этим улочкам, погружался в средневековье» (12).

Всѣ в городке сходилось к одной точке — к церкви. Она господствовала над всем, и колокола каждый день вызванивали Angelus,

«напоминая людям о том, что их охраняет Божья Матерь» (13). Казалось, что сама церковь и все окрестности возглашают: «Вот он, смысл всего сотворённого! Мы созданы только для того, чтобы люди, глядя на нас, устремились к Богу и прославили Его» (14).

Оба Мертонa время от времени бродили по горам, между развалинами монастырей, отдыхая душой возле «чистых

древних каменных обителeй, чьи низкие и властно округлённые арки были выведены монашескими руками».

Встречали они и веру, воплощённую в людях. Лето 1927 года Том и Оуэн прожили у католиков по фамилии Прива, основательных крестьян с кельтскими корнями, из Оверни. Мертон запомнил их доброту, миролюбие, покой, простоту и то, с каким благоговейным молчанием обходили они священные темы. Однажды, пытаясь подбить их на защиту своей веры, он сказал, что между религиями разницы не больше, чем между методами преподавания арифметики. Но мсье Прива тихо и печально произнёс: «Mais c'est impossible»¹. Позже Мертон писал о них как о безвестных святых, не прославленных Церковью, святых в обыденной жизни, в центре которой — Бог. Они были «одними из самых удивительных людей, которых я знал» (15). Их дом поистине издавал небесное благоухание. Благодаря их заботе о его душе он понял, что у него вообще есть душа. Спустя много лет он узнал, почему отец так долго жил у них: врач в Сент-Антонен обнаружил у Тома туберкулёз (16).

Если дом Прива был небесной обителью, то расположенный в двадцати пяти милях к югу в Монтобане интернат, куда определи-

Всё в этом восхитительном древнем городе — каждая его часть, дома, улицы и сама природа, окружавшие его горы, утёсы и деревья — сводило моё внимание к самому важному и главному — к церкви и к тому, что в ней. Где бы я ни бродил, всё понуждало меня, хоть и подсознательно, ощущать её присутствие. Каждая улица так или иначе указывала внутрь, на центр города, на церковь.

«Семиярусная гора»

¹ Да быть не может (франц.).

ли Тома, скорее напоминал ад. Вспоминая об этом двадцать лет спустя, Мертон писал, что таких школ было очень много. «Что ж удивляться, что нет мира на земле, если делается всё возможное, чтобы дети росли без всякого нравственного и религиозного нази-дания, без намёка на внутреннюю жизнь, духовность, милосердие и веру. Всё, о чём договариваются правительства, повиснет в воздухе, если не будет самой главной опоры» (17).

И всё же Том кое-как учился. Французский язык вместе со мно-жеством непечатных слов стал для него родным. В автобиографии он назвал интернат школой легкомыслия и цинизма. Позднее, уже не имея нужды смотреть на своё прошлое в чёрно-белых тонах, он с любовью вспоминал мсье Дельмаса, учителя, который открыл ему Фенелона (18). Именно тогда Том Мертон начал писать. Он нашёл «более или менее тихих друзей», в которых «остроумия было боль-ше, чем непристойности. ...У них были идеалы и чаяния, искавшие выхода, и уже к середине первого года мы все неистово строчили романы» (19).

Именно в те три года во Франции Тому стала приоткрываться религиозность отца. «Никогда не забуду, — писал он в “Семярус-ной горе”, — как отец сказал что-то о предательстве Петра и о том, как, заслышав пение петуха, тот горько заплакал. ...Мы просто разговаривали, стоя в прихожей, но тот образ запечатлелся во мне на всю жизнь — вот Пётр, он выходит вон и плачет горько» (20).

Вспоминал он и то, как отец возмутился женщиной, злобно го-ворившей с соседом. «Он спросил, зачем, на её взгляд, Христос просил любить врагов. Может, для собственной выгоды? Не ра-зумнее ли думать, что Он повелел так для нашего блага? Он сказал ей, что, если у неё ещё есть здравый смысл, она будет добра к дру-гим хотя бы ради блага, здоровья и мира собственной души» (21).

Англия

Я ни во что не верю.

В майский день 1928 года Оуэн Мертон приехал в Монтобан и, вызвав Тома прямо с занятий, сообщил, что они уезжают — в Лондоне будет его выставка. После долгих колебаний отец решил, что в Англии им обоим будет лучше. Расставание с Францией он принял как поражение, а его тринадцатилетний сын — как освобождение: школы больше не будет! «Как играл свет на кирпичных стенах темницы, распахнувшей передо мной свои ворота!» (22)

Дядя Бен и тётя Мод пригласили их пожить в Илинге, на западной окраине Лондона, в красном кирпичном «бастионе безопасности XIX века» (23). Великое сокровище ждало Тома в этом доме — тётя Мод, уже немолодая сестра бабушки, живая и незлобивая дама, одевавшаяся так, словно шестидесятую годовщину коронации её любимой королевы отпраздновали только вчера. «Как мило!» — приговаривала она, и казалось, что слова эти не сходят с улыбающихся губ под заострённым носом (24).

...Всё доставляло мне счастье: паром, на котором мы плыли через Ла-Мани, белые, как сливки, скалы в солнечной дымке, пристань, серо-зелёные холмы и череда отелей на вершине горы. Выкрики носильщиков на лондонском просторечии, аромат крепкого чая в привокзальном буфете — всё напоминало о стране, которая всегда была для меня страной каникул, о земле, повергающей в трепет правилами приличий и перегруженной удобствами, в которой всякое чувство проникает в душу сквозь семь или восемь слоёв изоляции.

«Семярусная гора»

Окем, Окем! Серый сумрак зимних вечеров, когда при газовом свете, среди ящиков для белья, мы всей компанией объедались, сквернословили, дрались и орали!

«Семиярусная гора»

Вскоре по приезде Том поведал тётке Мод, что мечтает стать писателем. «Что ты будешь писать?» — спросила она. «Романы». — «Конечно, у тебя получится, — заверила она, — но имей в виду, писа-

тели частенько не могут свести концы с концами. Не стать ли тебе и журналистом?» Мертон согласился. «Иностранным корреспондентом», — уточнила она. «Пожалуй».

Том снова пошёл в школу, на этот раз — в Рипли Корт, в Серрей, где директрисой была золовка тётки Мод. Англиканские службы пришлись ему по душе, он «искал возможности помолиться и вознестись духом к Богу». Тогда он впервые в жизни «увидел, как перед сном, при людях становятся на колени у постели, и впервые в жизни сел за трапезу после благословения...». «Приблизительно два следующие года, — пишет он, — я был почти искренне верующим» (25). В автобиографии — пожалуй, слишком критически относясь к своему прошлому — он видит в отроческом союзе с Англиканской Церковью не столько попытку духовности, сколько приобщение к укладу жизни добропорядочных англичан.

В Рипли Корт он должен был прежде всего выучить латынь, чтобы получить приличную оценку на экзаменах в гимназию. Семейство питало надежды, что, несмотря на богемное происхождение, его примут в Харроу. Сэм Дженкинс, его американский дедушка, готов был взять на себя все расходы. Но в конце концов выбор пал на Окем — «неприметную, но вполне приличную школу в Средних графствах», за семьдесят миль к северо-западу от Лондона (26).

Жизнь под кровом Рипли Корта казалась спокойной и безопасной, совсем как в Средиземье мифической страны Толкина. Но уже летом 1929 года почва снова стала уходить из-под ног. Они с отцом проводили летние каникулы в Шотландии, когда Оуэн внезапно заболел. Врачи обнаружили у него злокачественную опухоль мозга.

Над жизнью его нависла угроза, и разум помутился. «Подплываем к Нью-Йоркской гавани. Всё хорошо», — гласила телеграмма, которую он послал Тому из лондонской больницы.

Той осенью, в Океме, Том читал «Кентерберийские рассказы» Чосера и корпел над греческими глаголами. Мысли об отцовской опухоли отравляли всё. Церковная жизнь, расцветшая было в Рипли Корте, внезапно оборвалась. Случилось это отчасти по вине школьного священника, который любил подставлять в Библию слово «джентльмен». Начало 13-й главы Первого послания к Коринфянам у него звучало так: «Если я говорю языками ангельскими и человеческими, но не стал джентльменом, то я — медь звенящая...» Что могло прославление хороших манер дать мальчику, у которого умирал отец?

«Пётр и другие апостолы пришли бы в недоумение, — писал Мертон уже монахом, — если бы им кто-нибудь сказал, что Христос претерпел бичевание, побои, издевательства, терновый венец, непронизимые оскорбления и наконец — Крест, где умирал, истекая кровью, чтобы мы смогли стать джентльменами» (27).

Когда школьники произносили в церкви Символ веры, Том молчал, крепко сжав губы. Его антисимвол был: «Я ни во что не верю».

Тем временем Сэм Дженкинс делал всё возможное, чтобы обеспечить внуков. Летом 1930 года он приехал в Англию. Выслушав его, старший из них с удивлением обнаружил, что у него, у Тома, есть капитал в «Гроссет и Данлэп», земля на Лонг-Айленде и, на паях с Джоном Полом, — участок у побережья в штате Мэн. В довершение ко всему, Том мог получать удовольствие от крёстного, лондонского врача Томаса Беннета. Друг семьи, Беннет следил за лечением Оуэна, а позже стал опекуном Тома. Давая понять, что настала пора вступить во взрослый мир, Папаша

*Я сидел в тёмной унылой комнате
и не мог ни думать, ни двигаться.
Одно только и было в голове —
как я одинок; нет у меня теперь ни
дома, ни семьи, ни родины, ни от-
ца, ни друзей, нет мира внутри,
надежды, света, сочувствия —
нет и Бога, неба, благодати, ниче-
го нет.*

«Семирусная гора»

Вспоминаю, как я спорил о Ганди в школьной спальне. Главным моим оппонентом был наш футбольный капитан и староста... Я утверждал, что Ганди прав... но доводы мои не доходили. Как же он прав, когда он такой странный?

«Семена разрушения»

Дженкинс подарил пятнадцатилетнему Тому трубку и пачку хорошего табака.

Приезжая из школы в Лондон, Том останавливался у Беннетов в Вест-Энде, на Мандевиль Плейс. Мир состоятельных космополитов распахнул перед ним двери. Горничная-

француженка подавала завтрак в постель. Со звонкой монетой в кармане, завсегдатай книжных магазинов, он составил внушительную коллекцию джазовых пластинок. В кино он иногда просиживал целыми днями.

«Живя у Беннетов, я понял, что смеяться над мнениями и идеалами английского “среднего класса” не только можно, но и нужно... Вскоре я приучился бойко и огульно злословить обо всех, с кем не соглашался или чьи вкусы приходились мне не по нутру» (28).

Окультирный сарказм и изысканная широта взглядов застали его врасплох, и он не мог понять, что люди восхищаются тем, что вычитывают в книгах, но в жизни так не поступают. «Мне было невдомёк... что [Беннетов] привлекало писательское мастерство Лоуренса¹, а вовсе не его соображения о том, как надо жить. Вернее, зазор был ещё тоньше... они считали его идеи интересными и забавными, но само собой разумелось, что проводить их в жизнь, как сам Лоуренс, — дурной вкус. Этой-то разницы я и не уловил, а потом было уже поздно» (29).

Беннетты и их дом были островком достатка и вкуса. Вокруг, несся погигель массам людей, царил Великая депрессия. Нищие на улицах Лондона наводили Тома на разные мысли.

Не только Англия и её нищие попали в поле его зрения. Он следил за тем, что происходило в Индии, — симпатии его были на сто-

¹ Лоуренс Давид Герберт (1885–1930) — английский писатель, очень популярный в 20-е годы. Тонкий психоаналитик. Писал о своём эдиповом комплексе и отношениях с женщинами. Его романы пытались запретить как непристойные.

роне Ганди. После «соляного марша» и последовавших за ним событий Ганди приехал в Англию, и английская общественность лице-зрела национального лидера, который выбрал для жилья лондонские трущобы, не ел мяса, держал козу и ходил полураздетым. Для Тома, как и для всей Англии, он был «маленьким вопросительным знаком» (30). Осенью 1930 года Том защищал его в школьных дебатах, доказывая, что Индия имеет полное право требовать, чтобы Великобритания оставила её в покое. Но верх — со счётом 38:6 — одержали его противники, убеждённые, что индийцы — отсталые язычники, неспособные позаботиться о себе (31).

А Оуэн Мертон всё лежал в лондонской больнице. К лету 1930 года его постель стала одром молчания — лишённый дара речи, он лежал с огромной опухолью на перевязанной голове. По ясным отцовским глазам Том видел, что тот узнаёт его. Он плакал, и отец плакал вместе с ним.

Ныла «открытая рана, которой не находилось исцеления». Всё, что Том слышал в церкви, казалось бессмысленным — кругом война, болезни, голод и смерть. «Приходилось принимать всё это, как принимают данность животные». Избегай, чего можешь избежать, а к прочему стань бесчувственным. Позднее он напишет: «Многие так и не доходят до простой истины, что всякий, кто хочет уклониться от страданий, в конце концов вкушает их сполна... Его жизнь и сам он становятся источником боли; сам факт бытия, само сознание — величайшей мукой» (32).

В семье один отец и мог почувствовать ему и, лишённый речи, умудрялся показать Тому, что он — с ним. Оуэн снова начал рисовать, выражая в образах то, что с ним происходило. Эти наброски «не походили ни на одну из его прежних работ — маленькие гневные святые византийского ти-

В Океме не было гребли, не было и воды, но священник в своё время выступал за Кембридж. Он был высокий, сильный, статный, с седеющими висками, с большим английским подбородком и широким лбом, на котором словно застыли слова: «Я — за честную игру и спортивное мастерство».

«Семиярусная гора»

Мне стало ясно, что я — великий бунтовщик. Я вообразил, будто ни с того ни с сего вознёсся над грехами, глупостью и заблуждениями современного общества... и занял своё место среди тех, кто, расправив плечи, задрал голову, марширует в будущее... Но в будущем, в которое мы вступали, нас ожидали только новые, более страшные войны, которым ничего не стоило снести задранные головы с расправленных плеч.

«Семиярусная гора»

па, с бородами и огромными нимбами» (33).

Больной, тяжело страдающий Оуэн вернулся к неразделённому христианству с его духовностью, о которой никто в семье не имел ни малейшего представления. Том понимал одно — умирающий отец глубоко верит в Бога. «Отгороженный от мира немотой, он разумом и волей... обращался к Богу, общался с Ним». Он ис-

кал «смысла своих страданий, пытаюсь обратить их себе во благо, к совершенству своей души» (34).

Крошечные иконы были его последним «словом» перед тем, как он погрузился в вечное молчание. Оуэн Мертон скончался в январе 1931 года, вскоре после того, как сын вернулся из Страсбурга, с рождественских каникул. За одиннадцать дней до своего шестидцатилетия Том осиротел.

Смерть отца надолго выбила его из колеи. Два месяца он прожил в скорби и унынии. Единственным спасением были занятия, которым он отдавал все силы. Он преуспел в языках — латыни, греческом, французском, немецком, итальянском, а читать стал так много, что пришлось обзавестись очками. В пасхальные каникулы он ненадолго и без особой цели съездил в Рим — один, как обычно ездил, когда учился в школе или жил в Лондоне.

Не без излишней суровости называл он позднее этот отрезок жизни порой полного вырождения. «Именно в тот год, — вспоминал Мертон, — с моей высохшей души стёрся последний след ещё теплившейся в ней веры. Богу не осталось места в пустом, запалённом, замусоренном храме, который я ревностно охранял от непрошенных гостей, целиком посвятив его своей беспутной воле. Так я стал человеком XX века... омерзительного столетия, столетия ядо-

витых газов и атомных бомб, — человеком, живущим в преддверии Апокалипсиса» (35).

На самом деле в голове его было не так пусто, как он для вящего контраста писал в автобиографии. В том же 1931 году, например, началось его увлечение Блейком. Семь лет спустя, в Колумбийском университете, он писал о Блейке дипломную работу.

Летом Том ездил в Америку повидаться с братом, дедушкой и бабушкой. По дороге, на корабле, он без памяти влюбился, а на обратном пути плыл в компании сыщиков, гангстера, известного повесы и кучи студентов, с которыми просадил в баре изрядную сумму денег. «Не знаю, что позорнее, — писал он в автобиографии, — безрассудный юнец, которым я был в июне, или бойкий, бесчувственный тип, каким я вернулся в октябре» (36).

После нескольких недель, проведённых в разъездах, он возомнил себя коммунистом. Прочитав «Коммунистический манифест» и не найдя возражений, он какое-то время держал его на виду, давая понять, что среди обитателей школы завёлся революционер. На смену дешёвым открыткам с кинозвёздами пришли изображения античных богинь. Ему казалось, что он окончательно повзрослел. «Я вообразил, будто ни с того ни с сего вознёсся над грехами, глупостью и заблуждениями современного общества — ведь было над чем возвышаться! — и занял своё место среди тех, кто, расправив плечи, задрав голову, марширует в будущее». К несчастью, «в будущем... ожидали только новые, более страшные войны, которым ничего не стоило снести задранные головы с расправленных плеч» (37). Свобода и независимость стали для него заклинаниями, и он упражнялся в них так, что время от времени вызывал негодование Беннета. «Я верил в прекрасный миф о том, что можно жить в своё удовольствие, пока это не причиняет кому-нибудь боли» (38).

Литературный талант Тома заметили в первый же год, и осенью он стал редактором (а заодно и иллюстратором) школьного журнала. В этой-то роли он впервые столкнулся с цензурой — броская заметка о Нью-Йорке в напечатанном виде оказалась гораздо более блёклой.

Христос с иконы

Сам того не сознавая, я стал паломником.

Случилось так, что поход вдоль Рейна, в который Мертон отправился весной 1932 года, совпал с предвыборной кампанией Гитлера. Путешествуя, Мертон видел, как накалялись политические страсти: сельские жители швыряли друг в друга камнями и бились на вилах. Но самое мерзкое случилось однажды утром, когда он шёл по тихой сельской дороге, обрамлённой яблоневыми садами. Проезжавшая мимо машина с молодыми нацистами чуть было не сшибла его (39). В самый последний момент он умудрился нырнуть в кювет, а из машины на него обрушился ворох листовок с «Wählt Hitler»¹.

Путешествие пришлось прервать, воспалился большой палец на ноге. В Лондоне Мертон не стал беспокоить Беннета, но к возвращению в Окем ему стало хуже, а ещё через несколько дней нестерпимо разболелся зуб. Школьный врач удалил его, но оказалось, что зуб был лишь жертвой инфекции, разлившейся по всему телу. В воспалённом пальце началась гангрена.

Том пролежал в изоляторе несколько недель, первые дни — почти без сознания. Он думал, что умрёт, и взирал на приближение смерти с полным безразличием. Позднее он поражался тому, что ему так и не пришлось в голову помолиться — смерть мстила вполне законно. Мертон выздоровел, но особого удовольствия в этом не нашёл. Он окончательно уверился в полной бессмысленности жизни.

¹ Голосуйте за Гитлера (нем.).

Лето он провёл с Джоном Полом, дедом и бабушкой в Борнмуте. Разразившийся там летний роман кончился бурными страданиями и долгими одинокими прогулками. В конце концов он уложил рюкзак и уехал в Нью-Форест, где жил какое-то время в палатке, наслаждаясь ночным кваканьем лягушек и шумом бегущей воды.

В сентябре стали известны результаты экзаменов. Его приняли в кембриджский кол-

ледж, куда он должен был явиться только следующей осенью. В декабре он уехал из Окема, а в феврале 1933 года отправился на каникулы в Италию.

Рим сделал то, что не удалось прикосновению смерти. Семнадцатилетний Мертон ощутил дыхание жизни и тягу к молитве. Тронули его не обычные достопримечательности, не «безвкусные и скучные полупорнографические статуи Империи» (40), не христианские памятники времён Ренессанса и Контрреформации (всё это он поначалу, как добросовестный турист, выискивал в своём Бедекере), но — самые древние церкви.

«Я был заморожен византийскими мозаиками и стал охотиться за церквами, где их можно найти (Косма и Дамиан, Санта Мария Маджоре, Санта Сабина, Санта Констанца, Латеран)... Сам того не ведая, я стал паломником» (41).

Поразившие его иконы были словно окна, сквозь которые на него пристально глядел Христос. «Впервые в жизни я задумался над тем, Кто был Тот, Кого люди именуют Христом... Христос Апокалипсиса, Христос мучеников, Христос святых отцов, Христос апостола Иоанна и апостола Павла... Христос — Бог, Христос —

Мозаики рассказали мне о таком Боге, Которого я никогда не знал. О Боге всеильном, премудром и любящем, Который стал Человеком и явил в Своём Человечестве безграничную силу, премудрость и любовь. Конечно, я не мог тогда всего этого вместить и во всё сразу поверить, но каждая линия на иконах, которые я с восхищением и любовью разглядывал, прикровенно говорила об этом, и, несомненно, я как-то понимал эту речь... Мне открывалось, как любили Христа, Искупителя и Судию мира, древние мастера.

«Семиярусная гора»

Что-то ещё привлекало меня [в римских храмах], какой-то внутренний мир воцарялся во мне. Я любил бывать в этих святых местах. Я был тайно и твёрдо убеждён в том, что моё место — именно здесь, что моя душа может утолить свою жажду только в храме Божьем.

«Семиарусная гора»

Царь» (42). (Мертон и позднее не представлял себе духовной жизни без икон. В письмах 1967—1968 годов он говорит, что Христос привлекал его не как простой исторический персонаж, «несущий в себе искру света». Он был пленён «Христом с византийских икон... выразившим живое предание...

богословие света. Икона — своего рода тайноводительница к свету и славе Христа в нас самих... Молясь перед иконой, мы видим не внешний облик исторического персонажа, но внутреннее присутствие во свете, который есть слава преображённого Христа. Опыт этот передают из поколения в поколение те, кто “зрел”, начиная от самих апостолов. ...Поэтому когда я говорю, что мой Христос — это Христос с иконы, я имею в виду, что Его постигают не научным исследованием, а прямой верой и вхождением в Литургию, в церковное искусство, богослужение, молитву, богословие света. Всё это очень тесно связано с русской и греческой традицией» (43).)

Книги Лоуренса, которые он так любил, стали казаться пустыми, как киноафиши. Чтобы разобраться в иконографии, он купил Новый Завет по-английски. Кто знает, не вспомнил ли он, как отец в десять лет пытался приобщить его к Библии? «Я читал и читал Евангелия, и моя любовь к древним церквям и их мозаикам росла день ото дня». Он понял, что в иконах его привлекает не эстетика, но глубокое умиротворение, приходившее к нему, когда он бывал среди них. «Крепла и становилась всё глубже уверенность» в том, что его место именно здесь (44). К своему удивлению, Мертон обнаружил, что это чувство не покидает его и в не очень красивых церквях. «Одним из моих самых любимых был храм апостола Петра в Узах. Я любил его не за шедевры, хотя там был Моисей Микеланджело, истинный гвоздь программы. Но рогатая голова и грозные широко раскрытые глаза навевали на меня невыразимую

скуку... Видимо, меня привлекал сам апостол, в честь которого он назван» (45).

Однажды ночью, в пансионе на углу Виа Систина и Виа Тритоне, он пытался записать в дневник свои размышления о византийских иконах — и почувствовал, что рядом отец.

«Это было реально и потрясающе, словно он коснулся моей руки или заговорил со мной». Так длилось мгновение, «и внезапно я понял, как дурна и нечиста моя душа... Тогда, видимо — впервые в жизни, я стал по-настоящему молиться... из самых истоков своего существа обращаясь к Богу, Которого не знал...» (46).

Последними словами Оуэна Мертон к сыну были изображения византийских святых. Среди немногих икон, дошедших до нас от ранней Церкви, Том почувствовал, что уязвлён до слёз состоянием своей души и должен молиться. Именно тогда он понял, как близок ему отец.

На следующий день, ещё охваченный раскаянием, он пошёл в храм св. Сабины. Войдя, он уже знал, что будет молиться. Он больше не мог притворяться туристом, изучающим путеводитель. Но как неловко молиться у всех на виду! В тот первый день его хватило лишь на то, чтобы обмакнуть пальцы в освящённую воду, перекреститься, пройти вперёд и, преклонив колени у алтарной преграды, несколько раз прочитать «Отче наш». «Церковь была в тот день полупустой. Однако я шёл по каменному полу, смертельно боясь, что итальянская старушка подозрительно смотрит мне вслед» (47). Опасения оказались напрасными — из церкви он вышел с таким чувством, будто заново родился. Радости, которую он испытал в последнюю римскую неделю, он не знал много лет.

Из Италии Мертон отправился в Соединённые Штаты, навеситить семью. Он взял с собой Библию, но читал её тайком, опасаясь насмешек, — смущение, которое он испытал, когда хотел помо-

Я пошёл в доминиканскую церковь св. Сабины. Решиться на это мне было трудно — я ведь сдавался, приходил с повинной. Да и сейчас, когда я иду в церковь, чтобы просто встать на колени и помолиться, мне нужно в себе что-то преодолеть.

«Семиарусная гора»

литься в св. Сабине, ещё преследовало его. Он стал заглядывать в церкви, но если в римских храмах он чувствовал себя как дома, то тут ему мешала давняя неприязнь к католичеству. Несомненно, враждебность деда к Католической Церкви повлияла на него. Пробовал он ходить и в Епископальную, к которой принадлежали Сэм и Марта и в которой отец когда-то служил органистом, но тамошнее богослужение только раздражало. Тогда он пошёл к квакерам во Флешинг, где некогда бывала мать. Ему понравилась тишина, но когда кто-то из общины заговорил о добродетелях швейцарцев, в нём поднялась буря негодования. Ему не хватало того, что приводило его в трепет в Риме. Больше он туда не возвращался.

Религиозное пробуждение со всей очевидностью сходило на нет. В Чикаго, на Всемирной выставке, он нанялся зазывалой на стриптиз под названием «Улицы Парижа». После английской сдержанности и изысканной французской эротики неприкрытое, противно-жгучее непотребство показалось ему чем-то свежим.

Вернувшись в Нью-Йорк, он вместе с другом отца, художником Регом Маршем, ходил по бурлескам Манхэттена и Кони-Айленда, обретшим бессмертие на картинах Марша. Жизнь в этих «храмах» была непристойной, но реальной. Марш любил рисовать одиноких мужчин, поедавших глазами проворных молодых женщин по ту сторону рампы.

В конце лета Мертон отплыл в Англию — без Библии, уже не помня о молитвах в Риме.

Кембридж

Будить ли мне... нечистых духов?

В Кембридже — вся прелесть Англии. Как хороши его идеальных пропорций здания, профессора в средневековых облачениях, молодые люди в соломенных шляпах, катающиеся на лодках вдоль берегов, усеянных жёлтыми нарциссами, хоры, поющие в соборах, которые словно упали на землю прямо с небес. Мертон же вспоминал только запах разложения «в зимние сумерки» (48).

Когда он поступил в кембриджский Клэр-колледж в октябре 1933 года, начался самый мрачный год его жизни.

Он поселился на Бридж-стрит, неподалёку от двух товарищей по Окему — Рэя Диккенса и Эндрю Уинзера. Первые несколько месяцев все трое, отмахнувшись от воскресной службы, поздно вставали и вместе завтракали. Проверая теорию условных рефлексов, они бросали хлебные крошки уткам, плававшим у Диккенса под окном.

Очень скоро Мертон нашёл в Кембридже совсем других приятелей. Многие из них были на дурном счету, поскольку «вели себя не подобающим джентльмену образом». Компания необузданных, диких юнцов «невообразимо шумела на своих вечерних попойках. Все мы жили в гостинице “Лев”, то вламываясь в “Рыжую козову”, то выбираясь обратно» (49).

В автобиографии Мертон спрашивает: «Будить ли мне... нечистых духов, дремлющих под деревьями за нашим колледжем и в комнатах на Честертон-роуд?» (50).

Он не стал вторгаться в тёмное царство духов, оставив читателю гадать, что стоит за этими недомолвками. На самом же деле

Может быть, для вас атмосфера Кембриджа не темна и не зловеща... Но я с моими слепыми страстями просто ринулся в неё и откусил огромный кусок от гнилого плода. После стольких лет я всё ещё ощущаю его горький вкус.

«Семярусная гора»

ему пришлось, по распоряжению монастырского начальства, опустить самые скандальные эпизоды своей биографии (51). Стоит, однако, вспомнить, что в 1948 году, когда «Семярусная гора» вышла в свет, в продаже не

было ни «Плейбоя», ни чего-либо подобного, и даже книги вроде «Улисса» ещё оставались под запретом. Как бы то ни было, когда Мертон писал, что повинен в смертных грехах, «более разрушительных, чем любая взрывчатка» (52), читателю приходилось просто верить ему на слово.

Воспоминания о том, что было 14 ноября 1933 года, преследовали Мертона всю оставшуюся жизнь. Обмолвки всплывают то в стихах, то в дневнике, но больше всего — в написанном в 1939 году, но не опубликованном романе «Лабиринт». Страницы с описанием тех событий пропали, но, как вспоминает Наоми Бертон, друг и литературный агент Мертона, там говорилось о хмельной гулянке в Кембридже, во время которой один из студентов согласился, чтобы его пригвоздили ко кресту. Майкл Мотт, ссылаясь на её воспоминания, писал: «Вечеринка превратилась в пьяный хаос, никто не мог отвечать за свои поступки, и издевательское распятие вполне могло состояться» (53). По тексту романа, самого рассказчика едва не арестовала кембриджская полиция.

Есть и косвенные подтверждения тому, что события, описанные на пропавших страницах, действительно происходили, и не с кем иным, как с Мертоном. В его удостоверении об американском гражданстве от 1951 года в графе «особые приметы» значился рубец на правой руке. Сам Мертон с нескрываемым смущением писал о своих «стигматах» (54).

«Поистине неспроста каждый раз, вспоминая о Кембридже, он употребляет слово „распятие“, — поясняет Мотт (55). В одном из таких пассажей романа «Мой спор с гестапо» главный герой, под

которым Мертон подразумевает самого себя, слышит, как алтарные свечи говорят ему: «Не мир виноват в твоей гордыне, виноват ты сам, ибо сам соглашаешься быть гордым. Посмотри же, как цветёт в Лондоне древо распятия, и раны, полученные в Кембридже, красны, словно олеандр» (56).

Стихотворение «Биография» Мертон начинает с событий в Кембридже, а потом говорит о соучастии в Христовых страданиях, о сораспятии:

*Моя жизнь, как в карту, вписана в Тело Христово,
в распростёртые руки вбиты
не просто грехи,
не графства и города,
названия улиц, номера домов,
а перечень тех дней и ночей,
когда я убивал Его на площадях и улицах.
Копие и тёрн, плетъ и гвозди
сделали Его Плоть
хроникой моей жизни... (57)*

Это был отрезок жизни, похожий на ад, «беспорядочный бунт неуправляемых страстей» (58), как говорил он сам. «Скорбное время неразберихи и попоек», — вторил страдавший за него Боб Лакс (59).

В том же году умерла тётя Мод. «Худое тело моего викторианского ангела предали глинистой земле Илинга, а с ним погребли и моё детство», — писал Мертон. С ней похоронили ту Англию, на которую он некогда смотрел так же простодушно, как она. «Из старой Англии я прова-

Упорно, изо всех сил я тщился отдаться в рабство мерзости, сидевшей во мне. В этом нет ничего нового или удивительного. Одного люди не знают — так мы распинаем Христа. Он снова и снова умирает в нас. Мы созданы для того, чтобы войти в Его радость, в свободу Его благодати, — и мы предаём Его.

«Семярусная гора»

Бог по Своей милости позволил мне бежать от Его любви, насколько хватало моих сил, но в конце пути, на дне пропасти, когда я думал, что мне до Него уже не дотянуться, Он готов был встретить меня.

«Семярусная гора»

лился прямо в преисподнюю, в пустоту и ужас, которые вынашивал Лондон в своём алчном сердце» (60).

Мертон осиротел в третий раз: умерли мать, отец, а теперь — его бесценная тётушка. Как никогда прежде, он был далёк от христианства.

Он начал пьянствовать и стал одним из самых разнузданных студентов в Кембридже. Девственность его не устояла.

Сияясь, насколько позволяло похмелье, вникнуть «в то, как подавить половое влечение», Мертон читал Фрейда, Юнга и Адлера (61). Но подавлять его той зимой он и не собирался. Позже он рассказывал одному другу, что первой его женщиной была проститутка, на которую он набрёл в лондонском Гайд-парке. Он хвастался, что выучил венгерский в постели, а в Кембридже от случая к случаю встречался с женщиной, которую называли «усладой первокурсников».

В дневниках 1965 года он признавался: «А ведь это я жил когда-то в Кембридже, на Бридж-стрит, 71... Это я учился в Клэр и был отпетым мерзавцем, который просиживал с Сильвией ночи напролёт под лодочным навесом» (62).

Подробности этой истории неизвестны, но то ли с Сильвией, то ли с другой женщиной он прижил ребёнка. Позднее он говорил друзьям, что дело дошло до адвокатов. Вероятнее всего, Том Беннет заключил с ней какой-то договор. (Ходили слухи, что и мать, и ребёнок погибли во время бомбёжки, хотя ещё в начале 1944 года Мертон был уверен, что они живы, и в феврале того же года составил завещание, согласно которому половина имущества отходила Тому Беннету с тем, чтобы тот передал его «человеку, о котором я писал ему, если, конечно, человек этот досягаем» (63).)

Отношения с Беннетом были на долгие месяцы безнадёжно испорчены. Ещё летом, находясь в Италии, он получил гневное

письмо — Беннет узнал, как беззаботно Том транжирил деньги. Беннет знал и о ночных буйствах и больше не позволял ему останавливаться у себя, когда тот приезжал в Лондон. Приходилось ночевать в отеле. Но утомительные хлопоты с юристами Беннет взял на себя.

Письма Беннета, вспоминал Мертон, «раз от раза становились всё резче, пока наконец в апреле или в мае он не вызвал меня к себе в Лондон». Долго прождав в гостинице, Том был с «убийственной холодностью» принят и призван к ответу. «Язык не слушался меня. Слова “я не хотел никого обидеть” и “да, да, были ошибки” звучали жалко и легковесно» (64). Вероятнее всего, он больше не виделся со своим опекуном.

Лето 1934 года Мертон прожил в Америке, у Дженкинсов. Беннет прислал письмо, в котором уговаривал его не возвращаться в Англию. Экзамены он сдал неважно, и его лишили стипендии. Но если бы даже удалось найти деньги, то шансов, что его примут на дипломатическую службу, не оставалось никаких. «Самое разумное остаться в Америке», — полагал Беннет. «Я долго не мог прийти в себя и согласиться с ним», — писал Мертон (65). Он чувствовал себя как братец кролик, которого бросили в терновый куст.

Несмотря на все перипетии, год в Кембридже не прошёл впустую. Пожалуй, главным событием был курс профессора Беллоу по «Божественной комедии». Читая песнь за песней, Мертон пробирался к застывшему сердцу ада, пока наконец не начал подниматься по чистилищу к теплу небес. Поначалу богословие раздражало, но постепенно восприятие менялось, и его уже радовало, как «неспешно и величественно разворачиваются мифы и символы, в которых Данте возводит целую поэтическую систему схо-

О, Владычица, когда я в ту ночь покидал остров, который некогда был Твоей Англией, Твоя любовь была со мной, хотя я этого не знал и не мог знать. Твоей любовью, Твоим ходатайством перед Богом Ты уготовляла море для моего корабля, открывая путь в другую землю.

«Семярусная гора»

ластической философии и богословия». «То, что я прочитал Данте, — единственная польза от моего пребывания в Кембридже», — писал он (66). Название его автобиографии навеяно образом из «Чистилища» — семярусная гора, по которой восходят на небо.

Нью-Йорк

Ни с того ни с сего начинались чудеса, подворачивались мысли и слова, как будто твои собственные, но о которых ты и знать не знал; да они и в самом деле не приходили тебе в голову.

Хотя мать Тома и была американкой, у него самого американского гражданства не было. Поэтому, проведя лето на Лонг-Айленде, он вынужден был возвратиться в Англию и хлопотать о виде на жительство. В конце октября, вернувшись в Лондон, он подал все необходимые документы и получил визу. Примириться с Беннетом ему не удалось ни в тот приезд, ни в последующие годы. 29 ноября 1934 года Мертон навсегда покинул Европу.

Девятнадцатилетний Томас оставлял позади «унылый, беспокойный, тревожный континент» (67). Начало всеобщей катастрофы казалось делом времени. Мертон «нутром ощущал ледящее дыхание военного психоза» (68).

Перебирая по пути в Америку кембриджские события, он с горечью признал, что война разразилась внутри него самого. Он все-го-то попытался пожить в своё удовольствие, не причиняя боли другим; но это не получилось. «К чему бы я ни потянулся, всё обращалось в прах и пепел... Сам я, в довершение ко всему, стал просто мерзким типом — самодовольным, эгоцентричным, распущенным, безвольным, нерешительным, беспорядочным, похотливым, бесстыдным и спесивым. Я основательно запутался». Ему хотелось порой попросить прощения или даже исповедаться, но при мысли об исповеди он терялся — потребность в ней казалась какой-то по-

шлой. К тому же, как он позже писал в «Моём споре с гестапо», исповедь подразумевает, что есть на свете грех. «Это мрачное, болезненное понятие, однажды засев в уме, способно отравить всё и довести до сумасшествия» (69).

Оставив позади и Рим, и Лондон, Мертон пересекал штормовую Атлантику. Теперь

он не вспоминал о своём обращении и о молитвах в св. Сабине, а забавлялся куда более рациональными вещами. Религия казалась ему никчёмной и нелепой. Марксизм, нечто вроде прикладной науки, — другое дело. Два года он считал себя приверженцем коммунизма, пусть и не вполне сознательным; такое было поветрие среди многочисленных бунтарских движений. Многие говорили, что в Советском Союзе сметён старый деспотический режим и установлен новый порядок, при котором все блага распределяются по справедливости, никого не выселяют из дома, нет ни безработицы, ни депрессии, ни бездомных, ночующих под мостами. Конечно, он видел в газетах фотографии огромных пропагандистских плакатов, «развешанных по стенам самых уродливых московских зданий», но считал, что Советский Союз — это прибежище «подлинного искусства», тогда как Европа и Америка всё ещё в плену «буржуазного уродства». Коммунизм был в моде там, где вращался Мертон.

Наверное, сильнее всего его привлекало, что тот разрешал его от бремени личной ответственности. «К чему винить себя? Виновато общество... Я — продукт своего времени, общества, класса... заражённых эгоизмом и безответственностью материалистической эпохи» (70).

Найдя чисто умственное оправдание и стремясь пойти по новой стезе, он решил отдаться созиданию нового, коммунистического порядка. «Моя новая религия позволяла тут же перейти к делу»

Внешне, казалось, всё идёт хорошо. В университете меня все знали, а если кто не знал, узнает, как только выйдет университетский ежегодник с моими фотографиями. Наверное, те могли бы сказать обо мне больше, чем я хотел бы. Не нужно особой пронизательности, чтобы увидеть на них тупое самодовольство.

«Семярусная гора»

*Когда настала пора провести ду-
ховную проверку, я, конечно, списал
своё состояние на экономику и
классовую борьбу. Другими слова-
ми, я решил, что виноват не я, но
общество, в котором я живу.*

«Семярусная гора»

(71). Он горел желанием всту-
пить в схватку с капитализмом,
чтобы расчистить почву для
бесклассового общества. (По-
зднее, обратившись в христиан-
ство, он не поменял отношения
к капитализму. «Мы живём в
обществе, — размышлял он в

“Семярусной горе”, — которое держит человека в крайнем, ис-
кусственном напряжении, доводит до предела каждую его прихоть
и рождает в нём всё новые вожеления. И всё это ради того, чтобы
ублажать их фабричными изделиями, прессой, фильмами и тому
подобным» (72).)

Нью-Йорк больше подходил для революционных настроений,
чем Лондон. Радикальные веяния легче проникали в свободный от
условностей, «полный света и свежего воздуха» Колумбийский
университет, чем в преданный традиции Кембридж. Минуя гряз-
ные сугробы, Мертон шёл в университетский городок записывать-
ся на курсы современного языка и литературы. Ещё летом он пы-
тался устроиться репортёром, но все издатели в один голос совето-
вали сперва закончить университет, и он рассчитывал теперь полу-
чить степень и обосноваться в газете.

В известном смысле жизнь его в Колумбии не слишком отлича-
лась от той, которую он вёл в Кембридже. На вечеринках он ис-
ступлённо играл на пианино, распевая пошлые песенки, напивался,
мучился с похмелья и кичился оставленным в Англии незаконным
ребёнком.

Но была и разница. Во-первых, жил он не в отдельной кварти-
ре, сам по себе, а у Дженкинсов и каждый день ездил в Манхэттен
с Лонг-Айленда. Во-вторых, сама атмосфера в американских ауди-
ториях была иной. Мертона радовали неформальные отношения
между студентами и преподавателями.

Поэт Марк ван Дорен, чей курс по английской литературе Мер-
тон посещал на первом семестре, ровно в двадцать лет, оказался тем

преподавателем, который помог ему раскрыться по-настоящему. Ван Дорен умел правильно ставить вопрос. На его занятиях «ни с того ни с сего начинались чудеса; подворачивались мысли и слова, как будто твои собственные, о которых ты и знать не знал, да они и в самом деле не приходили тебе в голову. Ван Дорен порождал их своими вопросами... Его занятия в точном смысле слова “воспитывали” —

Что это был за человек! Ему не нужно было притворяться, пряча бездну неведения за обилием мнений, догадок и бесполезных фактов. Он действительно любил то, чему учил, не питая ни тайной ненависти к литературе, ни отвращения к поэзии, что случалось с профессорами. Его занятия в точном смысле «воспитывали» — раскрывали то, что в тебе есть, понуждая разум выводить на свет собственные идеи.

«Семиярусная гора»

раскрывали то, что в тебе есть, понуждая разум выводить на свет собственные идеи» (73). Не желая, чтобы студенты, как эхо, вторили преподавателю, ван Дорен помогал им обрести опору внутри себя. Он не питал симпатий к модным идейным трюкам, вроде подгонки Шекспира под Маркса или Фрейда. Через несколько месяцев Мертон изумлялся тому, что на «огромной закопчённой фабрике» (74) Колумбийского университета есть человек, который учит студентов нащупывать в книге биение сердца и отличать хорошую книгу от плохой.

Любовь к коммунизму стала гаснуть — не без влияния таких людей, как ван Дорен, — хотя сразу и не пропала. В коммунистах числилось множество студентов. Они заправляли в студенческой газете и всюду совали свой нос. Мертон несколько раз участвовал в пикетах, держа плакаты с надписями: «Книги, а не линкоры», и даже говорил на студенческом митинге о коммунизме в Англии, о котором не знал, зато акцент ещё выдавал в нём англичанина. Он продавал брошюры и журналы, ходил на встречи, которые устраивали на Парк-авеню, у одного студента, чьи состоятельные родители уезжали на уик-энд. «Вот где хорошо хранить автоматы!» — сказал как-то один из пламенных революционеров (75). Тем же вечером Мертон записался в Союз молодых коммунистов. Его члены

Я был очень неважным борцом за переустройство мира. Длилось это месяца три... Я решил, что разумнее оставаться «попутчиком». Надо признаться, мой порыв каким-то образом облагодетельствовать человечество с самого начала был довольно чахлым и отвлечённым. Я был озабочен только тем, чтобы облагодетельствовать одного человека в мире — самого себя.

«Семярусная гора»

получали партийные клочки, и Мертон стал Фрэнком Свифтом. Впрочем, на собрании своей партийной ячейки он был всего один раз. Тогда долго обсуждали, почему товарищ Х. пропускает собрания, и постановили, что во всём виноват его отец. Мертон удалился и, надыхавшись свежим ночным воздухом, зашёл в ближайший бар, где утопил Фрэнка Свифта в

стакане пива. «Какое наслаждение, — писал он, — тишина и покой» (76).

В коммунистах Мертона настораживало их непоследовательное отношение к войне. В 1935 году Коммунистическая партия выступала против войны, и тогда Мертон увлекался всем этим всерьёз. Во время Гражданской войны в Испании партия войну поддерживала, но заняла антивоенную позицию, когда Сталин и Гитлер заключили пакт о ненападении; однако — ненадолго. Очередной кульбит она сделала после нападения немцев на Советский Союз. Мертон же ещё в Кембридже поклялся в верности пацифизму и потому искал не просто устойчивых принципов, но полной нравственной последовательности в отношении к насилию. Он решил, что Коммунистическая партия всегда «руководствуется сиюминутными соображениями выгоды» и что «все современные политические партии поступают так же» (77).

Летом того года о марксизме он вспоминал только благодаря братьям Маркс. С Джоном Полом, вернувшимся домой из школы в Пенсильвании, они непрерывно ходили в кино. Содружество образовалось ещё прошлым летом. «Джон Пол, я и наши многочисленные друзья, кажется, пересмотрели все фильмы, вышедшие с 1934 по 1937 год» (78). Любимыми героями Тома были Чарли Чаплин, Филдз и Харпо Маркс. Братьям досаждала лишь

«постоянная угроза, что нас выгонят из зала за буйный хохот во время самых волнующих, трепетных и душещипательных сцен, когда плачет Джеки Купер или Элис Фей мужественно улыбается из-за тюремной решётки» (79).

С огромным рвением принялся он за учёбу осенью 1935

года. Он записался сразу на несколько курсов (среди прочих — на испанский и немецкий язык, геологию, конституционное право и современную цивилизацию) и примкнул к братству под названием «Альфа Дельта Пи».

Один из его членов в том семестре свёл счёты с жизнью — через месяц тело его всплыло в канале. Другим событием, поразившим Мертона, было посещение городского морга на занятиях по современной цивилизации. Он смотрел на «ряды холодильников с синими и вздутыми трупами», выловленными из реки или подобранными на улице, — телами убитых, задавленных или покончивших с собой, — и погибший член «Альфы» и те, кого он видел здесь, казались ему жертвами этой цивилизации (80).

Безысходность и смерть лишь на короткое время попадали в его поле зрения, вообще же жизнь набирала полные обороты. «Я как-то умудрялся сохранять интерес сразу к сотням вещей» (81). Такая ловкость объяснялась тем, что он часами просиживал «в самой шумной и оживлённой части университетского городка», на четвёртом этаже Джон-Джей-холла. Там располагались офисы, в которых готовили к изданию «Коламбиа ривью», «Спектейтор», «Джестер» и университетский ежегодник. Мертон писал для них рассказы и вёл колонки юмора, просиживая там всё свободное время. В этих помещениях, где царила полная неразбериха, завязалась его дружба с людьми, которым он остался верен до конца жизни: Робертом Жири, редактором «Ривью», опубликовавшим позд-

Ни с того ни с сего я дал торжественные клятвы одному из братств. Было это в большом мрачном доме, за новой библиотекой... Где-то там таилась особая комната, которую тебе, читатель, я не открою ни за что, даже под страхом смерти. Там я и принял посвящение.

«Семиарусная гора»

Большей частью я проводил время в редакции «Джестера». Собственно, там никто не работал, все просто собирались вместе к полудню и неистово стучали по пустым карточкам, производя оглушительный шум... При всём при том нам платили, и этого хватало на учёбу.

«Семиярусная гора»

нее «Семиярусную гору», и Эдом Райсом, сотрудником «Джестера» («Шутника»), его будущим крёстным. Оба были католики.

Среди сотрудников «Джестера» был и Боб Лакс. Худой, как восклицательный знак, он походил на кроткого пророка, погружённого в непроглядную

скорбь. «Пытаясь найти нужное слово, этот прирождённый созерцатель мог семь раз обвить ножку стула длинными ногами, и каждый раз по-новому». Он обладал «природной, инстинктивной духовностью, какой-то врождённой обращённостью к живому Богу». Американцев Лакс считал людьми, которые хотят творить добро, но не знают, как; они надеются, что в один прекрасный день включают радио «и услышат того, кого так долго ждали... кто заговорит с ними о любви Божией тем языком, который не покажется им ни пошлым, ни безумным...» (82). В конце учебного 1936 года Лакса избрали редактором «Джестера», а Мертона — художественным редактором.

Работая там, Мертон совмещал приятное с полезным — денег хватало на учёбу. На карманные же расходы он зарабатывал самыми разными способами: за 27 долларов и 50 центов в неделю (неплохая зарплата по тем временам) был гидом и переводчиком на обзорной площадке — крыше Рокфеллер-центра; делал заготовки картонных шляп по 6 долларов за штуку; давал уроки латыни за 2 доллара 50 центов в час. Было чем расплатиться за пиво.

Ко всему этому добавлялись нагрузки вне учебной программы: он состоял в команде гонщиков, в клубе начинающих журналистов — Обществе Весёлого Льва (какое-то время был даже президентом), в «Филоксione» (университетском литературном обществе) и всевозможных студенческих комитетах.

Искры веры, вспыхнувшие было в 1933 году в Риме, разгоре-

лись снова в октябре 1936-го, когда умер Сэм Дженкинс. «Приступ был неожиданным и очень кратким. Дед ушёл от нас, так и не проснувшись» (83). В Дуглстоне, оставшись наедине с телом, Мертон захотел помолиться — не одним лишь умом, а по-настоящему, встав на колени. Но, услышав бабушкины шаги, поспешно встал — ему ещё было неловко. Марта Дженкинс скончалась следующим августом, когда Том, сидя рядом с ней и прислушиваясь к её затруднённому дыханию, безмолвно молился.

Похоронив бабушку, Мертон вскоре и сам оказался на волосок от смерти. Однажды вечером, возвращаясь поездом домой, он плохо себя почувствовал. Сойдя с поезда и сиюсь сдержать тошноту, он стал пробираться между машинами к тротуару и едва не потерял сознание прямо на мостовой. Из последних сил добрался он до Пенсильвания-стэйшн, спросил, есть ли свободный номер в гостинице, и получил комнату на одном из верхних этажей. Местный врач дал ему каких-то лекарств и уговорил лечь. Ему казалось, что пол накренился к единственному окну, а само оно расплылось во всю стену. Какая-то смертоносная тяга влекла его к окну, в пространство за ним. Голова шла кругом, но воля к жизни взяла своё, и утром он ушёл через парадную дверь.

Что это было? Нервный срыв после череды смертей? Переутомление? Начало язвенной болезни, которую предрекали врачи? Одно Мертон знал точно: он выжил чудом, а в его семье не осталось никого, кроме Джона Пола.

В братство я вступил, скорее всего, по двум причинам. Первая, которую я и сам не принимал всерьёз, — в том, что мне хотелось получить устройство после университета, а пока «завести связи». Вторая, более правдоподобная, — я хотел попасть ещё в одну компанию, где можно повеселиться... Оба расчёта оказались пустыми.

«Семиярусная гора»

Не прошло и четырёх лет, как я после Окема вступил в этот мир, надеясь подвергнуть его досмотру и взять у него все мыслимые наслаждения. Я сделал, что хотел, но сам оказался опустошённым и ограбленным.

«Семиярусная гора»

Жильсон, Хаксли, Блейк, Маритен

Мир... пронизанный реальным присутствием Бога.

В феврале 1937 года, проходя мимо книжного магазина на Пятой авеню, Мертон заметил на витрине книгу Этьена Жильсона «Дух средневековой философии». Прочитав это заглавие, он вспомнил соборы на юге Франции, которые так любил в детстве, — внушительные, гармоничные и благодатные обители, созданные верующими в эпоху веры, чтобы чтить Бога. Жильсона пришлось купить.

В тот же день, возвращаясь поездом домой, он раскрыл её и, пока скользил взглядом по предваряющим основной текст страницам, наткнулся на то, что поразило его больше, чем замороженные тела в морге, — латинскую фразу *nihil obstat*¹, а сверху, над именем епископа — слово *imprimatur*², официальное признание того, что книга согласна с учением Католической Церкви. Мертон терпеть не мог, когда промывают мозги, подавляют инакомыслие или навязывают догмы, но вот — в руках у него именно такая книга.

Позже он вспоминал, что тогда «подумал, как же ловко его провели, и ощутил резкий, словно удар ножом, приступ отвращения. Я почувствовал, что меня облапошили. Почему они не предупредили, что книга — католическая?! Знал бы заранее, никогда бы её не купил. Я с трудом переборол соблазн просто вышвырнуть её в окошко... изба-

¹ Препятствий нет (лат.).

² Печатать можно (лат.).

виться от неё, как от чего-то опасного и нечистого» (84).

Всё это походило на пытку времён инквизиции. Ничто не мешало Мертону искренне вос-

хищаться соборами вроде Шартрского и даже воздавать должное красоте богослужения. Но вера и традиции тех, кто всё это творил, были ему чужды. Он восхищался культурой католичества, но сама Католическая Церковь пугала его.

Однако на этот раз даже отвращение, которое он питал к цензуре, не смогло перевесить интереса к книге Жильсона. Прочтя её от корки до корки, он пришёл к выводу, что подлинное христианское богословие не уступает в основательности и ясности линий соборам Италии или Франции.

Жильсон помог ему облечь в слова бессловесное чувство прекрасного, которое уже стало частью его души. Богословие Жильсона — глубокое, универсальное, целостное — оказалось под стать иконам, тронувшим его четыре года назад в церкви св. Сабины.

Особенно действовали на него те места, где Жильсон пишет о Боге. «Я никогда толком не понимал, что имеют в виду христиане, когда говорят о Нём, — признавался Мертон. — Я просто считал само собой разумеющимся, что Бог, в Которого они верят, Которого считают Творцом и Вседержителем, — ревнивое и скрытное существо неясных очертаний, с назойливым, мелодраматичным и вспыльчивым нравом» (85). И вот Бог, в Которого верили католики, оказался не вечным жандармом, каким Его воображал Мертон, но — «милостью милости», как он выразился позже (86). Благодаря книге Жильсона он «проникся огромным почтением к католической философии» (87).

Весной он стал ходить на воскресные богослужения в Сионскую церковь в Дуглстоне, где подолгу беседовал с приходским пастором, доктором Лестером Рили. Хотя ему и нравилось говорить с ним, в проповедях он не находил той богословской глубины, которая так пленила его в Жильсоне. «Я хотел больше узнать об учении,

Я никогда толком не понимал, что имеют в виду христиане, когда говорят о Нём.

«Семярусная гора»

Отрицание (аскеза) [у Хаксли] не абсолютно, не доводит себя, но освобождает и восстанавливает наше подлинное «я», выводит дух из ненавистных, убийственных для него пределов, из рабства у плоти, которое в конце концов разрушит и нас самих, и общество, и весь мир.

«Семярусная гора»

но о нём, о том, во что верить, никто не говорил» (88).

В июне Мертон перебрался из Дуглстона в комнату на 114-й - стрит, обходившуюся ему в семь с половиной долларов в неделю. Именно здесь, по настоянию Боба Лакса, он прочёл «Цели и средства» Олдоса Хаксли. Имя его, благодаря брату-биологу и

деду-учёному, стало синонимом религиозного скепсиса. На этот же раз Хаксли встал на защиту мистики и призывал читателей не только к молитве, но и к аскезе.

Под аскезой он подразумевал искусство обходиться без привычных удобств. «Эта мысль совершила полнейший переворот в моём сознании. Само слово *аскеза* всегда ассоциировалось у меня с каким-то нелепым и уродливым извращением природы, с мазохистами, спятившими в несправедливом, извращённом обществе. Что это, в самом деле — отказывать плоти в наслаждении, да ещё и использовать для этого какие-то приёмы!..» (89)

Мертон начинал сознавать, что его, запутавшегося в целях и средствах, невзгоды настигают столь же неотвратимо, как и похмелье. Прочтя Хаксли, он утвердился в мысли, что к преобразующей встрече с Богом можно приготовить себя целенаправленным усилием. Смущало одно — Хаксли предпочитал Будду Христу. Впрочем, именно благодаря Хаксли Мертон всерьёз соприкоснулся с буддизмом, с которым ему ещё предстояло встретиться.

«Цели и средства» — книга пацифистская. Хаксли, как и Ганди, считал, что неразборчивые в средствах становятся всё хуже, жестокие методы порождают жестокие общества. Основа духовности — в молитве и аскезе, а личное неприятие насилия отвращает от него и общество в целом.

В разгар испанской войны ненасилие было непопулярно среди студентов. Одни стояли за правых и Франко, другие — за левых и

республиканцев. В одном они были согласны: насилие неизбежно. Среди погибших в 1937 году на стороне республиканцев оказался один из воспитанников Колумбийского университета.

В феврале 1938 года, получив диплом бакалавра, Мертон поступил в аспирантуру по специальности «английская литература» и выбрал темой диссертации творчество одного из величайших нонконформистов XVIII

века, поэта и мистика Уильяма Блейка.

Блейк противостоял тем, кто тайну жизни считал химическим ребусом, а мистику — уделом сумасшедших. С горячностью библейского пророка он радовался, что

*Атомы Демокрита
И ньютоновы частицы света —
Песчинки на берегу Черного моря,
Где так ярко сверкают на солнце
Шатры Израиля (90).*

Чем больше Мертон читал Блейка, тем больше проникался его нежеланием подстраиваться под дух своего века — ханжеского и скупого века самодовольства и равнодушия. Он упивался Блейком. «Шелли за всю свою жизнь не написал стихов, лучших, чем Блейк в двенадцать лет. Мне кажется, это неспроста, ведь он уже тогда видел Илию под деревом, в полях к югу от Лондона» (91).

У Блейка был удивительный разум. Он не смотрел на мир сквозь розовые очки романтизма, но не смотрел и незрячими глазами, словно не замечая Божьего присутствия и Божьего действия. Блейк видел Илию под деревом, видел и то, как чеканится судьба Британии «на тёмных сатанинских фабриках» (92), чьи безжалост-

Восстание [Блейка] при всей его вопиющей неправоте — это, по сути, бунт святого. Он восставал как человек, любящий Бога, сильно и непреодолимо жаждущий общения с Ним и оттого обрушившийся на лицемерие, жалкую похотливость, скепсис и прагматизм, которые холодные и недалёкие умы воздвигали как непреодолимые барьеры.

«Семярусная гора»

К концу лета я проникся мыслью, что жить можно лишь в мире, пронизанном реальным присутствием Бога.

«Семиярусная гора»

ные владельцы каждое воскресенье ходят в церковь. «Блейк видел, — писал Мертон, — что в человеческом законодательстве одно зло становится нормой права для поправления другого зла, что гордость и стяжательство

воцарились на судейском месте, дабы возглашать уничтожающие и бесчеловечные приговоры всякому здоровому устремлению человеческой природы. Любовь, став вне закона, превратилась в вождение, жалость поглощена жестокостью. Блейк знал, что “плач проститутки на улицах соткёт старой Англии саван”...» (93).

«Что это было за время! — вспоминал Мертон. — Целый год я соприкасался с даром и святостью Блейка... К концу лета я проникся мыслью, что жить можно лишь в мире, пронизанном реальным присутствием Бога» (94).

В тот же год Мертон познакомился с тихим индуистским монахом. Брамачари приехал из своего ашрама на Религиозный конгресс в рамках Всемирной чикагской выставки. На конгресс он опоздал и остался в Америке, перебиваясь лишь тем, что уделяли ему по доброте. В Нью-Йорке его приютили друзья Мертона, Сай и Хелен Фридгуд, и он тихо жил у них, хотя бабушка беспокоилась, как бы этот азиат в тюрбане, белых одеждах и драных резиновых туфлях не оказался врагом евреев. Когда тот приехал из Чикаго, Мертон состоял в «гостевом комитете» и несколько недель подолгу беседовал с ним.

«Он никогда не бывал язвительным, не насмеялся, не злился. Он никого не судил, и тем более — враждебно, — вспоминал Мертон десять лет спустя. — Обычно он просто констатировал факты, а потом смеялся — тихо, простодушно, словно удивляясь тому, как живут люди» (95).

Брамачари часто спрашивали о христианских миссионерах в Индии. Ответ удивил Мертона. Вся проблема в том, сказал тот, что им там слишком удобно. «Индусы просто не считают их святы-

ми — достаточно того, что те едят мясо». Индусов поражало, что христиане — не аскеты (96).

Как ни странно, но именно Брамачари, добродушно критиковавший мясолобивых миссионеров, стал для Мертона своего рода христианским миссионером. «Обычно он не давал никаких советов, но один совет, да такой, что его невозможно забыть, всё-таки дал: “Христиане написали много прекрасных мистических книг. Тебе надо прочесть „Исповедь“ блаженного Августина и „Подражание Христу“... Да-да, непременно прочти”» (97). Мертон ещё жил на 114-й-стрит, когда принялся за «Подражание Христу» и стал более или менее регулярно молиться (98).

Убегая от летней жары, он приехал к Лаксу в Олин, тихий городок на западе штата, но уже через неделю вернулся в Манхэттен, «поскольку, как обычно, был влюблён» (99).

В сентябре, работая над диссертацией «Природа и искусство в творчестве Уильяма Блейка» (100), он выкроил время, чтобы прочесть ещё одну книгу, подстегнувшую его интерес к католичеству. Это было «Искусство и схоластика» Жака Маритена. Если Жильсон вернул Мертону слово «Бог», то Маритен воскресил слово «добродетель». Он уверенно им пользовался, помня его латинское значение — «сила». Дочитав книгу, Мертон «обрёл здоровое понятие о добродетели, без которой нельзя стать счастливым, ибо это как раз та сила, которая помогает добиться счастья» (101).

Обращение

*Безобразные здания Колумбийского университета,
и те преобразились.*

Мертон стал задумываться о том, что, «побывав во множестве католических церквей и соборов, ни разу не присутствовал на Мессе». Ему доводилось, конечно, зайти в храм, когда служили Литургию, но всякий раз «панический протестантский страх» гнал его прочь. И вот в августе 1939 года, в один из выходных дней, он словно услышал, как «благозвучный, сильный, ласковый, чистый, но настойчивый голос говорит: „Сходи на Мессу! Сходи на Мессу!“» (102).

Отменив загородное свидание, он провёл в Нью-Йорке первое трезвое воскресенье после отъезда из Англии. В тот день ослепительно сияли небеса и были безлюдны улицы.

Церковь, в которую он пошёл, посвящалась Телу Христову, а находилась сразу за Колумбийским педагогическим колледжем на 121-й-стрит. Желая быть скорее зрителем, чем участником, он отыскал себе место поукромнее.

«Я сразу же заметил молодую и к тому же хорошенькую девушку лет шестнадцати, молившуюся на коленях, и был поражён открытием: оказывается, даже такое юное, прелестное существо может запросто прийти в церковь, чтобы всерьёз и по-настоящему помолиться» (103). Осмотревшись, он обнаружил, что эта девушка не выделяется изо всей массы молящихся, которым, как и ей, явно не было никакого дела до самих себя. Они просто стояли на коленях, сосредоточив внимание на алтаре.

Выйдя из церкви, Мертон гулял по солнечному Бродвею, и ему казалось, что всё вокруг него обновилось. «Я не мог понять, отчего я так счастлив, откуда во мне этот небывалый мир... Безобразные здания Колумбийского университета, и те преобразились» (104). Кафе на 111-й-стрит всегда удручало его своей теснотой и угрюмостью, но когда он зашёл туда, ему показалось, что сидит он на Елисейских полях.

Настала пора, когда Мертон мог восхищаться святыми и мистикой и даже почти отделался от неприязни к католичеству. Однако повседневная жизнь не поспевала за переменами разума. Как-то в День труда они с приятелем отправились на машине в Филадельфию. Сделав на полпути остановку, «зашли в большую и мрачную придорожную закусочную. Там мы спорили о мистике, выкуривая одну сигарету за другой и всё больше пьянея» (105). Как всегда после таких бесед, похмелье мучило несколько дней кряду.

Всё же в воскресенье он снова пошёл на Мессу, и ещё, и ещё. Он просто стоял и с замиранием сердца смотрел, как совершается таинство и как ведут себя прихожане.

Пока в Америке завязывался его негромкий роман с католичеством, по другую сторону Атлантики разворачивались зловещие события: Испания, где близилась к развязке Гражданская война, готова была пополнить список фашистских режимов в Европе, а гитлеровская Германия продвигалась на Восток. В 1933 году нацисты спихнули с дороги Мертона, теперь они спихивали целые народы. Невил Чемберлен, вернувшийся в конце сентября из Мюнхена, говорил о «мире в наши дни». Мертону же не мир, а всеобщая бойня представлялась наиболее вероятной.

«Я впал в уныние, — писал он. — У меня и в мыслях не было разбираться в запутанной и грязной возне, стоявшей за всей этой неразберихой. К тому времени я покончил с политикой как с делом в общем-то бесполезным. Я больше не стремился составить собственное мнение о раскладе и противоборстве сил, каждая из которых в той или иной степени погрязала в беззаконии и коррупции. С разных сторон звучали громкие, фальшивые

Это была весёлая, прибранная церковь с большими, без всяких узоров окнами, белыми колоннами и хорошо освещённым простым алтарём. По стилю она была слегка эклектична, но не так несуразна, как большинство католических храмов в Америке. Что-то в ней было от часовен XVII века, но с налётом американской колониальной простоты.

«Семярусная гора»

заявления, и выискивать во всём этом хоть крупицу истины и справедливости становилось слишком утомительным, если не безнадёжным... Никто не знал, удастся ли вообще выжить. Кому было хуже — солдатам или мирным жителям? Большой разницы не предвиделось... из-за войны с воздуха».

Мертон чувствовал в себе все противоречия, раздиравшие тог-

дашнее общество. Он писал: «Мои предпочтения и вера абсолютно ничего не значат в порядке внешнем, политическом. Я — всего лишь человек, а с людьми перестали считаться... Наверное, очень скоро я стану порядковым номером в списке призывников. Мне вручат металлическую бирку... чтобы облегчить бюрократическую возню вокруг моих останков» (106).

Мертон пребывал во власти таких раздумий, когда в руки ему попала ещё одна книга, сыгравшая важную роль в его жизни. Это была биография английского поэта и священника-иезуита Джерарда Мэнли Хопкинса.

Промозглым осенним днём Мертон сидел в своей комнате на 114-й-стрит и читал главу, в которой описывалось обращение Хопкинса в католичество, когда тот учился в Оксфорде в 1866 году.

Мертон вспоминал в автобиографии: «Внезапно меня охватило какое-то волнение, меня куда-то влекло, какая-то мысль пыталась достучаться до меня. Это было похоже на голос, говоривший: „Чего ты ожидаешься? К чему эти колебания? Ты ведь знаешь, что делать, — так что же ты медлишь?“

Я заёрзал на стуле, закурил, посмотрел в окно на дождь. Я пытался заглушить этот голос. „Мало ли куда тебя тянет, — думал я про себя. — Ты сходишь с ума. Где твой разум? Сиди и читай свою книгу“».

Сделав над собой усилие, он вернулся к биографии Хопкинса, но внутренний голос заговорил снова: «Ни к чему хорошему проволочки не приведут. Почему не встать и не пойти?» Он прочёл ещё несколько фраз об обращении Хопкинса, и тут пробил час для него самого. «Это стало невыносимо. Отложив книгу, я набросил плащ и побежал вниз по лестнице. Я

вышел на улицу, перешёл на другую сторону и побрёл вдоль серого забора к Бродвею. Шёл лёгкий дождь. И тут всё во мне запело» (107).

В девяти кварталах от дома располагались церковь Тела Христова и дом причта. Отец Форд только что вернулся.

— Отец, — сказал Мертон, — мне нужно с вами поговорить.

— Да, да, конечно. Заходите.

Они сели в скромной гостиной.

— Отец, я хочу стать католиком (108).

Священник дал Мертону три книги и сказал, чтобы тот дважды в неделю приходил для беседы.

Известие о приближающемся крещении влетело к Бобу Лаксу на полях брошенной в него шляпы. «Я помню этот миг, — рассказывал Лакс, — потому что ни прежде, ни после этого он не метал в меня шляпу» (109). 18 ноября Мертон принял крещение.

— Чего ты ждёшь от Церкви Божией? — спросили его.

— Веры!

— Что даёт тебе вера?

— Жизнь вечную.

Присутствовали при этом четверо друзей, из которых трое были евреями — Боб Лакс, Сай Фридгуд и Боб Геди. Католиком был только крёстный, Эд Райс.

Каким светлым казалось маленькое здание! Оно и в самом деле было совсем новым. Солнце играло на чистых кирпичках. Сквозь широко распахнутые двери люди входили в прохладный полумрак, и во мне вдруг ожили воспоминания о церквях Италии и Франции. Богатство и полнота католичества, которые я неизбежно впитывал там ещё в детстве, вновь коснулись меня.

«Семиярусная гора»

Подходя в первый раз к исповедальне, Мертон боялся, что молодой священник по ту сторону решётки будет шокирован тем, о чём он собирался подробно рассказать. «Но я старался как мог и один за другим выдёргивал свои грехи с корнями, как зубы. Над некоторыми пришлось потрудиться». Крестившись и получив отпущение грехов, он наконец-то смог не просто присутствовать на Мессе, но и причащаться. «Так я вступил в вечные пределы того притяжения, которое есть сама жизнь, Дух Божий... благодать без конца... Господь воззвал ко мне из Своих неисследимых глубин» (110).

Брат Иоанн Мертон, OFM¹

*Мы все мечтали стать отшельниками
где-нибудь на горе.*

В феврале 1939 года Мертон получил степень магистра и начал работать над докторской диссертацией о Джерарде Мэнли Хопкинсе. Он переехал в однокомнатную квартиру с металлическим балкончиком на 35-й Перри-стрит, в Гринич Виллидж, в самом сердце Манхэттена.

Он делал всё, что мог, чтобы духовная жизнь не остывала. Каждое воскресенье бывал на Мессе, иногда причащался в будни, а то и просто заходил помолиться, пройти станции² или прочитывать розарий. Обращение давало свои плоды. Однако, готовясь два раза в месяц к субботней исповеди, он каждый раз думал о том, что запах пива и сигарет ещё не выветрился из его жизни. Как повернётся она, чем он должен заняться после обращения, было ещё сокрыто от него.

На примере Марка ван Дорена, с которым они стали друзьями, он видел, что может значить для студента преподаватель, да и по образованию он как нельзя лучше подходил для аудитории. Знал он и то, что будет писать — просто потому, что не писать не мог. Всё свободное от науки время он отдавал роману, а время от времени писал стихи, причём после крещения «вдруг обнаружил в себе тягу к суровому и грубому слогу в духе Скелтона» (111). Он

¹ Орден меньших братьев (*лат.*), т.е. францисканцев.

² С т а ц и и (или стояния) — католическая традиция четырнадцати предстояний и молитвенных размышлений перед изображениями эпизодов Крестного пути Христа.

В Бобе Лаксе крылись дарования пророка, но неистовости в нём не было. Он был царём и иудеем. Интуиция его потрясала силой и тонкостью. Чем больше ему открывалось, тем меньше удавалось найти слов, чтобы это выразить, и он смирялся перед косноязычием. В нерешительности, в которой, однако, не было ни застенчивости, ни нервозности, он мог обвинить длинными ногами стул семью разными способами, прежде чем найдёт подходящее слово... Лаксу всё время казалось, что он в тупике, хотя он смутно догадывался, что это — не тупик, а путь к Богу, в бесконечность.

«Семиярусная гора»

рассылал рукописи по лучшим журналам, но в ответ приходили одни отказы. «Сколько же конвертов я скормил зелёному почтовому ящику на углу Перри-стрит! И всё, кроме книжных обзоров, возвращалось обратно...» (112).

Он встречался с сестрой милосердия, но жениться на ней не спешил — в тайне от всех он вынашивал мысли о священстве, а значит, и о безбрачии. Слово «целибат» приводило его в восторг и ввергало в ужас. К тому же он боялся, что, став священником, не сможет больше пи-

сать, как хочет. Слово *imprimatur* так и не стало для него положительным.

«Не так уж важно, что ты делаешь; важно, кто ты», — любил повторять Лакс. Не будучи ещё католиком, он всячески поощрял духовные искания Мертонa. Как никто другой, он понуждал его искать прежде всего полноты благодатной жизни, а не просто войти в Церковь, словно это само по себе — последняя глубина.

Весной 1939 года у Мертонa с Лаксом состоялся знаменательный разговор. Однажды вечером они гуляли по 6-й авеню, и Лакс спросил:

— Кем же ты хочешь быть?

Мертон не решился сказать, что хочет стать знаменитым писателем и преподавать английский у первокурсников.

— Не знаю, — в конце концов ответил он. — Наверное, хорошим католиком.

— Что ты имеешь в виду?

Мертон промолчал. Он и сам ещё толком об этом не думал.

— Надо бы сказать, что ты хочешь стать святым, — продолжал Лакс.

Мертону это показалось полнейшей нелепостью.

— Разве это возможно?

— Достаточно захотеть.

— Это не для меня, — отозвался Мертон. Святость требовала такого самоотречения, какое было ему не под силу.

Но Лакс стоял на своём.

— Да, чтобы стать святым, нужно просто захотеть. Бог может сделать тебя таким, каким задумал, если ты сам на это согласишься. От тебя требуется только сильное желание (113).

Решив не спеша поразмыслить над этим, Мертон сдал ещё кому-то квартиру на Перри-стрит и вместе с Лаксом и Эдом Райсом поселился на лето в однокомнатном домике неподалёку от Олина. Там все трое, вооружившись пишущими машинками, погрузились в работу над романами, лишь время от времени прерываясь, чтобы съесть гамбургер или бобов, выпить молока или поиграть на бонго¹. Книга Райса называлась «Голубая лошадь», детище Лакса — «Блистающий дворец», Мертон же бился над той, которую сначала назвал «Па-де-Кале»², позже — «Ночь перед битвой» и, наконец, — «Лабиринтом». Писать было радостно, да и жить на поросшей лесом горе, слушая пение птиц и шум ветра, когда в Манхэтте-

Начиная свою христианскую жизнь, я совершил страшную ошибку — я думал, что это такая же самая жизнь, только приправленная чем-то сверхъестественным. По моим понятиям, я должен был просто жить, как жил, думать и поступать так, как поступал всегда, и заботиться только о том, чтобы не совершать смертных грехов.

«Семярусная гора»

¹ Небольшой сдвоенный барабан.

² Покидая Англию после тяжкого года в Кембридже, Мертон плыл на пароходе по Па-де-Кале мимо Дувра и его древнего замка. Он вспоминал Прадес, где родился, Сент-Антонен, где жил с отцом, Монтабан, где ходил в школу, Париж, Англию своего отрочества — Рипли, Кентербери, Окем. Вся его жизнь, казалось, была связана с дуврским замком. Он напоминал о его наивных воздушных замках. Было у него смутное предчувствие, что он покидает Англию навсегда, оставляя в ней прошлую жизнь.

не в эту пору изнывают от жары, было совсем недурно. «Мы все мечтали стать отшельниками где-нибудь на горе, — вспоминал Мертон, — но никто не знал, как это делается. Я лучше всех говорил, но оказался самым тупым, когда речь зашла о поведении и нравственных вопросах. Меня сильнее других тянуло вниз, в долину — посмотреть, что идёт в кино, сыграть на игральном автомате, выпить пива» (114).

Вернувшись в Нью-Йорк, Мертон стал рассылать рукопись издателям. Пламенные молитвы оставались без ответа, он получал одни отказы. «Сколько выпускают плохих книг! — писал он в дневнике. — Почему бы не опубликовать мою плохую книгу?»

Тем временем в Европе назревала катастрофа. Нацисты решили, что занимается заря их тысячелетнего царства. Размышляя над известиями, Мертон склонялся к тому, что христианин не может винить в ужасах нацизма других или историю: «Я тоже в ответе, — писал он. — Война разразилась не по вине одного Гитлера, я тоже причастен к её началу» (115). В первый день Второй мировой войны, когда бомбы уже падали на Варшаву, Мертон причащался в церкви святого Франциска Ассизского у Пенсильванской станции, сознавая, что Христа, Которого он принял, «вновь пригвождают к Кресту мои грехи и грехи всего себялюбивого, тупого, беспутного человечества» (116).

Целыми днями просиживал он за пишущей машинкой, а вечером шёл с друзьями в кино, пил пиво, слушал джаз, танцевал. Когда доходило до джаза, он не только слушал, он играл. Джинни Бертон, с которой он встречался, даже казалось, что он мог бы стать куда более удачливым пианистом, чем писателем.

Однажды, после очередного бурного вечера в джаз-клубе, Мертон с кучей друзей ночевал у себя на Перри-стрит. Наутро, сквозь головную боль и слабость, он вдруг почувствовал резкое отвращение к такой жизни и всерьёз задумался о священстве. В католической библиотеке он взял небольшую книгу об иезуитах. Просидев над ней до темноты, он пошёл в иезуитскую церковь св. Франциска Ксаверия на 16-й-стрит. Там шло поклонение Святым Дарам.

Встав на колени, он устремил взгляд в алтарь, на белого Агнца в золотом сосуде. И тут в нём снова заговорил знакомый вопрошающий голос: «Ты в самом деле хочешь стать священником? Тогда скажи Мне».

Священник поднял сосуд с Агнцем и благословил моля-

щихся. «Я смотрел на Агнца и, зная теперь, на Кого смотрю, произнёс: “Да, я хочу стать священником, очень хочу. Если и Ты хочешь, помоги мне”» (117).

Среди тех, к кому Мертон в тот поворотный момент своей жизни особенно прислушивался, был Дан Уолш. Мертон ходил на его лекции по св. Фоме Аквинату. Маленький, коренастый, похожий на незлобивого боксёра, он преподавал «по-детски радостно и похерувимски просто», помогая студентам проникнуть в дух и систему католического богословия. По словам Мертона, он обладал «редчайшей и удивительной способностью подняться над малозначительными различиями школ и систем (Августина, Аквината, Бонавентуры, Дунса Скотта) и охватить католическую философию целиком» (118). Знал он и Жака Маритена, и Этьена Жильсона, чью книгу, обнаружив на ней *imprimatur*, Мертон едва не вышвырнул в окно.

Ему первому Мертон обмолвился о своих раздумьях по поводу священства. Они гуляли по Парк авеню. «Дан повернулся ко мне и сказал: “Знаете, когда я вас впервые увидел, я как раз подумал, что это — ваше призвание”» (119).

Уолш был знатоком католических орденов — бенедиктинского, доминиканского, францисканского, иезуитского и других. Знал он и орден траппистов, который высоко ценил. Пробыв неделю в траппистском монастыре в Кентукки, Уолш вдохновенно рассказывал о покаянном образе жизни — трапписты много часов служат и молятся, а всё остальное время молчат, трудятся по хозяйству, блюдут суровые посты.

«Ты в самом деле хочешь стать священником? Тогда скажи Мне...»
Я смотрел на Агнца и, зная теперь, на Кого смотрю, произнёс:
«Да, я хочу стать священником, очень хочу. Если и Ты хочешь, помоги мне».

«Семярусная гора»

Видимо, благодаря квадратному подбородку, какой обычно бывает у людей жёстких, Дан Уолш казался очень волевым человеком... Но вот он сидит — невысокий, коренастый, чем-то напоминающий добродушного боксёра, — и по-детски радостно и по-херувимски просто рассказывает о *Summa Theologica*¹.

«Семярусная гора»

— Как по-вашему, пришлось бы вам по душе такая жизнь? — спросил он у Мертон.

— Ну, нет, — ответил тот с тревогой. — Нет! Это не по мне. Мне не вынести. Неделя такой жизни загнала бы меня в гроб.

Представлял он себе громадную серую тюрьму и суровых обитателей со спущенными на

лицо капюшонами. От одного официального названия траппистов — «цистерцианский орден строгого устава» — его бросало в дрожь.

— Что же, — ответил Уолш, — хорошо, что у вас нет иллюзий в отношении себя (120).

Мертону нравились иезуиты — они дорожили писательским призванием, да и Джерард Мэнли Хопкинс был одним из них. Но по характеру ему больше подходили францисканцы. Жизнь Франциска Ассизского буквально воплощала учение Христа. Он с радостью отрекался от власти, презирал всякое имущество, отвергал насилие. После смерти своего основателя францисканское движение превратилось в институцию, но осталось открытым, жизнерадостным, активным — ничего общего с траппистами, которых Мертон представлял монахами тюремного стиля.

Заручившись рекомендательным письмом от Уолша, Мертон отправился к отцу Эдмунду из францисканского монастыря на 31-й-стрит. Они обо всём договорились; огорчало лишь то, что нового набора в новициат придётся ждать десять месяцев, до августа 1940 года. Мертон так рвался перелистнуть эту страницу своей жизни, что даже небольшая задержка казалась вечностью. По настоянию отца Эдмунда, он решил преподавать в университете, не оставляя

¹ «Сумма теологии», «Свод богословия» (лат.).

при этом работы над докторской диссертацией.

Однажды после исповеди францисканский священник посоветовал бывать на Мессе и причащаться каждый день. Мертон и сам ощущал, как меняется его жизнь, а друзья замечали, каким он стал радостным.

Преподавал он английскую композицию, но продолжал писать и рассылать письма по издательствам. В ответ приходили отказы. Наконец некая Наоми Бертон, которой понравился «Лабиринт», вызвалась стать его агентом и вообще помогать в работе. Впоследствии она стала не просто благосклонным критиком, но и другом на всю жизнь.

В апреле 1940 года, на Пасху, Мертон отправился на Кубу. Отчасти это было паломничество в храм Медноликой Мадонны, отчасти — просто отдых (121). И того и другого он вкусил сполна. Гуляя по тем районам Гаваны, в которые паломнику не следовало бы заглядывать, он чувствовал покров невинности и простоты, которых не знал с тех пор, как стал взрослым.

В гаванской церкви святого Франциска, в момент освящения Даров, в толпе школьников он испытал ошеломляющий опыт Божиего присутствия:

«Трижды прозвонил колокольчик. Прежде чем кто-либо успел поднять голову, в полной тишине брат в коричневом облачении звонко возгласил: „Yo sego...“ Символ подхватили дети — так живо, звонко и чисто, так единодушно, выразительно и горячо, что во

*Белые девушки раскрывают
объятия, как облако,
Чёрные девушки закрывают глаза,
словно крылья;
Ангелы кланяются, как колокол,
Ангелы, как игрушки,
смотрят вверх,
Ибо звёзды небесные
Стоят кругом,
А вся мозаика земли
Поднимается и улетает,
как птицы.*
«Песнь Мадонны из Кобре»¹

¹ Или: Медной Мадонны. К о б р е — местечко на Кубе; там — медные копи, слово «кобре» значит «медь». В названии «Мадонна из Кобре» слышна народная этимология и ещё то, что Её лицо — жёлто-медное. Считают иногда, что это означает «Меднолика».

мне что-то перевернулось: ничего особенного не видя и не ощущая (перед глазами было только то, что было — церковь), я знал точно и неоспоримо, что между мной и алтарём, где-то посередине церкви, вверху (а вернее — нигде конкретно), но прямо перед глазами, или, лучше, касаясь меня помимо органов чувств, был Сам Бог во всей Своей силе и славе, окружённый бесчисленными сияющими ликами святых, созерцающих Его славу и прославляющих Его святое Имя. Непокколебимая уверенность, что Небо — прямо передо мной, пронизала меня всего, я знал это ясно и непреложно. Казалоcь, какая-то сила отрывает меня от земли» (122).

В «Семиарусной горе» он снова пытался описать то, что пережил тогда на Кубе:

«То был свет, ярче всякого света, сокровенный и тихий. Казалоcь, он поглощает и умаляет всё иное. Но больше всего меня поразило, что свет этот был „обыкновенным“, просто светом (тут у меня захватило дух), он предлагал себя всем и каждому, в нём не было ничего фантастического или необычного... Он отменял все образы и метафоры. Он был превыше чувственного опыта и прямо возводил к сердцевине истины... Да, он... был доступен познанию, но более всего — любви» (123).

Тогда, в храме Медноликой Марии, он пообещал Пречистой, что, если станет священником, посвятит Ей своё служение. Вернувшись в июне в Нью-Йорк, он получил известие, что подоспели важные документы — свидетельство о браке родителей и прочее, и его принимают во францисканский новициат.

Лето началось с поездки в Итаку, к брату, который тогда учился в Корнелле. Джон Пол выглядел растерянным и напоминал Мертону его самого времён Кембриджа. Младший брат с замиранием сердца следил, как меняется Томас, и даже подарил ему прошлым Рождеством чётки. Пока они жили вместе в Итаке, Джон Пол ходил с братом на Мессу — не просто понаблюдать, но и помолиться, стоя на коленях рядом с Томом.

Расставшись с братом, Мертон вместе с Лаксом и Райсом снова отправился в Олин, писать романы. На этот раз к ним присое-

динились Боб Гибни и Сай Фридгуд. Мертон устроил так, что они смогли приютиться в одной из заброшенных комнат гимназии при францисканском колледже св. Бонавентуры. Рядом была монастырская церковь, где он причащался каждое утро, чаще всего — с молодыми францисканскими послушниками. Глядя на них, Мертон воображал себя в коричневом облачении, кожаных сандалиях, под именем «брат Иоанн».

Год назад, в горном писательском домике, друзья почти не говорили о событиях в Европе. Летом же 1940 года это стало главной темой бесед. Бельгию, Голландию и большую часть Франции оккупировала германская армия, Роттердам, первый уничтоженный войной город, лежал в руинах. «Сидя вечером у камина, мы обсуждали закон, который готовился в Вашингтоне, и гадали, каким он будет, как быть нам» (124). Лакс рассуждал о том, можно ли найти оправдание этой или какой-либо другой войне. Гибни не был пацифистом, но чувствовал, что если он и пойдёт в армию, то пустить в ход оружие не сможет. Мертон думал почти так же, хотя всё это к нему не имело отношения, поскольку члены религиозных орденов призыву не подлежали.

К концу лета он засомневался в своём францисканском призвании. Он был слегка разочарован самим строем францисканской жизни, на удивление безопасной. Однако главной причиной было другое. В том приглашенном варианте автобиографии, который он передал Дану Уолшу и отцу Эдмунду, многое было опущено, прежде всего — история с незаконным ребёнком. Несомненно, думал он, францисканцам он просто понравился: молодой человек с честным лицом, прорись на картонке, а не настоящий Том Мертон. По тщательном размышлении ему «стало совершенно ясно: в здравом

Тогда я встал на колени перед алтарём в маленькой мексиканской церкви Божией Матери Гвадалупской... куда иногда заходил причаститься, и горячо помолился о том, чтобы, если это — во славу Божию, моя книга вышла. Я осмелился думать, что моя книга хоть как-то содействует Божией славе, и это говорило о безмерном неведении и духовной слепоте. Но, так или иначе, я об этом молился.

«Семярусная гора»

Меня нужно было повести путём, который выше моего разума. Я должен был пойти дорогой, которую не сам выбирал.

«Семярусная гора»

уме никто не допустит его до священства» (125).

Вернувшись в Нью-Йорк, он пошёл к отцу Эдмунду и восполнил все пробелы. Отец Эдмунд

ответил, что ему нужен один день, чтобы всё переварить, а по прошествии этого дня попросил Мертон забрать прошение.

«Мне казалось, — писал Мертон, — что для меня путь к священству закрыт навеки». Сам не свой, он пошёл в церковь на 7-й авеню. Войдя в исповедальню, он попытался рассказать всё священнику, но безнадежно разрыдался. Священник сказал, что монастырь, тем более священство — не для таких, как он, «и дал понять, что я только трачу впустую время» (126). В полном опустошении Мертон сел на скамью и, закрыв лицо руками, заплакал.

Решив, что двери монашеской общины и священнического служения перед ним закрылись, он собирался всё же вести более интенсивную духовную жизнь, чем обычно принято. Он ежедневно бывал на Мессе, приобрёл четырёхтомный молитвослов и среди дня улучал время для монашеских молитв.

«Я не создавал пустопорожных теорий о призвании мистика-мирянина, — вспоминал он в автобиографии, — и слово „призвание“ вообще не относил к себе. Я просто хотел приобщиться к благодати, не мог жить без молитвы, был беспомощным без Бога и стремился делать всё возможное, чтобы держаться поближе к Нему... Одно только заботило меня — как карабкаться в гору со всем этим тяжким бременем, умоляя Бога не бросить меня на пути» (127).

Колледж св. Бонавентуры

Помню я только разрушение.

Осенью 1940 года Мертон стал преподавать английскую литературу в колледже св. Бонавентуры в Олине. Францисканцы платили ему 45 долларов в месяц, предоставили комнату и полный пансион. На его двери появились бумажные иконки: св. Франциск, обретающий стигматы, миссионер и проповедник св. Доминик, Мария с Младенцем и «Благовещение» Дюрера.

«Мне дали три группы второкурсников, — вспоминал он, — всего девяносто человек, и за год нам предстояло изучить всю английскую литературу от Беовульфа до романтиков. У многих хромало правописание, но меня это не слишком беспокоило. Я был вполне счастлив, рассказывая о Петре Пахаре и о героях Чосера. ... Я вернулся к тому духу, который пленял меня в детстве, к ясному, простому, смешному средневековью... в XII, XIII и XIV века, где столько свежести и простодушия; в века основательные, как хлеб, вино, водяные мельницы, повозки, запряжённые волами; века цистерцианских монастырей и первых францисканцев» (128).

Студенты были самые разные — от спортсменов до семинаристов. Он никогда не думал, что учить футболистов так приятно. «По натуре и по нраву они — лучшие из моих учеников, да и трудились не хуже семинаристов. Шумели они больше всех. Когда их удавалось расшеве-

Живя в этом посвящённом Богу доме, под одной крышей с францисканцами, я на удивление быстро привык к их ясным и мудрым порядкам.

«Семярусная гора»

лить, они с удовольствием спорили. ... Благодаря им я больше узнал о людях, чем они от меня — о книгах». Семинаристы были тише. «Они отличались аккуратностью и держались особняком». Но, при всей разнице нрава и устремлений, все студенты были согласны в том, что «современный мир — высшая точка развития, а теперешняя цивилизация — предел желаний» (129). Мертон это тревожило.

Сам он считал, что век св. Франциска много лучше. Работая в колледже, он стал мирянином-францисканцем, членом Третьего ордена, и, как и все они, носил под одеждой наплечник (скапуларий) — кусочки коричневой материи, из которой делают облачения. Мертон чувствовал, что хоть как-то приобщился к монашеству, хотя формально монахом не был. Монашеской жизни он учился не только молясь на коленях, но и за трапезой, почти отказавшись от мяса и угрызаясь, что не может отказаться совсем. Боролся он и с любовью к кино, тоже не всегда успешно¹.

Не все слабости были так невинны. Он пытался жить целомудренно, но не смог. В автобиографии — только намёк: «Если я возмнил, что страсть утратила свою силу и за свободу уже не надо биться, то теперь на этот счёт не заблуждаюсь» (130).

Мертону не давала покоя и разгоравшаяся в Европе война. Он понимал, что поля сражений — это нивы и пастбища, и писал в дневнике: «Долины полны цистерн с топливом, и топливо это — для бомбардировщиков, а те, заправившись, просто обязаны что-то бомбить, чаще всего — те же цистерны с топливом. Где бы ни были эти цистерны, или заводы, или железные дороги, или другие достижения века, плоды прогресса, туда рано или поздно полетят бомбы. Я не могу понять войны... но уж это знаю: сейчас очень важно добровольно обнищать, немедленно избавиться от всякой собственности» (131).

¹ «На моих губах теперь не было едких жёлтых никотиновых пятен, я смыл серую дрянь с глаз, уставших смотреть кино. Вкус и зрение стали чисты. И я выбросил книги, которые пачкали моё сердце» («Семярусная гора»).

Может быть, на него повлиял св. Франциск, который некогда объяснил епископу, почему в его общине нельзя ничем владеть: «Собственность нужно защищать. Она рождает тяжбы и распри, губительные и для братской, и для Божией любви. Поэтому у наших братьев нет ничего».

Размышляя о войне, Мертон написал роман «История о том, как я сбежал от нацистов» (в 1969 году он вышел под названием «Мой спор с гестапо»). Некий поэт, которого отличает от автора только имя, возвращается в разрушенный Лондон. Хотя жил он в Америке, он не связывает себя с какой-либо страной. «У меня нет родины, — объясняет он, — ведь я жил во многих странах» (132). «Зачем же ты приехал?» — спрашивают его. «Не воевать, а писать», — отвечает он. «О чём?» — «Я скажу...: то, что я помню, разрушено, но это не так уж важно, ведь всё разрушалось и раньше, помню я только разрушение» (133).

Потом героя спрашивают: разве не Германия виновна в войне? «Да, она первая начала», — отвечает он. «Значит, вина на ней?» — «Что такое вина? Я знаю только, что и я отчасти повинен». — «Но ведь войну начинают страны!» — «Стран нет. Они ни за что не отвечают. Они состоят из людей, и отвечают люди». — «Тогда виноват Гитлер?» — «Может быть. Я слишком мало знаю, наверное, он виноват больше всех, но не только он. ... Я знаю одно: если что-то случается с миром, виноват в этом и я» (134).

Герой говорит допрашивающему его офицеру: «Вы думаете, что определите человека датой рождения, адресом, ростом, цветом глаз, отпечатками пальцев. Всё это поможет прицепить к изрешечённому пулями телу нужную бирку. О самом человеке это ничего не говорит. Люди стали безлики, как вещи. Вот вы жалуетсяе на войну, но она нор-

Каждое утро я заглядывал на перемене в библиотеку почитать «Нью-Йорк Таймс» и узнавал одно и то же: бомбёжки превращали города в руины. Из ночи в ночь в гигантском тёмном Лондоне полыхали пожары, оставляя от домов голые остовы... Древний квартал вокруг собора св. Павла был уничтожен.

«Семиярусная гора»

мальна для мира, где люди — лишь череда пронумерованных тел. Война как нельзя лучше соответствует вашей философии жизни. Вы заслужили её, веря в то, во что верите. Я и сам в ответе за войну — в той мере, в какой разделяю вашу веру и живу во лжи... Если хотите знать, кто я, не спрашивайте, где я живу, что люблю есть, как зачёсываю волосы, но спросите, зачем живу и что мне мешает совсем отдаться тому, для чего я живу» (135).

Роман — автобиографический. Автор, сидя за пишущей машинкой, не только исповедуется, но исследует свою причастность ко злу, которое разрушает мир.

Исповедуется он и в том, что, окажись он на фронте, он бы не смог убивать. Ведь Христос, хотя и жил под гнётом Рима, ни словом, ни делом не призывал к убийству, но, безоружный, исцелял людей. В XIII веке св. Франциск возобновил свидетельство о ненасилии, дав пацифистское правило не только монахам, но и мирянам-терциариям, которым запрещалось иметь или применять оружие по какой бы то ни было причине.

Вставая на военный учёт, Мертон заявил, что убивать не может по долгу совести, но готов служить невооружённым санитаром. В такой роли, писал он в дневнике, «мне не придётся убивать людей, созданных по образу и подобию Божию», и надеялся, исполняя волю Бога, «послужить раненым, спасая им жизнь». Даже роя окопы, «лучше послужишь Ему, чем убивая людей» (136).

В автобиографии, появившейся через пятнадцать лет, в начале «холодной войны», он более подробно писал о своём решении, и слова его поразили тогда многих:

«[Бог] не ставил меня судить страны и выяснять их нравственные или политические мотивы. Он не требовал от меня решений о том, кто повинен в войне, а кто — нет. Он хотел, чтобы я выбрал из любви к Нему Его истину, Его благодать, Его милосердие, Его Евангелие... Он хотел, чтобы я, насколько хватит разума, поступал так, как поступил бы Христос... Ведь Христос сказал: „То, что вы сделали одному из братьев ваших меньших, вы сделали и Мне“» (137).

Медицинская комиссия признала Мертона негодным к военной службе. Солдату полагалось иметь должное количество зубов, Мертону же визиты к дантисту не прошли даром. Его занесли в группу 1-Б; на фронт брали только 1-А.

В семинарии ему места не было — мешали прошлые грехи. Не нашлось места и в строю — совести было многовато, зубов маловато.

После столь резкого поворота событий Мертон стал задумываться о другом поле боя — траппистском монастыре в Кентукки. Он решил, что там хорошо провести пасхальные каникулы, и прибыл туда 5 апреля, в канун Вербного воскресенья.

Гефсимания и Гарлем

Здесь — сердцевина Америки.

Шла Страстная седмица 1941 года. Целые кварталы Лондона лежали в руинах. Ковентри вообще не было. Страна, где Мертон провёл большую часть жизни, наполнилась кровью и дымом.

Многие записывались в добровольцы, но Мертон решил иначе. Он верил: то, что воплощает Гитлер, не укротить его же средствами — страхом, насилием, убийством; победит зло только святость. «Защита одна — принять Евангелие буквально и стать святым» (138).

Решив никогда не участвовать в кровопролитии, он приехал в Гефсиманский монастырь, чтобы вместе с монахами в молитве приблизиться Христову Распятию и Воскресению.

Распаковывая вещи в монастырской гостинице, он с удивлением ощущал, что здесь — именно то, чего он ищет. «Надо вырвать все страницы, — писал он в дневнике, — вообще порвать всё, что я написал, и начать заново. Здесь — сердцевина Америки. Я часто думал, что держит страну, что держит мир, почему он не развалился. Теперь я знаю ответ: вот такие монастыри» (139).

Ещё через пять дней, в Великую субботу, он признался: «Я хочу только одного — любить Бога. Любящие Его соблюдают Его заповеди. Ничего больше не хочу, только творить Его волю. Молюсь, чтобы она наконец открылась мне. Не суждено ли и мне когда-нибудь стать монахом этого монастыря? Господь мой, Царь мой и Бог!» (140)

Тут же возникал вопрос: если францисканцам он не годится, не воспротивятся ли трапписты? Покидая монастырь в Светлый поне-

дельник, он больше, чем когда бы то ни было, ощущал себя изгоем. Он заметил, что женская одежда и та отмечена войной — знаки отличия стали украшениями. Была и сенсация — немцы высадились в Египте.

Летом, когда Мертон читал в колледже св. Бонавентуры лекции о Данте, произошла встреча, после которой он вновь задумался о своём призвании.

Екатерина де Гук Дохерти, которую все звали просто Баронессой, поскольку она была родом из аристократической русской семьи, приехала в колледж, чтобы рассказать об основанном ею Доме Дружбы, католической общине мирян в Гарлеме — гетто для чёрных, куда не осмеливались заходить белые. Там пытались воплотить в жизнь учение Церкви о социальной справедливости. Говорила она просто и прямо, а на возражения священников отвечала: «Чушь!» Мертон поразило, как свободно, без смущения она звала к мученичеству. «Она умела увлечь... слово её было со властью... оно влекло отречься от мира и жить в полной нищете, отдавшись, как и она, служению обездоленным» (141).

Когда Баронесса сказала, что ей нужны люди, которые будут раздавать одежду, Мертон вызвался помогать.

Несколько лет он провёл в Колумбийском университете, у самой границы Гарлема, но не замечал, что там творилось, и не понимал, что такое гетто. Теперь, бывая каждую неделю в Доме Дружбы на 135-й-стрит, он увидел смертный грех расизма. Из-за цвета кожи массу людей считали недочеловеками и убеждали в этом их самих. Он понял, что Гарлем — это «Божий приговор Нью-Йорку, его обывателям и дельцам» (142).

Ужас его перед гетто не исчез никогда.

«Сотни тысяч негров, как скот, согнаны в гигантские, тёмные,

Она и её сподвижники... жили и работали в трущобах, в безликой толпе забытых и отверженных, только для того, чтобы вести там полную, истинную христианскую жизнь — любить тех, кто рядом, жертвовать собой ради них, проповедовать Евангелие своей святой жизнью, в единении с Христом, в Его Духе и Его милости.

«Семиярусная гора»

Не знаю, интересует ли Вас прошлое тех, кто с Вами работает. Если нужно, я не стану от Вас ничего скрывать, но, по совести говоря, я, несмотря на моё прошлое, — не худший кандидат для Дома Дружбы... хотя мне и отказано в рукоположении... Я натворил такого, что должен теперь вести покаянную и жертвенную жизнь. Если бы меня приняли трапписты, я бы охотно пошёл к ним. Я должен искупить грехи, и если я не годен для Гарлема, куда мне идти?

Письмо к Екатерине де Гук Дохерти,
10 ноября 1941 года

дымные трущобы. Им нечего есть и нечего делать. Чувства, помыслы, печали, надежды, идеи, желания живых, впечатлительных людей загнаны страданием внутрь. Они окончательно потеряли веру в себя, предрассудок держит их в темнице. Сколько дарований, мудрости, любви, музыки, ума, поэзии погибло в этом дьявольском котле... сколько душ разрушено!» (143)

Несмотря на всё это, Мертон поразил, как красивы здесь старики, а особенно — дети. Он запомнил пожилую женщину,

жарким летним вечером сидевшую на ступеньках Дома: «на усталом и спокойном лице я увидел терпение и радость мучеников, ясный, негасимый свет святости... сокровенное сияние мира» (144).

Община Дома Дружбы в Гарлеме хорошо его приняла. Вдохновлённый верой новых друзей, он думал о своём призвании. Попивая с Баронессой крепкий чай, как принято у русских, он обсуждал, не переселиться ли ему в Гарлем и не посвятить ли себя служению нищим. Кроме всего прочего, новый образ жизни позволил бы ему писать. Но и Гефсимания влекла его всё сильнее.

В начале сентября он отправился в траппистский монастырь Девы Марии в Долине, неподалёку от Провиденс (Род-Айленд). Там он делал выбор, старался понять, чего же он хочет. Баронессе он писал, что совершенно запутался, а Марку ван Дорену признавался, что его «просто убивает» история о богатом юноше, которому Иисус предложил отдать всё (145).

В ночь на 27 ноября, в своей комнате в колледже св. Бонавентуры, Мертон записал в дневнике: «Остаться в Гарлеме или уйти к траппистам? Почему мысль о них не идёт у меня из головы? Мо-

жет, я боюсь, что напишу туда, а мне снова откажут. ... Может, цепляюсь за свою независимость, за возможность писать и делать, что хочу... Трудиться в Гарлеме — доброе дело, хороший и разумный выбор для Христова ученика. А трапписты манят меня, поражают, привлекают. Я снова и снова слышу: „Оставь всё, оставь всё!“» (146)

О своей тяге к монашеству Мертон говорил с одним из францисканских священников, отцом Филофеем, и задал мучительный вопрос: если у тебя — внебрачный ребёнок, можешь ли ты стать священником? Отец Филофей ответил, что, на его взгляд, препятствие это не абсолютно, и посоветовал съездить на рождественские каникулы в Гефсиманию, обсудить всё с аббатом.

«Я вылетел из его кельи, — писал Мертон Баронессе 6 декабря, — читая на ходу отрывки из *Te Deum*, побежал в церковь, упал ничком и стал молиться, умоляя Всемогущего Бога, чтобы меня приняли к траппистам» (147).

На этот раз он покинул храм, решившись снова рискнуть и принять, если нужно, ещё один отказ. Вечером он написал аббату Гефсимании, а через несколько дней тот ответил, разрешил приехать.

Вместе с письмом пришла и новая повестка. Мертону предписывалось вновь пройти медицинскую комиссию. На зубы теперь не обращали внимания, он вполне мог попасть в группу 1-А, а потом и на фронт. Заверив комиссию, что явится на обследование, как только вернётся, он написал аббату, спрашивая, нельзя ли приехать пораньше, и начал раздавать своё имущество: рукописи — Марку ван Дорену, дневники — Екатерине де Гук Дохерти, одежду — Дому Дружбы, книги — университетской библиотеке. Себе он оставил только Библию, молитвенник, «Подра-

Никогда в жизни я не испытывал такой острой и неотвязной тоски. ... «Пожалуйста, помоги! Что же мне делать? Больше я не выдержу». Вдруг, когда я так помолился, я заново увидел лес, деревья, тёмные холмы, ощутил влажный ночной ветер, а потом отчётливо услышал большой гефсиманский колокол, звучащий во тьме... Он говорил мне, где моё место, словно звал домой.

«Семярусная гора»

жание Христу», стихи св. Иоанна Креста, Джерарда Мэнли Хопкинса, Уильяма Блейка, одежду, чтобы доехать, и чётки.

Пришла пора, сказал он Бобу Лаксу, «выбираться из подземки в чистые леса» (148).

9 декабря, на следующий день после того, как Конгресс США объявил войну Японии, Мертон закрыл свой счёт в банке. 10 декабря он ехал в Кентукки, ко Двору Царицы Небесной.

Брат Людовик

Ничто теперь не помешает отдавать всё время тому, что мне больше всего хотелось делать... Едва войдя сюда, я понял, что я — дома и никогда не был, никогда не буду чужим.

13 декабря Мертон побеседовал с аббатом, и дом Фредерик Данн благословил его остаться в монастыре. Теперь он каждый день пел в хоре и готовился к посвящению. 21 февраля 1942 года он принял первый постриг и получил белые облачения. Новому послушнику подобрали и новое имя: Frater Maria Ludovicus, брат Мария Людовик. Первое имя у трапписта всегда «Мария», Она — небесная покровительница Ордена. Покровитель Мертон, Людовик IX, был королём и крестоносцем в XIII веке. Имя пришлось в пору послушнику родом из Франции. Аббат, лежавший тогда с воспалением лёгких, сурово сказал новооблачённым, чтобы они ждали от жизни только болезней, скорбей, унижений, воздержания — словом, всего, чему противится естество человеческое, то есть — креста.

Порядки в Гёфсимании были и впрямь строгие. Сейчас у каждого монаха-трапписта есть своя небольшая келья, он может слушать радио и переписываться с кем угодно. Зимой в монастыре топят. В 1941 году Мертон застал совсем иную жизнь. Братия спала в общей комнате на досках, покры-

*За положим холмом вдруг
показалась колокольня, сверкающая
серебром при лунном свете. ... Ещё
немного вверх, и взору открылся
сам монастырь. Я смотрел на него,
затаив дыхание.*

«Семярусная гора»

Здесь — сердцевина Америки. Я думал, что держит страну, что держит мир. ... Вот такие монастыри.

«Семярусная гора»

тых соломой и разделённых невысокими, до плеча, перегородками; зимой было очень холодно, летом — жарко. Постились в общей сложности полгода, но и в обычные дни ели хлеб, картошку, ябло-

ки, пили ячменный кофе. Мяса, рыбы, яиц не бывало даже по великим праздникам, на Пасху и Рождество. В храме молились по восемь часов в день (молятся так и сейчас). Топить начинали лишь тогда, когда мороз разукрашивал окна. Монашеские облачения были такими же, как в XV веке. Горячую воду давали дважды в неделю. По пятницам, для пушшего усмирения плоти, монахи стегали себя по обнажённой спине маленькой плёткой, сидя на койке и читая «Отче наш». О всяком нарушении устава объявляли во всеуслышание на «капитуле прегрешений». Личные вещи — сущие пустяки — хранили в скрипториуме, в ящике. Работали в основном руками, орудия были средневековые. Из внешнего мира доходили лишь слабые отголоски. Большую часть года братия проводила в молчании, сообщая друг другу всё, что нужно, о молитве, работе и еде с помощью знаков. Четырёхсот жестов вполне хватало. Письма можно было посылать четыре раза в год — на Пасху, Успение, День всех святых и Рождество, каждое — не больше двух листков. Перед отправкой их читал духовник. Ответы вручали тоже на эти четыре праздника.

Всех послушников определяли в хор и пять дней в неделю учили пению, бенедиктинскому уставу, духовной жизни и литургике. Наставник беседовал с каждым регулярно, аббат — изредка. Работали по несколько часов в день — трудились на ферме, убирали, кололи дрова. Когда говорят о траппистах, часто употребляют слово «уединение»; но частной жизни у них нет.

Мертону приходилось нелегко. Он не был вынослив, ценил уединение и не любил запаха соломы. И всё же жизнь в монастыре, да и сами традиции траппистов скорее радовали его. Он не ощущал себя пленником, мало того, удивлялся своей свободе. В первую годовщину пострига он писал: «монастырь — единственное в мире

место, где... всё осмысленно. ... Едва войдя сюда, я понял, что я дома и никогда... не буду чужим».

Монашеская жизнь не бывает гладкой. Иногда Мертон уставал, унывал и роптал на монастырский уклад. Но если судить по дневниковым записям первых лет, он никогда всерьёз не жалел, что живёт так, а не иначе. Он духовно ожил и радовался, ощущая присутствие Божие. «Что за жизнь! — писал он Марку ван Дорену в апреле 1942 года. — Просто удивительно. Суть не в том, что мы делаем, — не в покаянии, не в Литургии или песнопениях, не в досках или соломе, не в постах, тяжкой работе, пении или молчании. Всё это очень просто и само по себе ничего не значит. Суть в том, что жизнь стала цельной. ...Она едина, ибо Бог един. ...Мы живы Его простотой, Его единством, Его небывалой сосредоточенностью... Что ж удивляться, что жизнь наша — чудо? Ведь это — Бог... Христос — основание и венец всего, что делает траппист; он и дышит — Им» (149).

А Бобу Лаксу Мертон писал в ноябре: «Не то странно, что я здесь счастлив, а то, как долго я водил за нос самого себя, думая найти счастье где-то ещё». Мессу он называл «торжественным, величественным действием ангелов», где слова возвещают «бесконечную благодать Божию». Он писал, что в монастырской братии «как и везде, есть люди, чьи лица пугают. Да и не мудрено, ведь все мы из одной подземки. ...Зато здесь никто не мнит, что он — хороший парень. ... Многие из моих братьев — настоящие подвижники... Главное — ходить перед Богом, жить Его волей, как мы живём воздухом и хлебом» (150).

В дневнике и стихах первых лет монашества Мертон часто писал о безмерной радости, что он — среди изгнанников, которые покинули мир с его враждой, насилием, завистью и соперничеством. Он называет монастырь невозделанным раем. Тех, кто остался в миру, в подземке, он помнит. «Ночи напролёт мы плачем и молимся о страждущих, гонимых, убитых, обиженных и беззащитных», — писал он друзьям.

Среди убитых оказался и брат Мертона, Джон Пол, служивший в канадской военной авиации. Жизнь часто разводила братьев в

Сторонний наблюдатель, глядя на хор, сразу заметил бы среди монахов молодого человека в светской одежде — и тут же потерял бы его из виду. Был — и исчез. Его облекли в белое, как послушника, и он стал неотличим от других. Воды сомкнулись над его головой, он погрузился в общину. Мир его потерял, никто о нём не услышит. Он утонул. Он стал цистерцианцем.

«Семярусная гора»

противоположные стороны, но когда Том вернулся из Англии и поступил в Колумбийский университет, они сблизились, хотя касалось это скорее кино, чем духовного преобразования. В церкви вместе с братом Джон Пол побывал лишь тогда, когда надел военную форму. Он был лётчиком-наблюдателем, готовился перейти в эскадрилью бомбардировщиков. Том считал военную авиацию очень боль-

шим злом, но с братом не поссорился. В июле 1942 года, незадолго до отправки в Англию, Джон Пол приезжал в Гефсиманию навестить Тома. Четыре дня Том рассказывал ему о вере, и Джон Пол крестился.

Братья могли теперь общаться по-новому, но им не суждено было до конца воссоединиться. Оказавшись вдвоём в одном храме, они не смогли быть рядом на молитве. В одном из самых душераздирающих эпизодов «Семярусной горы» Мертон пытается знаками позвать брата с церковных хоров вниз, но «Джон Пол стоял на коленях, совершенно один, в своей военной форме, и казалось, что нас разделяет огромное расстояние». Проход в храм был закрыт, и Том не мог сообщить брату, что есть обходной путь через гостиницу. «Тогда перед моим внутренним взором молнией пронеслись... сцены из нашего детства, когда я отгонял его камнями. ... Всё повторилось. ... Джон Пол стоял, как и тогда, смущённый и грустный, не в силах преодолеть разделяющее нас пространство» (151).

А через девять месяцев, Великим постом 1943 года, в Гефсиманию пришла телеграмма: сержант Д. П. Мертон пропал без вести. Спустя недолгое время командование сообщило, что он погиб. О том, как это случилось, узнали позже. Его бомбардировщик был сбит над Северным морем, но тяжело раненный Джон Пол вместе

с экипажем уцелели и какое-то время плавали на резиновом плоту. Он умер на четвёртый день и был похоронен в море¹.

Монах-пацифист написал стихи о брате, посвящая ему своё монашеское служение:

*Когда я не сплю, милый брат,
мои глаза — цветы на твоей могиле;
когда я не ем хлеба,
мои посты — ивы там, где ты умер.*

*Если в жару нет воды,
жажда моя обратится в ручей
для тебя, бедный странник...
Обрети же покой в моих трудах,
в моих скорбях приклони главу,
возьми мою жизнь и кровь
и купи постель получше,
возьми моё дыхание и смерть,
купи себе упокоенье.*

*Когда перестреляют всех
и втопчут в грязь флаги,
наши кресты, твой и мой,
будут говорить людям,
что Христос умер на каждом
за каждого из нас.*

*На обломках твоего апреля
принесён в жертву Христос,
на руинах твоей весны
Он плачет, и Его слёзы
монетами упадут
в твою беспомощную руку,
выкупив тебя для твоей земли:*

¹ Четверо товарищей выжили, их спасли на шестой день. Незадолго до гибели Джон Пол женился и провёл на озёрах в Англии медовый месяц.

тишина Его слёз

прозвонит там, на чужбине.

Услышь их и приди, они зовут домой (152).

Родители, бабушки и дедушки, родной брат — все умерли. Мертон остался один. 19 марта 1944 года он принёс вторые обеты — на три года, перед окончательным постригом.

Томас Мертон против брата Людовика

*Кажется, никто не понимает,
что один из нас обречён на смерть.*

В Гефсиманский монастырь Мертон поступал, думая принести в жертву свои писательские устремления и «исчезнуть в Боге» (153) — так он был напуган своей жаждой оказаться на виду, стать влиятельным, стяжать себе имя и славу. Однако тяга к писательству не слабела. С первого же дня в Гефсимании он вёл дневник; не заставили себя долго ждать и первые стихи.

На заключительных страницах «Семярусной горы» Мертон говорит о своём писательском «я» как о тени, прокравшейся вслед за ним в монастырь, как о враге по имени Томас Мертон. «Кажется, никто не понимает, что один из нас обречён на смерть» (154). Одна из самых трудных проверок его послушания в том и заключалась, чтобы отсечь здесь собственную волю. Однако, попробовав не писать, Мертон понял, что это ещё труднее. В мучительных борениях писатель постепенно одерживал в нём верх. Должно быть, он изначально, по замыслу Божьему был писателем.

Мертон знал, что трапписты с недоверием относятся к умственному труду, но дом Фреде-

В каком-то смысле мы постоянно в пути, мы идём куда-то, словно бы и не зная куда. Но с другой стороны, мы уже прибыли на место.

«Семярусная гора»

На Твоём Кресте
Твоё и моё — едино.
Любовь меня учит читать
остаток Новой истории.
Я возвращаюсь по векам лет
обратно, к другому детству,
пока не найду ясли,
звезду и солому,
осла и вола, несколько
скромных людей
и не увижу, что родился
в Вифлееме.
«Биография»

рик был не таков. Сын переплётчика и издателя, ценитель книг, дом Фредерик уже однажды помог напечатать труд старого монаха, отца Раймонда. Узнав о сомнениях нового послушника, аббат похвалил его стихи и время от времени просил его что-нибудь написать. Мертон как мог уклонялся, а однажды даже пожаловался генералу ордена. Но всё было тщетно. Духовник бы-

ло запретил ему писать стихи, но и это длилось недолго, поскольку аббат рассудил по-другому. Он верил, что дар Мертон — от Бога, и считал своим долгом помочь этому дару раскрыться во благо всей общины.

В 1942 году в «Нью-Йоркере» появилось стихотворение Мертон, потом — ещё четыре в «Поэтри». Первую книгу, «Тридцать стихотворений», Джеймс Лафлин напечатал в 1944 году, вторую — «Человек в разделившемся море» — двумя годами позже, а за ней и ещё семь. Посмертно опубликовали сборник толщиной с Библию. (Ещё готовя вторую книгу, Мертон получил указание подписываться только светским именем и не публиковать своих фотографий. Это правило действовало до конца его жизни, и долгие годы почти никто из читателей не имел ни малейшего представления, как Мертон выглядит.)

Когда молодой послушник поведал духовнику, что хочет написать историю своей жизни, тот рассмеялся. В марте 1946 года дом Фредерик поддержал Мертон, и тот принялся за автобиографию. В письме к Джеймсу Лафлину Мертон писал, что книга будет «чем-то средним между Дантовым «Чистилищем», Кафкой и средневековым мираклем» (155). Заранее было готово и название, взятое из «Чистилища» Данте, — «Семирусная гора». В мае 1946 года Мертон, испрашивая благословения ордена, подал аббату спи-

сок книг, которые собирался написать в ближайшие годы (в третьем лице, поскольку список предназначался для орденского капитула). Там значились: труд по истории траппистского ордена, жития святых-цистерцианцев, книга о созерцании, книга о монашеской общине, исследование по древней цистерцианской литургии; на третьей странице, последним пунктом, стояло: «биография... гефсиманского монаха... родившегося в Европе в семье художников, окунувшегося в пучину коммунизма и современной университетской жизни и в конце концов, милостью и любовью Христа, попавшего в монастырь» (156).

Заручившись одобрением аббата и отбросив до времени сомнения, Мертон с головой ушёл в работу над автобиографией. Кафка, мираклъ, даже Данте отступили, дав простор откровенному рассказу. Законченная рукопись пришла под статью названию — размер её был подобен горе. «Я никак не укладываюсь в 650 машинописных страниц», — писал Мертон Лафлину в августе (157).

В конце октября 1946 года он отослал рукопись своему агенту Наоми Бертон. Она читала её несколько недель. В декабре книга попала к Роберту Жиро. Он отслужил после университета на флоте и стал редактором в издательстве «Харкут-Брейс» в Нью Йорке. Компания поверила ему, что с этой книгой, по крайней мере, не останется в накладе, и согласилась заключить контракт.

«РУКОПИСЬ ПРИНЯТА, — отбил телеграмму Жиро, — НОВЫМ ГОДОМ».

За доброй вестью последовала плохая. Весной 1947 года один из цензоров ордена едва не приостановил публикацию. Он запротестовал против мест о женщинах и пьянках, а в довершение ко всему признал стиль нигде не годным и посоветовал Мертону пройти заочный курс английской грамматики, прежде чем писать что-нибудь ещё.

Когда я работаю, пишу, мне лучше. Я становлюсь раскованнее, обретаю покой, забываю об окружающем... Сам же по себе я хочу только одного — уединения... Я жажду исчезнуть в Боге, погрузиться в Его мир, затеряться в тайне Его Лица.

«Знамение Ионы»

«Семярусную гору» написал человек, о котором я и слыхом не слыхивал.

«Знамение Ионы»

Книгу пришлось в несколько заходов редактировать и перерабатывать, и дело кончилось тем, что описание самых тёмных событий юности Мертона из неё исчезло, а публикация задержа-

лась до 4 октября 1948 года, дня св. Франциска Ассизского.

«Ни я, ни кто-либо ещё в нашем издательстве, — вспоминал Жиро, — не предполагали, что книга станет событием для всей страны. “Во всяком случае, неплохо разойдётся”, — думали мы» (158). После первого тиража в 7,5 тысяч и предварительной продажи ещё 20 847 экземпляров стало ясно, что успех обеспечен. До официально объявленной даты выхода в свет пришлось допечатать ещё 20 тысяч. В октябре было заказано 5,9 тысяч, в ноябре — 13, а в декабре — 31 тысяча. Однажды пришёл заказ сразу на 10 тысяч штук. В мае 1949 года Жиро послал в дар автору 100-тысячный экземпляр книги в специальном кожаном переплёте. Всего из первых тиражей распродали 600 тысяч книг в твёрдом переплёте, а счёт изданных в мягкой обложке шёл уже на миллионы. Переиздания до сих пор непрерывно следуют одно за другим. В Англии книга вышла под редакцией и с предисловием Ивлина Во и под названием «Избранная тишина». Её перевели на 16 языков. До Мертона доходили слухи, что её заинтересовались в Голливуде и на главную роль прочат Гарри Купера (159). (Экранизировать её и в самом деле собирались, но и аббат, и Мертон были против.)

В чём же секрет такого успеха? Отчасти виной тому удивительная история, рассказанная автором, столь же свободным в обращении со словами, как Чарли Паркер — в игре на саксофоне. Но главное — книга пришлась ко времени. Люди с готовностью приняли мертоновскую радикальную критику общественных порядков, за которые ещё несколько лет назад считалось неззорным убивать или гибнуть. Бомбы союзников падали на города, стирая их с лица земли и неся гибель мирным жителям. Было ясно, что виноваты не только Германия и Япония. «После этой чудовищной войны ждали

больших перемен, — говорил Жиро, — но к 1947 году все поняли: не меняется ровным счётом ничего и вот-вот разразится новая война» (160).

Но ещё важнее был захватывающий порыв Мертон к вере, добровольной нищете, покаянию, молитве, горячее исповедание милости Божией. «Семиарусная гора» бросала вызов представлению о счастье как вкусной еде, хорошей работе, удобном жилье и любовных победах.

Были в книге и свои изъяны — резкие, саркастические выпады в адрес всего остального, не католического христианства, покровительственный тон в отношении монашеских общин с менее строгим, чем у траппистов, уставом и, наконец, склонность считать, что настоящей высокой святости достигнет только монах. Позже Мертон и сам удивлялся, как он был близорук и скор на осуждение. Однако недостатки книги не умаляют её неоспоримых достоинств. «Семиарусная гора» остаётся одной из самых захватывающих среди когда-либо написанных историй обращения.

Читательский интерес к книге не ограничился тем, что её хорошо раскупали. Груды писем стали приходиться Мертону — безнадежно много, чтобы отвечать на каждое из них. Пришлось рассылать заранее отпечатанные в монастырской типографии открытки. Слава досаждала ему; он сомневался, благоразумно ли поступает, продолжая писать.

И всё-таки он писал. В 1947 году вышел и был хорошо принят новый сборник стихов «Образы для Откровения». Другую книгу того же года — биографию матери Берчманс — скоро и милостиво забыли. Удачной оказалась история траппистского ордена «Воды Силоама», вышедшая в 1949 году. В том

*Иди, упрямая болтуня,
найди своё место
на перекрёстках мира,
испытай там (если руки чисты)
своё терпенье.
Рифмами разбери мою рану,
растрать свою грошовую молитву
в шуме не знающих Христа улиц.
И попробуй спасти
хоть одного узника
от этих стен и машин.
от этой печали.
«Поэт — своей книге»*

же году появился ещё один томик стихов — «Слёзы слепого льва» и «Семена созерцания» — сборник эссе о духовности, выдержавший много переизданий и переведённый на разные языки. В 1950 году была издана биография св. Лютгарды «Что значат эти раны?» — написанный Мертоном ещё в послушничестве образчик нестерпимо приторного католического благочестия.

Книги хорошо раскупали, многие выдержали проверку временем, но сам Мертон питал к ним неприязнь. «Где я набрался этой благочестивой риторики?» — с горечью вопрошал он сам себя, не находя себе места, когда за трапезой читали его «Изгнание оборачивается славой». «[Книга] — противнее самого скверного сыра, когда-либо подававшегося в нашей трапезной» (161). Терзался он даже по поводу «Семян созерцания», куда лучшей книги. «В ней не хватает тепла и человеческих чувств», — писал он в дневнике (162). Поражался он и тому, как «дерзки» некоторые места из «Вод Силоама» (163). Сверяя гранки «Образов для Откровения», он искренне возмущался (164). «Плохая книга о любви Божией остаётся плохой книгой», — отчитывал он себя (165).

Обеты

Дрожжи, которые Бог соскрёб с греческих горшков, стали закваской для всего мира.

Монашество и траппистский монастырь предстали в автобиографии Мертона в самом лучшем свете. Однако случилось так, что, едва закончив книгу, он стал терять ощущение присутствия Божьего, не мог совладать и с рассеянностью, когда пел в хоре. Он был завален работой, и это тяготило его: в дневниковые заметки того времени попал список из двенадцати книг и брошюр, которые ему предстояло написать. Его начала мучить бессонница, он всё больше сомневался в том, что надо оставаться в монастыре.

Он часто думал о картузианцах, которым позволялось жить уединённо. Картузианский орден был общиной отшельников. Трапписты же, полагал Мертон, отменив уединение, отменили и созерцание. Однажды, пав духом после неприятностей с орденским цензором, Мертон ополчился против «потогонной» этики: «Трапписты думают, что воля Божия — в том, что трудно даётся, заставляет страдать и потеть... Если мы не тратим телесных сил, то сомневаемся, правы ли... Если же измотаны до предела, думаем, что сотворили нечто великое» (166). В особо мрачные дни Мертон жалел, что не знал о картузианцах, когда выбирал между Домом Дружбы и Гефсиманией.

Временами ему не давала покоя тяга к странничеству. «Есть что-то в моей натуре, — писал он в 1949 году, — из-за чего я мечтаю о бродяжничестве». С тоской думал он о нищих святых ски-

Не спрашиваю Тебя,
где, на каком кресте я умру,
это написано и исполнено здесь,
на каждом распятии,
на каждом алтаре.

Повесть моя тонет
и уходит в забвение
в пяти Иорданах Твоих ран.
Я кричу Твоим голосом:
«*Consummatum est*»¹.

«Биография»

тальяцах, вроде св. Бенедикта Иосифа Лабра². Он считал, что «удручающе респектабелен» (167), и чувствовал себя «уткой в курятнике» (168).

Аббат и духовник видели волю Божию в том, чтобы Мертон, став монахом в Гефсимании, никуда больше не уходил. Тот, как правило, соглашался. В январе 1947 года, незадолго до

окончательных обетов, он писал:

«Нет никакой логики в искушении бежать [к картузианцам]. ... Бог поместил меня туда, где я день за днём и час за часом провожу в занятиях, подвигающих меня к черте, за которой начинается молитва. Стоит переступить эту черту, как войдёшь в простое и молитвенное единство с Богом... Как же я глуп, если позволяю себе воображать, будто в другом месте я в одночасье взойду на высоты молитвы... Сюда поместил меня Бог... и если Ему когда-либо будет угодно, чтобы я покинул это место, Он устроит всё так, что сомнений в Его промысле не будет» (169).

«Важно жить не для созерцания, а для Бога, — напоминал Мертон себе. — Стоит только остановиться, как сразу оказываешься в месте назначения» (170).

19 марта 1947 года, в день св. Иосифа, Мертон дал пожизнен-

¹ Свершилось (лат.).

² Бенедикт Иосиф Лабр — живший во 2-й половине XVIII века святой, аскет и странник. Ни трапписты, ни цистерцианцы, ни картузианцы не приняли его в свои монастыри, считая его непригодным для общинной жизни. Он посетил наиболее известные святыни Европы, ежегодно совершал паломничество в Лурд, кормился милостыней, большую часть её раздавая бедным. Последние годы жил в Риме, умер на паперти храма.

ные обеты нестяжания, целомудрия, послушания, продолжающегося обращения и оседлости, и всё это — в Гефсиманском монастыре. Но сознательно и от сердца принесённые обеты не освободили до конца от сомнений. Спустя несколько месяцев один из братьев застал смущённого Мертон в библиотеке «in flagrante delicto»¹, когда тот, как зачарованный, разглядывал изображение картузианских монастырей конца прошлого века» (171). Он завидовал известному монаху-бenedиктинцу, перешед-

шему к картузианцам, однако не мог отделаться от чувства, что его горячее увлечение не совпадает с велением совести.

Видя, как тягостно Мертону спать в общей спальне, дом Фредерик позволил ему переселиться в комнатку над лестницей, давая тем самым вкусить хоть малую толику вожделенного уединения. Тревожным признакам нездоровья Мертон обрадовался — в изоляторе появился досуг для созерцания. «Перебравшись в келью, я стал другим человеком, — писал он в дневнике, когда был в изоляторе. — Молитва становится тем, чем ей и должно быть... Она нужна лишь для того, чтобы предать себя милости Божией... Здесь у меня уйма времени. Ни рукописей, ни пишущей машинки, ни беготни в церковь и обратно, ни скрипториума. Не нужно лезть из кожи вон, сиюсь успеть одно, пока не нагрянуло другое» (172).

Смерть по-разбойничьи унесла родных Мертон, а на седьмом году его пребывания в Гефсимании лишила духовного отца. Дом Фредерик скончался 4 августа 1948 года, дожив, правда, до того

В январе послушники работали в лесу, неподалёку от озера... Эхо топоров разносилось по тихому лесу... Работу ради молитвы не прерывают. Американские трапписты не так представляют созерцание... Но тогда, в январе, я был ещё зелен и не успел освоиться с их путанными и нелепыми порядками... Время от времени я поглядывал сквозь деревья туда, где возвышался шпиль монастырской церкви, и повторял в уме строку одного из псалмов восхождения: «Господь со Своим народом отныне и до века». Так оно и было.

«Семярусная гора»

¹ На месте преступления (лат.).

Мир ужасен, люди умирают от голода и холода, отчаяние низводит их до ада, а я сижу здесь, счастливчик и баловень, и пишу книги, и почитатели пишут мне, восхищаясь, как много я оставил, уйдя в монастырь. Хотел бы я спросить у них, что же, собственно, я оставил, кроме головной боли и ответственности?

«Знамение Ионы»

момента, когда смог вручить Мертону первый экземпляр «Семярусной горы». Напутствуя Мертона в последний раз, он просил его писать — «возгревать в людях любовь к духовной жизни» (173). Аббат, чьё терпение так восхищало Мертона, был к нему добр, как никто другой за всю его жизнь.

Всё, на что Мертон ему жаловался, пока аббат был ещё жив, отступило, словно старый монах унёс это с собой на небо. В сентябре 1948 года Мертон так писал о глубокой радости и примирённости с жизнью в монастыре: «Любовь водит меня по дому. Я ступаю два шага по земле и четыре — по воздуху. Это — любовь. Это — утешение... Любовь преследует меня — звучит нелепо, но она просто бьёт в меня, как в гонг. Только ею я и жив» (174).

Восторг длился не долго. К февралю в нём будто иссяк какой-то источник. Мертон почти не мог писать. Он растерялся (175). «Я вымучивал по пятьдесят страниц, а потом рвал их и начинал всё заново» (176). Книга, над которой он бился, вышла наконец в 1951 году под названием «Восхождение к истине». Мертон по своему толковал в ней духовность св. Иоанна Креста, избранного мистика, чей путь во тьме роднил их. «Мы должны ходить во мраке, — читаем у Мертона в одном из самых пламенных мест. — Странствовать в молчании, летать ночью». В целом же на книге лежит отпечаток далеко не лучшего состояния, в котором автор пребывал тогда почти всё время. Она получилась вымученной, академичной и сухой.

Мертон был озабочен близким рукоположением, и этим отчасти объяснялся жизненный спад. Временами его снова влекло к картузианцам, раздражала жизнь в Гефсимании. Книги словно выжали из него всё, слава смущала, а порой вызывала отвраще-

ние. Неубывающий поток писем не давал ему покоя. Ему было очень трудно посылать отпечатанные заранее открытки, когда требовался личный ответ. Важные посетители посягали на его силы и время. Один из них — Ивлин Во —

просил Мертон исправить пунктуацию и тщательно отредактировать книгу. В довершение ко всему, собственные стихи повергли Мертон в такое уныние, что он на время забросил их совсем. Легко давался только дневник — видимо, потому, что его не собирались издавать. В январе 1949 года Мертон думал о том, не умер ли он как писатель. «Эта мысль несколько не лишала меня душевного равновесия; напротив, я был рад» (177).

Тогда же произошло ещё одно событие, прибавившее ему смятения, — новым аббатом был избран дом Иаков Фокс. На плечи его легли заботы о двухстах монахах, которых надо чем-то кормить. Чтобы расселить разросшуюся общину, нужны были новые помещения, а дышащие на ладан домики нуждались в срочном ремонте. Монастырю же при более чем скромных доходах — в основном, от платы за Мессы и пожертвований — этого было не потянуть. Тогда дом Иаков решил сделать прибыльной ферму и изыскать другие источники средств. Здесь он, выпускник Гарвардской школы бизнеса и подписчик «Уолл-стрит Джорнел», чувствовал себя знатком. Но Мертон люди такого склада не привлекали. Он досадовал на заведённые новым аббатом порядки, страдал от грохота машин на ферме. Укрывшись в Гефсимании, он надеялся, что фабричный грохот навсегда останется за стенами обители.

Рукоположение откладывали дважды. Первый раз — по настоянию духовника, второй — из-за смерти аббата. Дом Иаков потребовал, чтобы Мертон сперва открыто объявил, что не намерен переходить к картузианцам, и тот согласился. Тогда аббат в знак своего расположения разрешил ему работать в монастыр-

Подлинное уединение — не в чём-то внешнем, не в том, что вокруг нет ни людей, ни шума. Оно — бездна, разверзающаяся в вашей душе. Эту бездну рождает жажда, которую не насытит ничто тварное.

«Семена созерцания»

В моём священстве крылся тайный смысл моего появления на свет. Десять лет назад, когда я и думать не мог о рукоположении, я вдруг понял, что священство для меня — вопрос жизни и смерти.

«Знамение Ионы»

ском хранилище редких книг, одном из немногих тихих и уединённых мест.

19 марта 1949 года, снова в день памяти св. Иосифа, Мертон рукоположили во диакона. Он был очень счастлив, служа на следующий день бла-

годарственный молебен, хотя и пребывал в полной растерянности. «Я думал только о том, как возьму Гостию. Я вспоминал, кем был раньше, и мне казалось, что церковный свод вот-вот обрушится мне на голову» (178). Скоро ему предстояло служить Литургию, и благоговейный ужас нарастал с каждым днём. 8 мая он писал: «Разве я смогу прожить эти две с половиной недели, ни разу не споткнувшись?» (179)

26 мая, в праздник Вознесения, брат Людовик стал отцом Людовиком. Его, распластанного на каменном полу монастырской церкви, одолевали не слёзы, а смех: «Поразительно, что Бог выбирает таких людей для таких дел», — словно говорил он кому-то.

«Даже мои прошлые грехи не выпадают из общей картины, — размышлял он в письме к сестре Терезе Лентфёр, — они лишь оттеняют неизмеримую милость Божию» (180). Марку ван Дорену он говорил, что священство — это некая роль в обществе, чего он никогда не хотел. «С другой стороны, приняв сан на этом этапе жизни, я выполнил своё предназначение» (181).

Когда его потом спросили, не нервничал ли он в момент рукоположения, Мертон ответил на траппистском языке знаков: нарисовал в воздухе круг и поставил указательным пальцем точку посередине — мол, наконец-то очутился именно там, куда давно стремился.

Рукоположение превратилось в трёхдневный праздник с нашепствием друзей и знакомых. Боб Лакс, Эд Райс, Дан Уолш, Боб Жиро, Джей Лафлин и Сай Фридгуд, которых Мертон не видел несколько лет, собрались в монастыре, чтобы помолиться на его первых Мессах. «В конце у меня было такое ощущение, что все, кто

приехал навестить меня, рассеялись по четырём концам вселенной, распевая гимны, благовествуя, пророчествуя, говоря языками, готовые воскрешать мёртвых» (182).

Среди воскрешённых оказался и сам виновник торжества. После долгожданного рукоположения он примирил в себе отца Людовика, монаха, и Томаса Мертонна, писателя.

«Как глупо было сетовать на писательский труд, — отметил он в июле в своём дневнике. — Он вводит меня в настоящее молчание и уединение. И молиться легче — ведь, едва отрываюсь от работы, я вижу, что зеркало во мне на удивление чисто, глубоко, безмятежно, и Бог сияет там, и я нахожу Его сразу, словно, пока я писал, Он незаметно для меня подошёл совсем близко» (183). А спустя ещё шесть месяцев Мертон говорил: «Мой [писательский] труд и есть моё отшельничество, поскольку, когда я пишу, только и могу уйти в одиночество и созерцание» (184).

Христианская жизнь, в особенности — жизнь созерцательная, непрестанно открывает присутствие Христа там, где раньше Его не замечал и не ожидал встретить.

«Знамение Ионы»

Во чреве китовом

*Мир прозрачен для Бога, но Бог слишком сокровенен,
чтобы о Нём говорить, слишком свят, чтобы Его видеть.
На глубине моего моря рыбы багровы.*

«**В**сё — ради Иисуса, через Марию, с улыбкой». Таков был девиз дом Иакова, но не Мертон. Мертону претили всякие лозунги, тем более — религиозные. Улыбки аббата тяготили его, проповеди — нередко раздражали. «Иисус должен стать нам приятелем, — говаривал монахам аббат, — закадычным другом» (185). Христос, привлёкший в своё время Мертон, Христос икон, Христос Преображения, в приятели не годился.

И всё-таки Мертон признавал, что дом Иаков ему нужен. Настоятель и его монах, несмотря на богословские расхождения, разность характеров и домашние баталии, искренне почитали друг друга. По-разному выражая себя, оба любили Церковь и были настоящими монахами. Ни тот, ни другой не считали Церковь и монашество чем-то застывшим. Мертон понимал, что аббат — настоящий пастырь, для которого монахи — не части механизма, а люди, требующие участия и внимания. (Одному из братьев, который был помещан на цветах, аббат поручил следить за цветником возле придомовой часовенки.)

*Я двигаюсь к моему призванию во
чреве парадокса.*

«Знамение Ионы»

Беспокойство и сомнения, донимавшие Мертон, аббат связывал с тем, что в детстве тот был обделён лаской и лишён здоровой и радостной религиоз-

ной атмосферы в семье. Однако это нисколько не мешало ему относиться к Мертону с глубоким уважением, и он не только поощрял его писательское служение, но доверял ему главные пастырские посты в общине и сам исповедовался у него.

Мертону без своего аббата пришлось бы очень нелегко. Не в силах сказать «нет», он предоставлял это дом Иакову, потом долго сетовал на него, рано или поздно успокаивался и благодарил. Аббат был для Мертона своего рода тормозом, помогавшим преодолеть губительную для него порывистость. Как бы Мертон ни роптал, он понимал в глубине души, что именно такой, сверхзаботливый аббат ему и нужен.

Сам он нес двойное бремя — и за себя, и за дом Иакова. Близился к концу 1949 год, и Мертон очень устал. «Я — созерцатель, который вот-вот свалится от непосильного труда», — записал он в дневнике 20 декабря.

«Я думаю, это — грех и расплата за грех, но на сей раз надо как-то обратить это себе во благо, к возрастанию... Вчера, когда освящали новый главный алтарь, с меня словно спадали одна пелена за другой. Я стоял, а потом сидел закрыв глаза и думал, зачем я так много читаю, пишу, говорю и почему меня так волнуют вещи, которые едва касаются моей жизни, — восемь лет назад, попав сюда, я понимал больше, чем сейчас» (186).

Не последнюю роль в этой усталости сыграло новое монастырское служение. В декабре 1949 года дом Иаков поручил Мертону вести с послушниками занятия по богословию, полагая, что писательский талант будет ему хорошим подспорьем. Так начался отсчёт шестнадцати годам преподавательского служения; на него уходила уйма времени и сил, но это возмещалось страницей и ему самому, и его подопечным. Сам Мертон как-то обмолвился, что за три месяца преподавания узнал больше, чем за четыре года учёбы (187).

Переутомление быстро сказалось, и Мертон заболел. Послед-

Предстояло возвести новые здания, полностью перестроить и расширить ферму. Все торопились, понадобилось много машин. Когда вокруг толпы послушников, кипит работа, в новых помещениях механизированная рота строителей трудится в поте лица, полной тишины как-то не ждёшь.

«Знамение Ионы»

ние дни Великого поста 1950 года он провёл в изоляторе, а в сентябре его отправили в больницу в Луисвилль, откуда через месяц отпустили, прописав лечиваться покоем. В ноябре пришлось снова лечь в больницу — лечить нос и колит. В монастырь он вернулся в декабре, полный сил и желания снова взяться за

перо. За три месяца он закончил «Восхождение к истине» и «Хлеб в пустыне» — книгу о Евхаристии. Ещё на четыре книги был подписан контракт с издательством «Харткорт Брейс».

Дом Иаков Фокс не только обладал деловой хваткой и добивался для монастыря финансовой независимости — он думал и о переменах и реформах монастырского уклада. Вскоре после избрания он позволил тем, кто принёс вечные обеты, пользоваться монастырскими владениями за пределами небольшой территории, которую прежде монахам разрешалось покидать только по делу. Сперва для прогулок, чтения и медитаций отвели двор к востоку от главного здания, а позже, в 1951 году, и все земли со стороны основной дороги, довольно обширные — с лугами, водоёмами и лесами. Послушникам разрешили выходить на лесистый утёс за восточной стеной монастыря, а Мертон получил от аббата ещё одну привилегию — он мог принимать гостей и гулять с ними по монастырским владениям. Позже это распространилось и на остальных монахов.

Итак, монашеский мир расширялся, и Мертон оказался здесь одним из первых. Нововведения пришлись как нельзя кстати: обитатели монастыря порой «чувствовали себя, как на подводной лодке», — вспоминал дом Иоанн Од Бамбергер, тогда ещё послушник (188). И впрямь, к середине 50-х в помещениях, рассчитанных на семьдесят монахов, их разместилось около трёхсот. (Послушники часто уходили из монастыря, а на их место приходили новые. С некоторыми приходилось расставаться очень быстро. Например, од-

ному послушнику, вздумавшему покурить на своём соломенном тю-
фяке, пришлось покинуть обитель на следующее же утро.)

В июне 1951 года, на десятом году монашества, Мертон писал о том, как он изменился: «Я стал совсем другим. Человек, кото-
рый начал этот дневник, уже мёртв, равно как и тот, кто написал
“Семиарусную гору“. А уж тот, о ком в этой книге говорится,
мёртв и давно... Её написал человек, о котором я и слыхом не
слыхивал» (189).

До тридцати шести лет Мертон дожил вообще без гражданства.
Пришла пора становиться гражданином Соединённых Штатов. Шаг
этот для него не был пустой формальностью. Он критиковал Амери-
ку, его раздражал «детский лепет в Учебнике американского гражда-
нина», который его обязали проштудировать; но вместе с тем он чув-
ствовал, что связан с этой страной так, как не связан ни с Францией,
ни с Англией. Став монахом, он, по иронии судьбы, оказался ближе
к обществу, которое покинул. «Я пришёл в монастырь, чтобы обрести
своё место в мире, — писал он в марте. — Если мне это не удаст-
ся, значит, я потрачу время зря» (190). Прибыв 22 июня в Феде-
ральный Суд в Луисвилле, Мер-
тон обнаружил там репортёра,
который наблюдал за всей цере-
монией. «Странный этот мир, —
писал потом Мертон в дневнике,
— если из-за журналиста волну-
ется только траппистский монах,
из мира ушедший». Внимание
публики привлекал именно он,
человек не от мира сего, участву-
ющий в сугубо мирской церемо-
нии, — событие в ура-патриоти-
ческом духе 50-х.

Вскоре после этого Мертон
назначили наставником «схолас-

*Никто так не меняется с каждым
новым поколением монахов, гото-
вящихся к рукоположению, как их
наставник. Я каждый раз словно
заново начинаю свой путь в цис-
терцианском монастыре, но уже не
задаюсь отвлечёнными вопросами,
ибо не могу позволить себе снова
роскоши и мучений монашеского
отрочества. Я — взрослый монах и
не хочу тратить время на то, что
не касается самой сути дела. Серд-
цевина всего — не идея и не идеал,
но Сам Бог, найти Которого мож-
но, не соотнося настоящее с буду-
щим или прошлым, но погружаясь в
настоящее, как оно есть.*

«Знамение Ионы»

тов» — монахов, готовящихся к рукоположению. Новое служение очень мешало возжеленному уединению. Впрочем, он обнаружил, что общение с подопечными заводит его в неизведанные места. «Что это за новая пустыня?» — спрашивал он. — Имя ей сострадание. Нет пустыни страшней, прекрасней, суровой и плодоносней» (191).

В октябре 1951 года благодаря аббату, придумавшему для него должность лесника, Мертон получил возможность больше бывать в лесу, в одиночестве. Он помечал деревья для вырубки и определял места для новых посадок. В лесу становилось легче на душе, дышалось свободнее. «Я словно очутился в другой стране», — писал он.

Облечённый новым титулом, Мертон проводил дни среди деревьев, изучая попутно монастырские владения, которых прежде не видел. Одним из его открытий был величественный холм, который он назвал Горой Кармил, в память о месте, где Бог явился пророку Илии не в буре, а в «веянии тихого ветра» и где в XII веке основали кармелитский созерцательный орден.

«Это лучший из холмов, — писал Мертон в январе 1952 года. — Он тянется с севера на юг до озера, и с почти безлесой вершины открывается вид на часть штата — леса и леса на много миль к северу». Подходящая местность для затвора, но трапписты не бывают затворниками. «Леса наполняют меня своей тишиной, и потом

Дерево прославляет Бога прежде всего тем, что оно — дерево. Его послушание — быть тем, чем Бог его задумал. Оно, так сказать, соглашается принять Его творческую любовь. Оно выражает идею, сущую в Боге, неотделимую от Его сущности, и тем самым подражает Богу, оставаясь самим собой.

«Новые семена созерцания»

до самого вечера, даже в хоре и на Мессе, я — в лесу» (192).

Однажды, в феврале 1952 года, Мертон сидел под деревом на кедровом бревне и глядел на светло-голубые холмы. Вдруг ему почудилось, что он — морская тварь, обитающая в подводной пещере и знающая о суше только по слухам. С волнующим ветром поверхности моря,

освободившись от планов и замыслов, он ушёл в глубину, где не бывает шторма. Там — только «мир, мир, мир. ... Там — мы молимся, плавно и неспешно, как плавают рыбы... Из этой глубины, мне кажется, не поднимаются слова, там они только тонут. Эти воды нельзя присвоить, они — ничьи... Ничто не тревожит святость растений. Нейтральная территория. Ничейное море. Не хочет ли Бог, чтобы я написал об этой, второй глубине?». Мертон сознавал, что ещё глубже есть третья, где «плавают в густом мраке, не плотном, как вода, а лёгком, как воздух. Там — звёздный свет неизвестно откуда и молитва, тихая, как луна, ожидающая Искупителя... Всё чревато разумом, но всё — ночь. Там не место игре ума, там — одно лишь трезвение. ... Всё — дух. Здесь поклоняются Богу, здесь узнают Его приближение, здесь принимают Его именно потому, что ждут. Но, не успев приблизиться, Он удаляется; ещё не придя — уходит. Его не было рядом, но Он исчез навеки. Он есть — и Его нет. Всё и Ничто. Ни свет, ни мрак, ни высота, ни глубина, ни там, ни здесь. На веки и веки. В ветре, поднятом Им, ангелы восклицают: “Единый Святой ушёл”. И вот, я лежу мёртвый под сенью их крыл... Как странно пробудиться и увидеть небо внутри себя, под собой, над собой, повсюду; так что дух един с небом, и всё — только ночь» (193).

Как-то раз к Мертону попали рисунки умственно отсталых детей. На многих из них был изображён Иона во чреве китовом — пророк, спасшийся от морской пучины. Мертону показалось, что это первые настоящие произведения искусства, которые он увидел после поступления в монастырь. В Ионе он признал самого себя, а кита, в котором тот был погребён, — единственной помехой к тому, чтобы обрести наконец своё лицо. «Многие... крещённые во Христа восстали из бездны, так и не поняв разницы между Ионией и китом. Нам дорог кит. Иона, всеми забытый, болтается посреди моря. ...Надо извлечь его из чрева китова» (194).

Отшельник с Таймс-сквер

Послушники и созерцатели должны бы наблюдать за ястребом — он прекрасно знает своё дело.

Хотел бы и я так же знать своё (195).

В прологе к «Знамению Ионы», изданному в 1953 году, Мертон писал:

«Знамение, о котором Иисус говорил “роду сему”, не разумеющему Его слов, — это “знамение Ионы пророка”, прообраз Его Воскресения. ... Каждый христианин отмечен им, ибо все мы живы силой Христова Воскресения. Это великое знамение коснулось и меня — крещение, обеты, священство выжгли его в самых моих глубинах. Я, как Иона, двигаюсь к моему призванию во чреве парадокса» (196).

Одной из сторон парадокса была его обитель. Жизнь в монастыре — и пустыня сострадания, и поле брани.

О сражениях Мертону приходилось думать всерьёз — ему всё меньше нравилось, как монастырь зарабатывал деньги. По проекту аббата именно фермы, обслуживаемые монахами коммерческие предприятия, производящие сыр, бекон, копчёности и пироги с привкусом виски, должны были вытащить монастырь из долгов. Всё это продавали гостям и посетителям в лавочке у ворот, рассылали по заказам. На монастырской земле стали выращивать люцерну, а немного погода — и табак. На фабрике, которую монахи прозвали «Малый Питтсбург», из люцерны делали гранулированный

корм для индеек и скаковых лошадей. Корм пользовался спросом, поскольку им питалась лошадь, победившая на скачках в штате Кентукки. Добывание денег поглощало массу энергии: монахи часами трудились на монастырских фабриках. С сентября до середины декабря все силы бросали на производство сыра и пирогов. Мертону иногда казалось, что и сам он — статья монастырского дохода: гонорары первых лет за «Семярусную гору» помогли монастырю рассчитаться с долгами. В последующие же годы доход от его публикаций составлял 20—30 тысяч долларов в год.

Мертон не стоял насмерть против монастырского капитализма, но его тревожили ядовитые удобрения, шум машин и чувство, что монастырь всё больше походит на промышленную Америку. На полях умирали птицы, монахи болели от яда, который сыпали на посевы. Мертон поделился своими мыслями с братией, виртуозно используя язык жестов. Протест возымел действие, к нему прислушались, но земле, здоровью монахов и всему укладу уже нанесли изрядный вред.

«Принося обет оседлости, — писал Мертон в прологе к “Знамению Ионы”, — монах отрекается от тщетного упования на то, что он сможет найти другой, “совершенный” монастырь». Сам он его так и не нашёл. Его тянуло на более тучные монастырские пастбища, но дом Иаков был неумолим.

В конце 1952 года, в самый разгар цензурных сражений с генералом ордена из-за «Знамения Ионы», Мертон надеялся, что ему разрешат перейти к камальдулам — в орден, основанный в XII веке в одной из апеннинских долин. Они привлекали его больше, чем

Отшельник обречён жить по собственному разумению. Ничего другого ему не остаётся. Не потому ли его путь так опасен и не потому ли на него так часто смотрят свысока?

«Одинокие думы»

картузианцы. Те жили в своих кельях, но в одном здании, а камальдулы — каждый в своём скиту, образуя целые колонии вокруг церкви. Единственное общее дело у камальдулов — Литургия и молитва. «Вся суть в том, — писал Мертон в

“Безмолвной жизни”, — что такой уклад не обременён формальностями, неукоснительными и жёсткими предписаниями и всецело располагает к чистому созерцанию, подлинному одиночеству и простоте. Руководство духовников и послушание надёжно оберегают её от искажений» (197). Глава камальдулов тепло отвечал на его письма и приглашал перейти в орден, но для этого с Мертона должны были снять обет оседлости.

Дом Иаков был против. Он твёрдо держался того, что спасение Мертона, да и не его одного, — в Гефсимании. Так думал не только аббат. Один из друзей Мертона, к кому тот нередко обращался за советом, учёный-библейст дом Варнава Ахерн, говорил, что уход Мертона из Гефсимании вызовет скандал, подхлестнёт недовольство братии, опорочит траппистов и даже даст козырь в руки критиков созерцательной жизни.

Мертон и сам постепенно сдавал позиции и осенью 1952 года писал в дневнике:

«Я бы в 10 минут собрался и уехал к камальдулам, если бы всё дело было лишь в моих желаниях и устремлениях. Но здесь — нечто совсем иное: есть одно обстоятельство, которое удерживает меня в Гефсимании. Это обстоятельство — крест. Тайная премудрость Божия внушила мне, что моё место — здесь именно потому, что в Гефсимании мне так неудобно и почти все мои идеалы попораны» (198).

Двумя неделями позже он писал, что ещё не окончил школу общежительного монашества, после которой открывается путь в затвор: «Я ни в коей мере не состоялся до конца как кинобит. Я лишь толкнул воду в ступе» (199). Между тем Мертон решил, что, куда бы ни завела его монашеская стезя, он никогда не станет аббатом. 8 октября 1952 года он частным образом принёс отцу Иакову обет никогда не брать на себя этого служения.

Аббат остался верен себе и помог Мертону сделать ещё шаг к уединению. В дальний угол «каменного леса» — поля, населённого

изъеденными дождями статуями святых, которым не нашлось места в стенах монастыря, перенесли сарай с садовыми инструментами. В этом-то сарае Мертон и проводил теперь часть дня. Свой временный скит он назвал «скитом св. Анны» в честь матери Девы Марии. Там были написаны «Человек не остров» и «Хлеб в пустыне». Это была пора умиротворения и радости. Тем временем, после выхода в начале 1952 года «Знамения Ионы», о метаниях Мертона, неуверенности в своём призвании и тяге к созерцательным орденам стало известно за стенами монастыря.

В 1955 году, весной, страсть к перемене места снова приступила к Мертону, и он снова стал надеяться на переход к картузианцам. Спустя несколько лет он ещё помнил, какие испытывал мучения, сажая ладанные сосны тогда, «во время кризиса 1955 года» (200). Дом Иаков уступил Мертону во всём, и менять адрес не было нужды. Аббат намеревался снять с него все послушания и благословил переселиться в скит — возведённую тем летом по решению окружающих властей пожарную вышку на Виноградном холме. Мертону пришлось по душе это пустынное место. Поселившись на вышке, он какое-то время ликовал. Но вскоре оказалось, что ходить каждый день в монастырь на Мессу и на обед, а потом возвращаться очень непросто. До монастыря было довольно далеко. Тогда Мертон попытался ездить на джипе, но кончилось это плачевно — он поломал радиатор, и монастырский механик крепко обругал его, отнюдь не на языке жестов.

Этот случай Мертон, видимо, счёл за знак того, что забрёл куда не следует. Отказавшись от вышки, Мертон попросился на недавно освободившуюся должность наставника послушников. Дом Иакова столь скорая перемена и удивила, и обрадовала. Мертон был поставлен на новое служение, одно из самых важных в общине.

Однако его дальнейшая судьба оставалась неясной. Прошение о переходе в другой орден дошло до Ватикана. Дом Иаков написал кардиналу Монтини (будущему Папе Павлу VI), одному из самых благодарных читателей Мертона среди иерархии, епископу, кото-

рый, по всей видимости, симпатизировал его увлечению созерцательными орденами. Мертон, писал аббат, «склонен ставить личное во главу угла», забывая о том, что он весь на виду и в общине и в мире. Он не думает о том, какой отклик вызовет его уход из Гефсимании. «Ваше Высокопреосвященство, как пред Богом свидетельствую — и готов отвечать за свои слова на Страшном суде, — не вижу я перста Божьего в желании отца Людовика перейти в другой монастырь». Должно быть, письмо возымело действие, и Мертон не получил ни поддержки, ни благословения на переход.

Интерес к психоанализу, вспыхнувший у Мертона от желания быть как можно полезнее послушникам, привёл к событию, основательно выбившему его из колеи. В июле 1956 года он вместе с дом Иоанном Одом Бамбергером ездил в Миннесотский университет св. Иоанна на двухнедельный семинар, посвящённый психиатрии и её месту в духовной жизни. На второй неделе к ним собирался присоединиться и сам дом Иаков. Председательствовал на семинаре недавно обратившийся в католичество доктор Грегори Зилбург, чьи книги печатало одно из издательств, работавших и с Мертоном.

Зилбург читал «Знамение Ионы» и был заранее настроен против Мертона. В частной беседе он заявил, что у того «дела плохи», что Мертон — «полусвихнувшийся мошенник» и надоеда, который донимает начальников, добываясь своего (201). На самом деле Мертон жаждет славы и болен манией величия и нарциссизмом. Он — вроде выжиги, который облапошивает свою жертву на Уолл-стрит, а на следующий день просаживает добычу на скачках. Вся его писанина — словоблудие, а стремление к отшельничеству — патология. Слушая Зилбург-

Мне снилось, будто я заблудился в большом городе и иду «по направлению к центру», не зная толком, правильно ли иду. Поднявшись довольно высоко в гору, я уткнулся в тупик. Передо мной была бухта большой гавани и город, разбросанный по белым от снега холмам. Идти ещё далеко, зато теперь есть ориентир, — сообразил я. Гавань огибала город с двух сторон, и заблудиться было нельзя: куда бы ты ни пошёл, непременно придёшь к одной из её бухт.

«Догадки виноватого наблюдателя»

*Так устроен мир, что себя нужно
искать не только в Боге, но и в
людях.*

*Отстраняясь от людей, словно
они не из того же теста сделаны,
никогда себя не найдёшь.*

«Новые семена созерцания»

га, Мертон не мог отделаться от мысли, что тот невероятно похож на Сталина. По сути же, Зилбург не говорил ничего такого, о чём Мертон сам не писал бы в дневнике, когда его одолевала хандра.

На следующий день приехал дом Иаков, и Зилбург устроил встречу с ним и Мертоном, на которой заявил, что стремление последнего к отшельничеству — не что иное, как жажда привлечь к себе внимание. Он-де хочет поселиться в келье на Таймс-сквер, над которой «огромными буквами будет начертано: ОТШЕЛЬНИК». Такого Мертон вынести уже не мог. Он чувствовал себя униженным и раздавленным, лицо его было мокро от слёз, он твердил про себя одно и то же: «Сталин, Сталин...» Знаменитый психиатр подтверждал то, чего опасались и дом Иаков, и сам Мертон.

Мертон собирался было поехать в Нью-Йорк на приём к Зилбургу, но потом было решено, что он наведается к психологу из Луисвилля, доктору Джеймсу Уайгалу. В декабре Зилбург сам явился в монастырь, и тут выяснилось, что у него появились какие-то новые соображения. Он стал говорить, что дела Мертона не так уж и плохи, в конце концов. «Хоть и выходит, будто я конченный псих, — писал Мертон Наоми Бертон в конце года, — никакого психоанализа, оказывается, мне не нужно». Спустя несколько месяцев он записал в дневнике, что хотя в выводах Зилбурга и есть доля истины (202), душа его никогда не найдёт себе места в этом «театре», и всякая попытка втиснуть её туда обернётся «трагедией и неразберихой» (203).

В 1956 году, когда негры в Монтгомери бойкотировали отдельные автобусы — для чёрных и для белых — и имя Мартина Лютера Кинга замелькало на первых страницах газет, Мертон читал Ганди. Интерес к Ганди возник у него ещё во время учёбы в Океме, только теперь ему уже не надо было отстаивать свои радикальные

взгляды перед одноклассниками. Он размышлял над тем, как евангельская проповедь могла бы повлиять на общественную жизнь, и делал первые шаги в общении с нехристианскими мыслителями.

Весной того же года Мертон открыл для себя русскую литературу, светскую и духовную. Случилось это очень кстати: осенью русские запустили первый спутник, Советы делали успехи в области космических полётов. Мертона же интересовало совсем не это, а глубокая духовная традиция России. Он постепенно приходил к убеждению, что восстановление единства Церкви начинается с восстановления единства в нас самих. В апреле 1957 года Мертон писал в дневнике, вошедшем потом в книгу «Догадки виноватого наблюдателя»:

«Совмеща в себе мысль и веру восточного и западного христианства, греческих и латинских отцов, русских и испанских мистиков, я воссоединяю разделённое. Рано или поздно христиане станут едины — уже не только во мне, не тайно, прикровенно, а явно, открыто. Стремясь объединиться, нельзя просто свалить в кучу то, что разделяет. Такой союз обречён; он будет не христианским, а политическим. Мы должны вместить в себя разрозненные миры и принести их ко Христу» (204).

Мертон одним из первых на Западе прочёл роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго» и был поражён его глубиной и подлинно христианским духом. В августе 1958 года, за два месяца до присуждения Пастернаку Нобелевской премии по литературе, Мертон написал ему письмо:

«Я рад, что, минуя огромные расстояния и непреодолимые преграды, говорю с Вами, человеком родственного мне духа. Мы словно встретились на той глубине, где люди уже не отделены друг от друга. На языке, близком мне, католическому монаху, мы познали друг друга в Боге.

Для меня это простые и понятные слова, говорящие о привычном, почти будничном. ... Я уверен, что Вы меня поймёте. Верно, что каждый человек остаётся собой, не похожим на других, особенным. Но верно и то, что каждый призван так понять другого, так с ним сродниться, чтобы выйти за пределы самого себя. Русская традиция называет это соборностью. На Западе это понятие остаётся туманным».

Мертон писал Пастернаку, что собирается учить русский язык, «чтобы читать русских писателей в подлиннике. ... Как бы я хотел и Вашу книгу прочесть по-русски!»

Чудесным образом письмо дошло до Пастернака, жившего тогда на даче в Переделкине. В начале ноября в Гефсиманию пришёл ответ. До смерти Пастернака в 1960 году они успели обменяться шестью письмами. Для Мертона это был удивительный опыт единства вопреки всем искусственным политическим и церковным разделением. Пастернак же вскоре после своего изгнания из Союза писателей говорил Джону Харрису, что «высокий дух и молитвы Мертона спасли ему жизнь» (205).

Пробуждаясь от сна

Если живёшь христианской жизнью... непрестанно находишь Христа там, где Его раньше не замечал и не ожидал встретить.

В одном из писем Борису Пастернаку Мертон рассказывает, что в феврале 1958 года видел такой сон: он сидит «рядом с еврейской девушкой лет четырнадцати-пятнадцати, и вдруг она с глубокой, чистой любовью обняла меня. Я был потрясён до глубины души. Оказалось, что зовут её Притча, и я подумал, что имя это — очень простое и красивое. Ещё я подумал, что она — из рода св. Анны. Мы заговорили об её имени, она им нисколько не гордилась, подружки смеялись над ним. Я сказал ей, что оно прекрасно, и на этом сон оборвался. ...Вот Вы и посвящены в скандальную тайну монаха, влюбившегося в девушку, да ещё еврейскую! Чего и ждать в наши дни от монахов... перевелись подвижники былых времён».

Сон этот, продолжал Мертон, видимо, связан с тем, что произошло несколькими неделями позже, 18 марта, в Луисвилле, где он был по издательским делам. «Я шёл по оживлённой улице и вдруг увидел, что каждый человек — Притча, все они светятся её красотой, чистотой, застенчивостью, хотя не знают, кто они на са-

Писательский труд... вводит меня в настоящее молчание и уединение. И молиться легче — ведь, едва отрываюсь от работы, я вижу, что зеркало во мне на удивление чисто, глубоко, безмятежно, и Бог сияет там, и я нахожу Его сразу, словно, пока я писал, Он незаметно для меня подошёл совсем близко.

«Знамение Ионы»

Я писал эту книгу во власти порыва, побудившего меня — решительно и добровольно — оставить прежнюю жизнь. Мне казалось, что разрыв, отречение — самое важное на свете. Это и задавало тон книге.

С тех пор я научился сострадать миру, ведь его населяют люди, сделанные из того же теста, что и я, во всём мне подобные, а не странные обманутые чужаки. Отвернувшись от «их мира», я почему-то отвернулся и от них. Но, отказавшись от их суеты и самообмана, я страдал вместе с ними; как и они, слепо и отчаянно надеялся на счастье.

Предсловие к японскому изданию «Семирясной горы»

мом деле, и стыдятся своих имён — ведь над ними часто смеются. Они не ведают, что каждый из них — то бесценное Чадо Божие, которое от начала мира играет пред Его лицом» (206).

О том, что произошло с ним тогда, Мертон писал в дневнике на следующий же день. Позже этот текст вошёл в составленные из дневниковых записок «Догадки виноватого наблюдателя»:

«В Луисвилле, у перекрёстка

4-й и Ореховой улиц, в самом центре торгового района, я вдруг понял, что люблю всех этих людей, что они — мои, а я принадлежу им, что мы — не чужие, хотя и совершенно разные. Я словно пробудился от сна, где жил сам по себе, отделённый от всех, в особом мире, где царят отречение и мнимая святость. Нельзя быть святым, живя отдельно от других. Это — сон, иллюзия. ...Я чуть было не засмеялся от радости. Какое облегчение, какое счастье — освободиться от мнимых различий! ...Как хорошо быть одним из людей, хотя род человеческий занимается всякой чепухой и делает страшные ошибки. А всё-таки Сам Бог прославил его, став Человеком. Я — один из людей! Подумать только, такая заурядная мысль потрясла меня, словно выигрыш на каких-то космических бегах. ...Людям никак не расскажешь, что они светятся, как солнце. ...Чужих нет! ...Если бы только мы всё время видели друг друга, прекратились бы войны, ушли ненависть, жестокость, алчность. ...Нам было бы очень трудно не упасть друг перед другом на колени. ...Врата небесные — повсюду» (207).

Связи с миром, которые Мертон устанавливал в позднюю пору своего монашества, удивляли и его самого, и тех, кто знал его по ранним книгам. С одной стороны, он по-прежнему хотел уединения, с другой — всё больше чувствовал себя причастным к событиям и людям за стенами монастыря.

Тогда, в 1958 году, на углу 4-й и Ореховой, развеялась одна из главных иллюзий, продержавшаяся все первые семнадцать лет монашества. Он думал, что совершенства достигают, только замкнувшись «в особом мире, где царят отречение и святость». После того, что случилось, Мертон остался верен монашескому призванию, и тяга к отшельничеству не исчезла. Но теперь он иначе видел монашеский путь: в истинном одиночестве сочетаются отрешённость и вовлечённость, замкнутость и радушие, уход и появление. Противоположности нужны друг другу, как два крыла — птице.

Редактируя «Скрытые основания любви», монсеньор Уильям Шеннон, главный издатель писем Мертона, заметил, что их стало очень много после «4-й и Ореховой» (208). Круг общения за стенами монастыря заметно расширился.

Среди прочих Мертон начал переписываться с Дороти Дэй, основавшей Движение рабочих-католиков. Он видел её ещё в колледже св. Бонавентуры, она там выступала, но с тех пор они не общались. Мертон стал для католиков символом неотмирности, а женщина, не раз побывавшая в тюрьме, — символом погружённости в мир. Она выпускала независимый мирянский журнал «Кэтолик Уоркер», единственное католическое издание, где проповедовался пацифизм. В самых нищих кварталах работали основанные Движением приюты. Среди католиков Дороти слыла чуть ли не коммунисткой: так резко критиковала она экономическую систему, умножавшую нищету, калечившую людей и превращавшую их в изгоев. Многие, в том числе и Мертон, считали её редкостным человеком, живущим по Евангелию без всяких уступок, подобно св. Франциску. В июле 1959 года Мертон написал ей, как ценит её подвиг:

«Я глубоко тронут Вашим свидетельством о мире [имеется в виду её недавний арест в нью-йоркском Сити Холл Парке за то, что она

Всей своей жизнью я отвергаю преступные и несправедливые войны и политическую тиранию, которые грозят уничтожить род человеческий, а с ним — и весь мир. Своими монашескими обетами я говорю НЕТ концлагерям и бомбардировкам, политическим судилищам, законным убийствам и расовой дискриминации. ...Говоря «нет» силам мира сего, я говорю ДА добру в мире и человеку.

Предисловие к «Востоку и Западу»

если таковые вообще найдутся. Не тревожьтесь о том, считают ли Вас все безусловно правой. Перед Богом Вы правы, ибо действуете как можете, сражаетесь за достаточно ясную и значимую истину. Чего ещё желать? ...В наши дни как никогда ясно, что мир сбился с пути и не видит подлинных ценностей. Будем и дальше молиться друг за друга» (209).

Мертон очень нуждался в таких молитвах. Он хотел не только уединения, но мечтал и о монашеской жизни, в которой нашлось бы место подлинной нищете; той жизни, которой жила Дороти Дэй. Гефсимания с её дорогой техникой и добротными зданиями казалась ему частью богатой и воинственной страны. Настоятель бенедиктинского монастыря в Мексике приглашал Мертона устроить скит неподалёку от его обители; епископ Сан Хуанский тоже предлагал ему скит на острове Тортола в Британской Вест-Индии. Поэт Эрнесто Кардинал, который был некогда послушником в Гефсимании, звал его присоединиться к новой монашеской общине в Никарагуа. Мертон снова обратился и к руководству ордена, и в Рим, спрашивая, нет ли воли Божией на то, чтобы ему сменить место подвига.

В середине ноября дом Иаков спешно отправился в Рим хлопотать, чтобы Мертона оставили в Гефсимании. Но Мертон и тогда

не пошла в укрытие во время учебной тревоги]. Как Вы правы, стоя на своём и твёрдо держась сантьяграха [букв. «сила истины» — так называл Ганди ненасилие]. Другого пути я не вижу, хотя здесь не всё до конца ясно. Конечно, я на Вашей стороне, коль скоро речь идёт о том, чтобы стоять твёрдо и действовать в соответствии с этим. Теперь уже дело не в том, кто прав. Теперь важно, кто по крайней мере не преступен,

вёл себя так, словно вот-вот уедет оттуда. Оказавшись по случаю в Луисвилле, он зашёл в транспортное агентство, чтобы справиться о билетах в Латинскую Америку.

Ответ из Рима пришёл 17 декабря. Мертон читал его, стоя на коленях перед Святыми Дарами в часовне для послушников. Кардиналы Ларраона и Валери из ватиканской Конгрегации, ведавшей делами монашества, приводили отрывок из его же книги «Человек — не остров», где он говорит, что выбрал траппистский орден не потому, что тот — лучший, а потому, что «так захотел Бог» (210). (По иронии судьбы, цитата в письме обрывалась как раз перед словами, что если Бог позовёт его куда-то ещё, он «мгновенно снимется с места».) Кардиналов беспокоило, что уход Мертона из Гефсимании будет для многих соблазном.

Не такого ответа он ждал, не о нём молился. И всё же, когда кардиналы запретили ему «переход», он почувствовал облегчение. «Возвращаясь к себе, я обогнул лес, увидел монастырь и рассмеялся. Он стал другим, куда более лёгким. Я освободился от него» (211).

Двумя днями позже Мертон вручил настоятелю уведомление о полной покорности и декларацию о правах совести. Он сообщал, что не будет «предпринимать никаких шагов» к тому, чтобы покинуть орден, или «оказывать какой-либо нажим, добиваясь своего», но оставлял за собой право «делиться мыслями со сведущими в том или ином деле людьми». Он напоминал дом Иакову, что каждый монах волен испрашивать совета у того духовника, которого сам выберет. «Не думаете же Вы, что только тот из Вашей братии и спасётся, кто следует Вашим правилам, все же прочие — сбились с пути? ...Я имею право... писать духовникам других монастырей, просить у них совета, как поступить. Прошу я не чего-то непомерного, но лишь того, что Церковь дозволяет всем своим чадам» (212).

Мертон по-прежнему мучился тем, что и в ордене, и в Церкви нет свободы и уважения к личному выбору. Дом Иаков изымал письма Э. Кардинала к Мертону, хотя тот и говорил, что они касаются его одного и притом — лично. Не утихали сражения с цензо-

рами и старшими по ордену из-за того, что он пишет; его по-прежнему раздражали и монастырь, и аббат.

Последние полгода Мертон почти совсем не писал, если не считать дневника. Он правил и редактировал «Спорные вопросы» — сборник, в который кроме эссе о Пастернаке вошли заметки о православии и монахах-пустынниках, и книгу «Новый человек», где он размышляет о поисках подлинного «я», сотворённого по образу и подобию Божию, но скрытого за именем, званием, достижениями и иллюзиями.

В конце 1959 года Мертон решил, с благословения дом Иакова, поехать в Луисвилль к доктору Джеймсу Уайгалу. Он задумал это ещё тогда, когда Грегори Зилбург назвал его отшельником с Таймсквер. Мертона беспокоили не опасные для душевного равновесия влечения; просто он считал, что знающий, непредвзятый и участливый собеседник поможет ему по-новому взглянуть на себя и на других. Он не ошибся. Джеймс Уайгал помог справиться с душевными трудностями, хотя психоанализ не пригодился ни тогда, ни после. Они подружились с доктором на всю жизнь.

Благословения

Богу ...незачем держать птиц в клетках.

К началу 1960 года стало ясно, что о ските за пределами монастыря не стоит и думать, и все надежды Мертон теперь связывал с Гефсиманией. В беседах с дом Иаковом было решено построить в стороне от монастыря дом и устраивать там экуменические встречи, а когда их нет — Мертон сможет проводить там часть дня.

31 марта он переселился в тихую келью. Из её окна открывался прекрасный вид на один из холмов и на Святой Крест. «Славный скит», — писал Мертон в дневнике. Радость его не унялась и к началу мая; он писал, что в этой крошечной комнатке чувствует себя «как на краешке неба». У него были стул, старый стол из скрипториума, постель, три иконы и маленькое распятие работы Эрнесто Кардинала. «Нигде не читается так, как здесь. Кажется, что молчаливые стены исполняют всё великой значимостью. Я тут один, не насторожён, спокоен и сосредоточен. Четыре стены и тишина помогают слушать... всеми порами и впитывать истину всем существом. Вряд ли в Мексике было бы лучше!» (213)

Ещё одним знаком поворота в его судьбе стало прямое знакомство с Папой. Мертон ждал этого ещё в 1958 году, когда писал Иоанну XXIII, избранному несколько недель назад, что хотел бы создать

Благодаря ему многие вновь обрели надежду на Церковь как живую реальность, подлинное Тело Христова. Он просто и глубоко раскрыл присутствие Духа в мире, и теперь его могут принять даже те, кто вообще не расположен во что-либо поверить.

«Догадки виноватого наблюдателя»

Как мне выразить благодарность и те чувства, которые я испытал, когда получил эту прекрасную епитрахиль? Вы сами благословили её и носили. Поистине, Ваше Святейшество, это — великая честь....

Письмо Папе Иоанну XXIII
от 11 апреля 1960 года

монастырь где-нибудь в Латинской Америке, куда для духовных упражнений и общения могли бы приезжать писатели, философы, художники (214).

Четырнадцать месяцев спустя, 11 февраля 1960 года, Мертон получил из Ватикана посылку, в которой кроме бла-

гословения послушникам была фотография Папы Иоанна, подписанная им самим. В тот же день Мертон отослал ответ, сообщая Папе о том, что получил разрешение «очень осмотрительно приступить к скромному проекту» встреч между протестантскими и католическими богословами, психиатрами, писателями и художниками — словом, чему-то вроде того, о чём он писал в предыдущем письме, но только не для Латинской Америки, а для Гёфсимании. «Мы хотим, — писал Мертон, — собирать... самых разных людей, специалистов в своей области, которые интересуются духовной жизнью — неважно, в каком именно её аспекте, — и нуждаются в неформальном общении, в беседах с католическими монахами о вере и культуре» (215).

11 апреля в монастырь приехал венецианский архитектор Лоренцо Барбато, личный друг Папы, и привёз молчаливый ответ — часть литургического облачения Иоанна XXIII, его епитрахиль. Предназначалась она Мертону. Такого не ожидал никто. То был поразительный знак уважения и любви (216).

Мертон отослал с Барбато Папе свою последнюю книгу «Мудрость пустыни» — изречения отцов-пустынников, живших во времена ранней Церкви, чей опыт был особенно ему дорог. К книге он приложил и письмо, в котором сообщал, как продвигается его экуменический проект. «Несколько дней назад я с большим удовольствием выступал в нашем монастыре перед полусотней протестантских семинаристов и пасторов. Все они на удивление хорошо расположены. ...Я обращался к ним... как к братьям». (Сейчас, через тридцать

с лишним лет, трудно представить, как холодны были отношения между протестантами и католиками и как необычны такие собеседования.) Зная об особом интересе Иоанна XXIII к православию, Мертон написал ему и о заочном знакомстве с православным священником из Парижа.

*Мой дорогой Святой отец,
... Мне кажется, что, хотя я и монах созерцательного ордена, мне не следует уходить в полный затвор и терять связи со всем остальным миром. Этот несчастный мир имеет право на моё одиночество...*

Письмо Папе Иоанну XXIII
от 10 ноября 1958 года

Через две недели дом Иаков получил письмо от кардинала Тардини, государственного секретаря, где тот сообщал, что Папа был рад узнать о «встречах с протестантами, которые устраивает о. Людовик в монастыре Девы Марии Гёфсиманской». В 1959 году Папа объявил, что начинает готовить Второй Ватиканский Собор и, по его решению, на нём должны присутствовать представители протестантов и православных. Экуменический диалог, начатый Мертоном в Гёфсимании, пришёлся ко времени как нельзя лучше.

В конце апреля Мертон предложил устроить скит на Масличной горе — на холме за овечьим загоном, меньше чем в миле от монастыря — колокола там ещё слышны. Дом Иаков затею одобрил. 18 мая Мертон уже помечал деревья, которые придётся вырубить, чтобы построить «Духовный центр Масличной горы». В октябре, когда приехал подрядчик, Мертон признавался, что дом будет не центром встреч, а «честно говоря, приютом отшельника» (217).

К концу месяца, когда дом ещё строили, его посвятили Деве Марии Кармильской, покровительнице монахов. Для Мертона Она была «Царицей до скончания века» (218).

2 декабря Мертон впервые растопил камин, а через одиннадцать дней, в 19-ю годовщину со дня первых обетов, поселился в скиту. Правда, дом Иаков разрешал бывать там лишь по несколько часов в день. «Зажёг в сумерках свечи, — радостно писал Мертон в дневнике 26 декабря. — Чувство такое, что путешествие кончилось, скитаниям — конец. Впервые в жизни я дома. Время странствий и поисков — позади».



Оуэн Мертон, отец Томаса



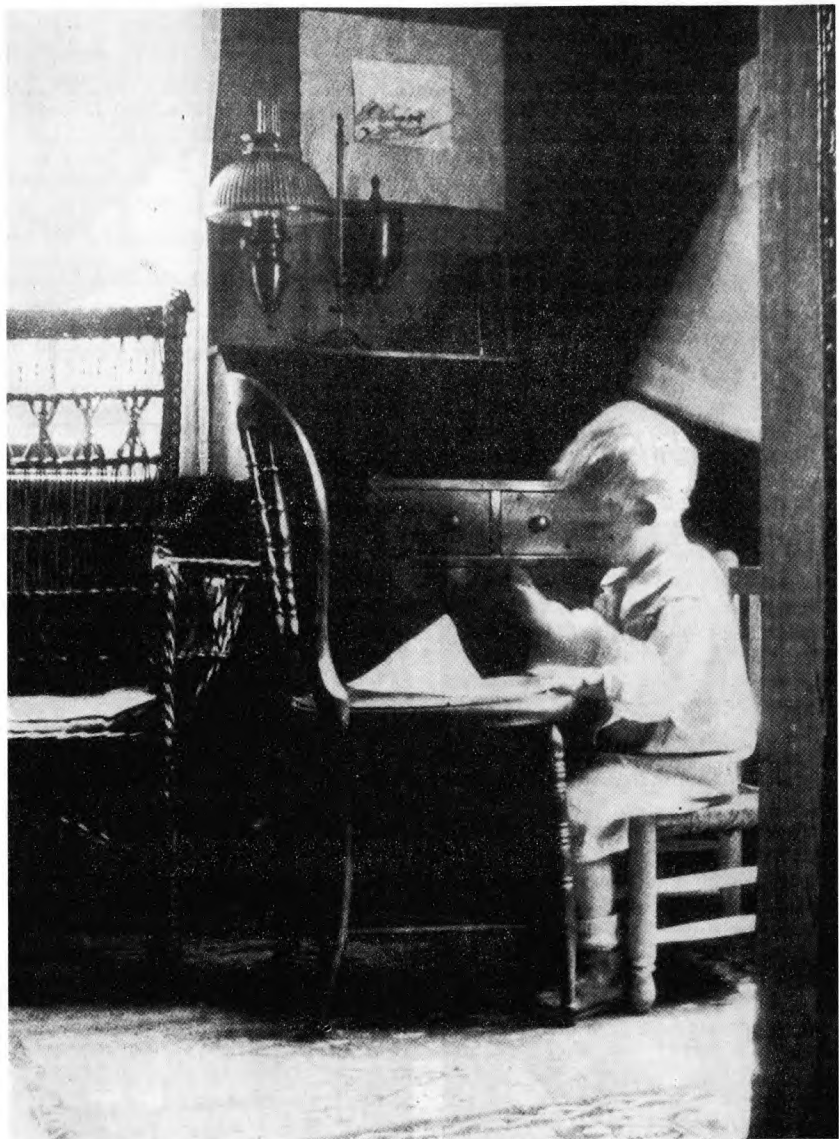
Том в младенчестве



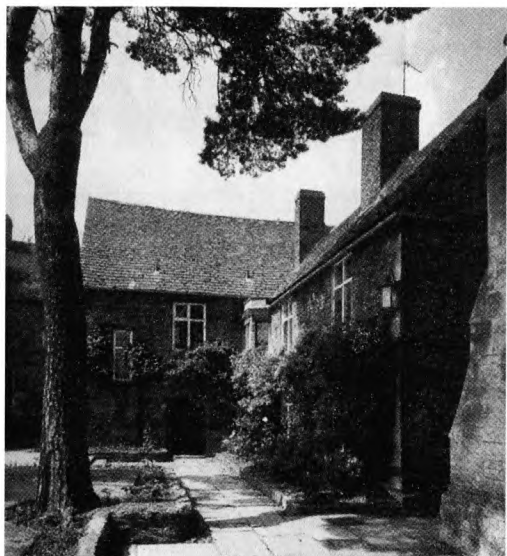
Рут Дженкинс Мертон, мать Томаса



Том с младшим братом Джоном Полом



Четырёхлетний Том. Фото Рут Мертон



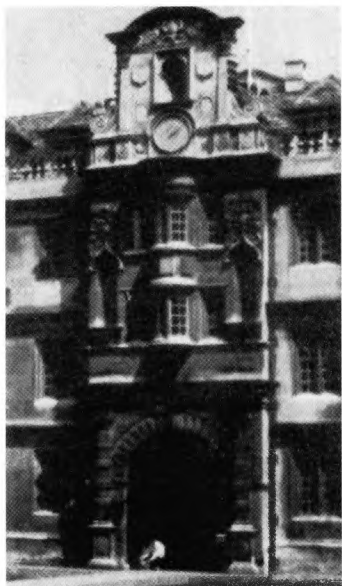
Окем (Англия). Школа, где учился Мертон



Махатма Ганди



Том (третий слева в заднем ряду) с командой регбистов Окема



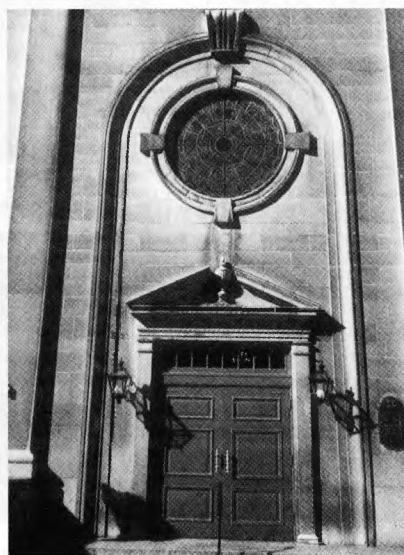
Клэр-колледж в Кембридже



Томас Мертон. Фото из Ежегодника Колумбийского университета. 1939



Марк ван Дорен, поэт, профессор английской литературы Колумбийского университета



Храм Тела Христова в Нью-Йорке, где Мертон крестился



*Храм св. Франциска Ассизского
на 31-й стрит*



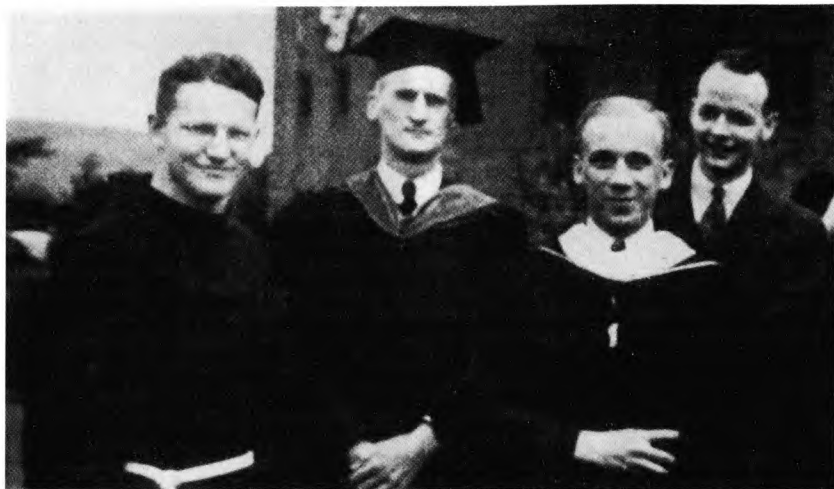
*Дэниэл Уоли, профессор философии
Колумбийского университета*



Роберт Лакс, редактор «Джестера»



*Храм Меднолицкой Мадонны на Кубе,
где Мертон побывал в 1940 г.*



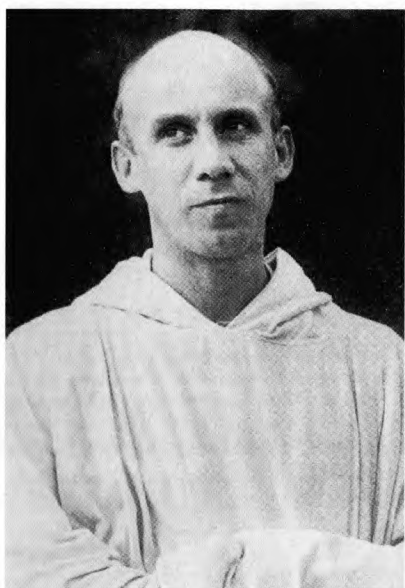
*Томас Мертон — преподаватель колледжа
св. Бонавентуры. 1941*



*Екатерина де Гук Дохерти, основательница
Дома Дружбы в Гарлеме*



Колокольня Гефсимании



Томас Мертон. 1949



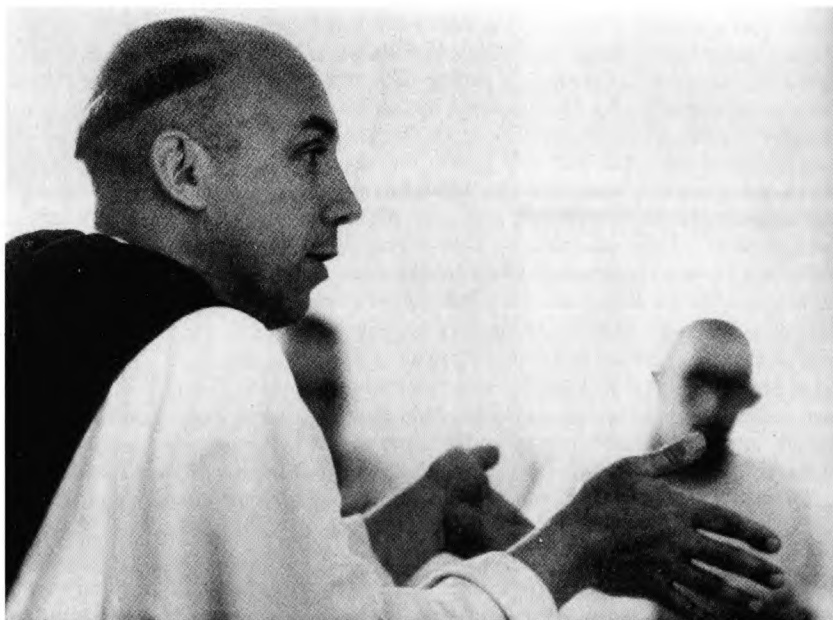
*Брат Людовик приносит
священнические обеты*



Рукоположение Мертона. 26 мая 1949



Вскоре после выхода в свет «Семярусной горы». 1949



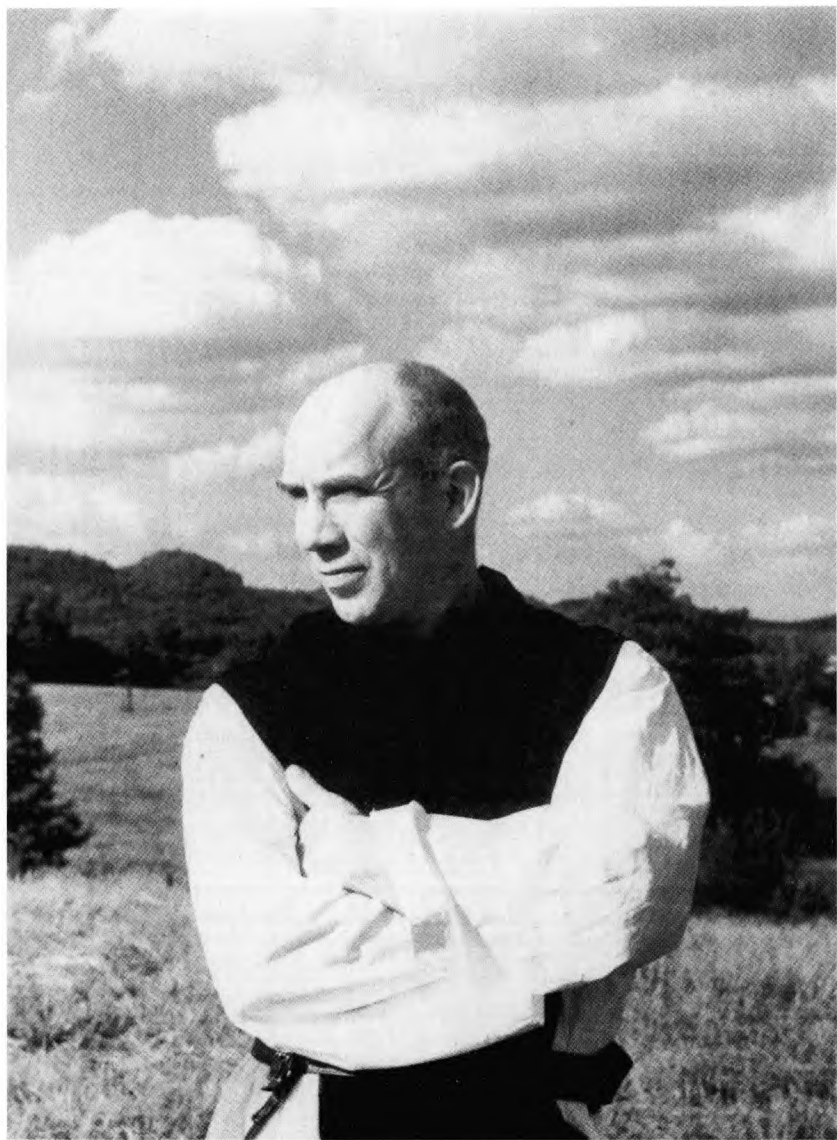
Мертон проводит занятия с новициями



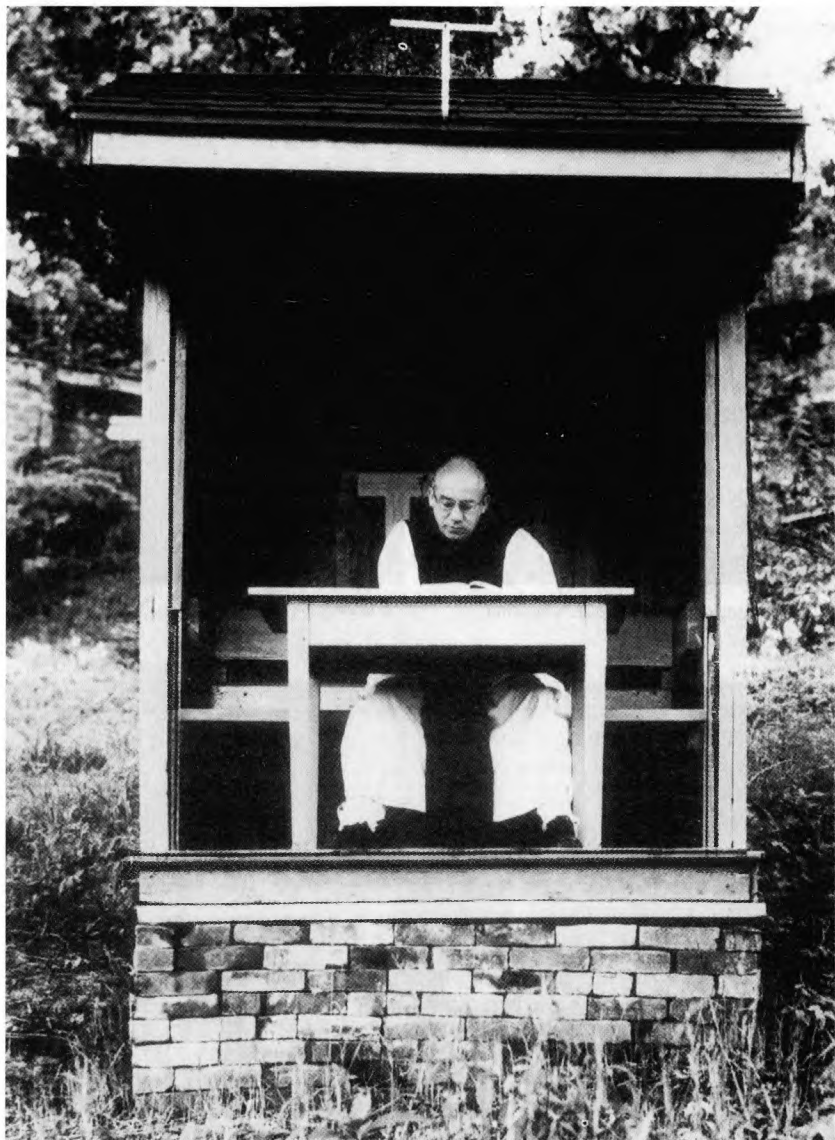
*Дороти Дэй, основательница Движения
рабочих-католиков*



Папа Иоанн XXIII



В Гесимани



За работой



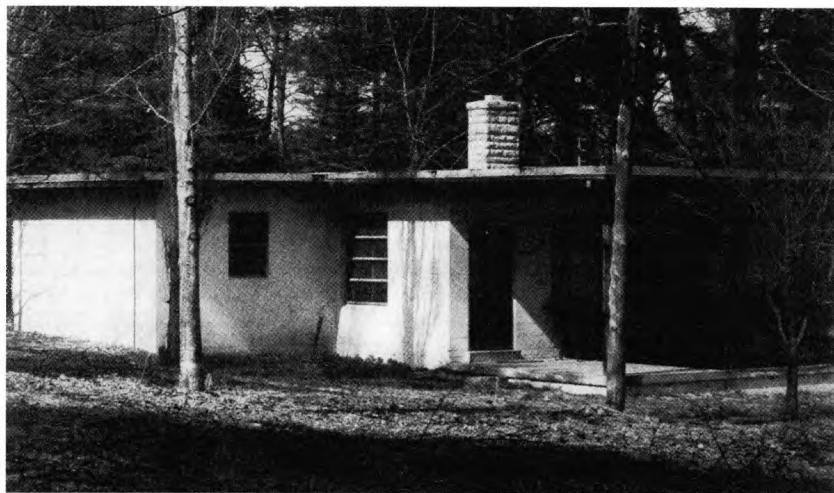
Крест возле скита. Фото Д. Фореста



В скиту



Фото Т. Мертоня



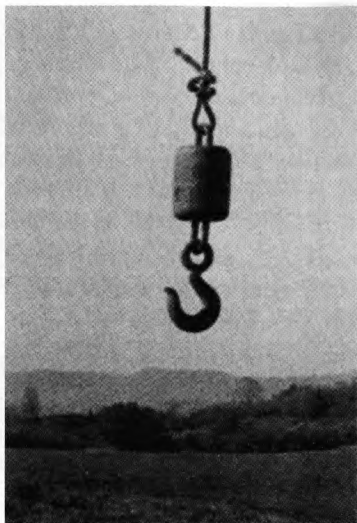
Скит Мертона



Мертон с о. Дзизилем Берриганом, основателем Католического Братства мира



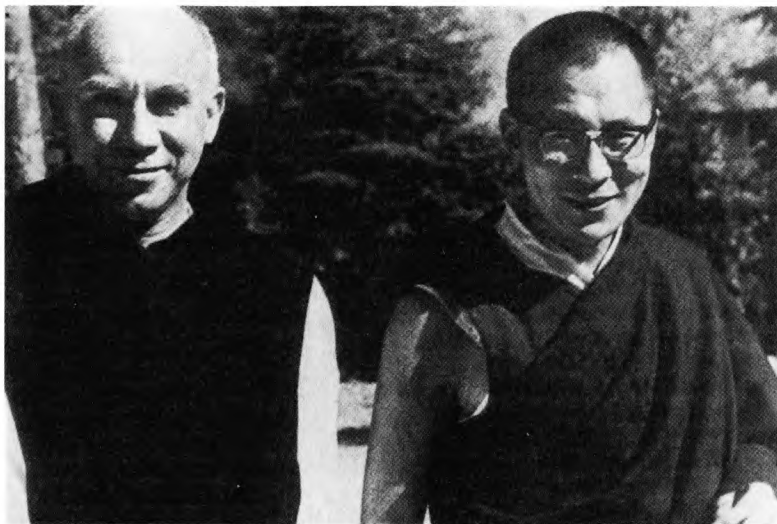
*Мертон-отшельник. Фото Д. Фореста.
1965*



*«Единственная фотография Бога».
Фото Т. Мертон*



На пикнике с семьёй О'Каллаганов и сестрой Терезой Лентфёр



Мертон с Далай-Ламой. 4 ноября 1968



Мертон (в центре) на конференции в Бангкоке в день гибели



*«Я приведу тебя к вершинам Моей радости...»
(Т. Мертон. «Семиярусная гора»)*

Айя София

*... словно Сама благословенная Дева,
сама Премудрость разбудила меня.*

С начала 1961 года у Мертонa наконец-то появился свой дом, хотя жить в нём всегда он ещё не мог. Бывая в скиту, он погружался в мистиков — и с той поры увлёкся английской отшельницей XIV века Юлианией Норичской, которая потеснила в его сердце даже святого Иоанна Креста. Мертон называл её «одним из самых замечательных голосов христианства» (219). Тексты св. Юлиании о «Иисусе, Матери нашей» открыли для него женское начало в Боге, и он стал связывать воедино святую Премудрость и Притчу, виденную им во сне.

К тому времени Мертон уже несколько лет размышлял об «Айя Софии», святой Премудрости Божией. Греческое её имя пришло ему на ум ещё в 1957 году, когда он читал русских мистиков, которые очень любили те стихи из книги Притчей, где говорится о «Премудрости, веселившейся перед лицом Создателя». В дневнике он говорит, что во всей полноте Премудрость открывается в Церкви и в Богородице (220).

В 1958 году Мертон писал Борису Пастернаку, что видел во сне Притчу, еврейскую девушку, чьё пылкое, но чистое объятие тронуло его. Он понял, что встретился с Софией, и был так потрясён, что через несколько дней написал Притче письмо.

*... Я, можно сказать, обручился с
лесной тишиной. Женой моей бу-
дет нежная и тёмная теплота
всего мира.*

«Один день странного человека»

Она во всём, как воздух, приемлющий солнечный свет. В ней всё процветает, всё славит Бога. В ней все радостно узнают Его. В ней все едины с Ним. Она — любовь, которая связывает всё. Она — жизнь в приобщении и благодарении, жизнь хвалы, праздника и славы.

«Айя София»

18 марта, в Луисвилле, в толпе, на углу 4-й и Ореховой. «Нашу вчерашнюю встречу я не забуду никогда. Когда ты коснулась меня, я стал другим. Рядом с тобой — покой и Истина. Только с тобой я обретаю всё, что дарит мне Бог» (222).

В апреле 1959 года, когда Мертон навещал Хаммеров в Лексингтоне, в штате Кентукки, её образ промелькнул перед ним ещё раз. На картине Виктора Хаммера, как и во сне, она была еврейской девушкой. Хаммер сказал, что хотел изобразить Деву Марию, возлагающую венец на голову Христа. В мае Мертон написал ему о том, что картина его поразила, и о том, что «женское начало во Вселенной — неиссякаемый источник творческого воплощения славы [Божией]» (223).

2 июля 1960 года, когда празднуют встречу Марии и Елисаветы, Мертон был в больнице — его направили на рентген. И вот, у него снова был сон как бы о Притче — ему приснилось, что его разбудил «нежный голос сестры. ...И я впервые очнулся от всех мечтаний жизни — словно Сама благословенная Дева, сама Премудрость, разбудила меня» (224). Он знал, что нежный голос, слышанный им во сне, — это голос святой Софии.

В октябре, когда он ездил в Цинциннати, чтобы отобрать в местном музее материалы для послушников и для себя, он увидел там «еврейскую девушку, которая сидела, скинув туфли, на картотеке» (225), — и подумал, что повстречал воплощённую Притчу.

Поэма «Айя София» постепенно обретала ясные очертания.

Он благодарил её, что она полюбила в нём «то, что я вроде бы давно утратил, и того, кого давно уже нет. ...Я люблю твоё имя, его тайну, его загадку и простоту» (221). Через две недели он снова написал ей, заверяя, что никому о ней не говорил до их следующей встречи, которая, по его мнению, случилась накануне,

Начиналась она так:

«Во всём, что мы видим, есть невидимая плодоносность, мягкий свет, незлобивая безмянность, скрытая цельность. Это таинственное Единство, эта Целостность и есть Премудрость, Мать всего сущего, *Natura naturans* (226). Всё источает неиссякаемую сладость, непорочность и тишину, из которой рождаются радость и действие. Из невидимых корней всего сотворённого она тихо и кротко поднимается вверх и приветливо бежит ко мне» (227).

Пробуждение в больнице он описывал и как пробуждение всего человечества, и как пробуждение Адама; ту же, что позвала его, — как Еву, как Марию и как девочку, играющую перед лицом Творца. Она соединяет Творца и творение, Бог открывается не только как Отец, но и как Мать, Божественная природа, милость и нежность Божия, Премудрость, святая София.

Мертон воспел открывшееся ему в Боге измерение женственности. Не удивительно, что первым издавать поэму взялся Виктор Хаммер. Получилась красивейшая книга, выполненная американским унциальным шрифтом ручной работы, на создание которого Хаммера вдохновила средневековая монашеская каллиграфия.

Мистика вполне уживалась в Мертоне с интересом к политике. Он работает над «Подписанным признанием в преступлении против государства», где сознаётся, что уже час «сидит под сосной и ничего не делает», да и не собирается ничего делать. «Каюсь, всё это время я слушал пересмешника. Да, именно пересмешника. ...Ясно, что я не вправе существовать ни мгновения» (228).

Читая книгу Вильяма Ширера «Расцвет и падение Третьего Рейха», Мертон написал «Песнь, которую надо петь у печей крематория» — монотонные, страшные стихи о том, как устраивали Холокост. «Работать лучше» значило здесь «эффективнее убивать», а всякий спа-

Как неприятна нормальность Эйхмана! ... «нормальность» больше нельзя считать признаком «здорового ума». В обществе, растерявшем духовные ценности, понятие «нормальности» бессмысленно.

*«Благочестивая медитация.
Памяти Адольфа Эйхмана»*

савший кому-нибудь жизнь был преступником. «Я всегда повиновался до конца», — говорит офицер, осуждённый за военные преступления, — до этого он самозабвенно, последовательно, скрупулёзно делал своё дело. Олицетворяет он не только Холокост, но и ядерную катастрофу, которую готовят те, кто победил нацистов. «Не думайте, что вы лучше нас, когда врагов и друзей сжигаете ракетами, так и не видя, что натворили» (229). В год, когда Соединённые Штаты субсидировали вторжение в Баяя де Сердос на Кубе, а Советский Союз возвёл берлинскую стену, ядерная катастрофа казалась вполне вероятной.

Тогда же Мертон написал стихи, название которых было точным переводом японского названия бомбы, сброшенной 6 августа 1945 года на Хиросиму: «Бомба-первенец» (230).

В нескольких сжатых фразах он пересказывает, как создавалось ядерное оружие и как его впервые пустили в ход, хотя некоторые его творцы всячески просили не делать этого без предупреждения. Первая бомба упала на мирный город, не имеющий военного значения. «Люди, оказавшиеся ближе к эпицентру взрыва, обратились в ничто. Город разлетелся вдребезги, развалины тут же вспыхнули, 70 000 человек погибли сразу или в ближайшие часы. Умиравшие мучились от страшной боли. Едва ли среди них был хоть один солдат». Мертон удивлялся, что люди, причастные к бомбе, пользовались религиозной лексикой: первое испытание назвали «Троицей», а вылет для ядерной бомбардировки Хиросимы — «Папством».

В пору, когда появлялись лучшие произведения Мертона, его терзали сомнения. «То, что я пишу, всё меньше нравится мне, — говорил он Дороти Дэй. — Что-то удалось, но сколько плохого!

Что до ребёнка, который сейчас родился, президент Трумэн выразил суть дела в двух фразах: «Мы изобрели бомбу, — сказал он, — и мы её использовали».

«Бомба-первенец»

Мне недоставало честности и ясности. Меня мучит мысль о том, что я, как и все, обманут. ... Я всё больше скатываюсь на абсурдные пораженческие позиции какого-то христианского анархизма» (231).

Мертон умел подобрать слова, которые сближали его с собеседником. Дороти Дэй тоже слыла своего рода анархисткой, одной из тех, кто послушен не правителям, не государству и не системе, а — только Евангелию. Через несколько недель Мертон писал ей: «Честно говоря, я не могу в такое время писать о созерцании, хотя само по себе это и не лишено смысла. Я не могу как страус прятать голову в мелкие, вторичные монашеские штудии. Надо обратиться к тому, от чего зависят жизнь и смерть, а этого все боятся» (232).

В сентябре 1961 года Мертон решил опубликовать свои мысли о войне. Он послал Дороти Дэй своё эссе «Корень войны — страх». Оно уже публиковалось в «Семенах созерцания», а потом — с правками и добавлениями — в «Новых семенах созерцания». Но для «Кэтолик Уоркер» он кое-что добавил:

«Нынешний кризис мы сами и создали. Для войны нет разумных оснований, но весь мир ныряет головой вниз в страшную катастрофу, рассчитывая тем самым избежать войны. ...Все помешались на войне, заболели умом и духом, болезнь расплзается незаметно и жутко. Болеют в любой стране, но у Америки болезнь приняла особенно тяжёлую форму. Повсюду строят бомбоубежища, где, при ядерном нападении, можно укрыться разве что от огня и от взрыва, а медленная смерть неминуема. Люди готовы отсиживаться там с автоматом в руке на случай, если пожалуют соседи. И это — страна, которая считает себя поборницей религиозной истины, свободы и других духовных ценностей. Поистине, мы вступили в «постхристианскую эру», помышляя лишь о мести. Выживем ли мы или погибнем, в будущее смотреть страшно.

Как же быть христианину? Сложить руки, ожидая худшего, готовиться к переселению в рай, поскольку такова воля Божья? Открыть Апокалипсис и бежать на улицу, чтобы объяснить, что творится? Может быть, как это ни страшно, стать твердолобым и “практичным”, а там — присоединиться к безумцам, которые прикидывают, что “упреждающим ударом” славный христианский Запад навсегда разделается с безбожным комму-

низмом и вступит в тысячелетнее царство? Я не пророк и не провидец, но, по-моему, это — одна из самых бесовских иллюзий, грубое, даже не тонкое искушение для христиан, которые живут в богатстве и неге и очень этим довольны.

Что же нам делать? Христианин в этой страшной ситуации просто обязан всей крепостью и разумением, всей верой, всей надеждой на Христа, всей любовью к Богу и человеку исполнить то, что на нас, живущих в этом мире, возложил Господь. Он хочет, чтобы мы добились полного отказа от войны. Разве не ясно, что до тех пор, пока мир этого не сделает, сумасшествию и безрассудству не будет конца и катастрофа в любой момент может настичь любого, где бы он ни был, ведь современное оружие не знает пощады. Если мы не примемся за дело сейчас же, то каждый из нас — сам по себе и в политических и религиозных сообществах — будет потакать разрушительным силам бездействием и покорностью. Проблема столь сложна и огромна, что и сама Церковь не может найти ясных, убедительных решений. И всё же именно она должна вести к тому, чтобы международные или гражданские неурядицы решались без насилия. Христиане должны действовать всеми возможными способами, мобилизуя все свои силы, чтобы обуздать войну.

Прежде всего, надо многому научиться. Надо проповедовать мир, объяснять выгоды ненасилия, а не смеяться над всем этим, как над отдушиной для чудаков, которые просто хотят покрасоваться. В войне против войны действенной всего молитва и жертва. Чтобы прибегать к ним, как ко всякому оружию, нужно ясно видеть противника — не смутно мечтать о мире и безопасности, но отрицать насилие и войну. Из этого следует, что мы должны пожертвовать инстинктом насилия, агрессивностью в отношениях с людьми. Мы можем и проиграть, но, каков бы ни был исход, долг наш — очевиден» (233).

Мертон понимал, что поклонников «Семиарусной горы» озадачит, если не рассердит такое отношение к тому, что делает Амери-

ка. В январе 1961 года президентом стал Джон Ф. Кеннеди; страну возглавил католик, которого горячо поддерживали собратья по вере, да и вообще американские католики, включая иерархию, обычно поддерживали политику Соединённых Штатов. Вскоре после того, как опубликовали статью, 23 октября Мертон писал в дневнике:

«В моей духовной жизни, видимо, наступает переломный момент. Вероятно, я приближаюсь к зрелости, уходят сомнения, забываются страхи. Я готов ввязаться в бой и знаю, за что биться. Да защитит меня Бог. Журнал разослал сообщение о моей статье, реакция не замедлит. ...У нас очень мало католических священников, которые прямо и твёрдо отрицают войну и насилие в разрешении международных конфликтов, — тех, кто не просто против бомб, ядерных испытаний, подводных лодок «Поларис», но и вообще против насилия. Мне предстоит объясняться на этот счёт. Не просто пассивность — ненасилие! Как объяснить это, как отстоять, не затягивая, когда наши орденские цензоры и короткую статью задерживают на два месяца?»

Вынужденное молчание

Кому же как не монаху проникать во внутреннее, духовное измерение вещей? Если уж и он ничего не слышит и ничего не говорит, то обновляется ли Церковь, не становится ли бесплодной?

За статьёй «Корень войны — страх» вскоре последовали другие. Публиковал их уже не один «Кэтолик Уоркер», но и другие издания, в том числе — журнал экуменической пацифистской организации «Братство во имя примирения». В ноябре 1961 года Мертон вступил в это братство и подписался под его уставом, обязывавшим не воевать и никоим образом не содействовать никакому насилию.

Папе Иоанну XXIII Мертон писал о том, как тревожит его, что многие американцы, по невежеству и легковерию, связывают сопротивление коммунизму с готовностью уничтожить Советский Союз. Католики особенно непримиримы, они считают свою жёсткость верностью Церкви. Экономика всё больше зависит от подготовки к войне, и разоружение грозит ей спадом. «В Соединённых Штатах появилось очень скромное движение, объединяющее католиков и протестантов [«Братство во имя примирения»], — рассказывал Мертон Папе. — Я пытаюсь помогать им отсюда, из монастыря, молитвой, статьями или беседами с теми, кто приезжает к нам» (234).

Статьи, написанные в конце 1961 года, не понравились генералу ордена дом Габриэлю Сортэ, да и цензоры считали, что монаху не стоит писать на такие спорные темы. Мертон писал мне тогда (в редакцию «Кэтолик Уоркер»), что ему приходится иметь дело с «намеренным запретом. Цензоры не ищут ошибок в тексте, а просто

запрещают “неудачное”, то есть всё, что не пришлось им по вкусу или задело за живое» (235).

Раздражались и читатели. В редакторской колонке «Вашингтон Кэтолик Стэндарт» в марте 1962 года его назвали «конченным пацифистом», обвинив в пренебрежении к «авторитетному мнению Церкви и неопозволительных нападках на правительство, стремящееся к разоружению».

Такая критика звучала со всех сторон, и Мертон вынужден был убрать своё имя как редактора «Прорыва к миру» — сборника эссе о гонке вооружений, задуманного и составленного им. Впрочем, оставались надежды на то, что удастся довести этот замысел до конца (236).

Пытаясь обойти лабиринты цензуры и поделиться мыслями о том, какие духовные и религиозные реалии стоят за общественными и политическими проблемами времени, Мертон составил из своих недавних писем сборник «Письма времён холодной войны». Сборник размножали на ротаторе и распространяли многие из тех, с кем он переписывался. Так он стал «самиздатским» автором и теперь ещё лучше понимал опальных русских писателей, таких, как Пастернак. Правда, ему было легче, чем им, аббат хоть как-то его поддерживал, решив, что цензуре подлежат только те материалы, которые рано или поздно попадут к массовому читателю. Против того, чтобы сборник распространялся по знакомым, дом Иаков не возражал.

Многих трудов стоила Мертону книга «Мир в постхристианскую эру». Он надеялся, что она будет достаточно умеренной, чтобы цензоры и генерал её одобрили. Однако, едва он её кончил, пришло письмо, запрещающее такие публикации.

«Топор занесён, — писал он мне 29 апреля 1962 года. — Конфликт с высшим руководством ордена назревал давно, и вот — на-

Мы противостоим самой возможности ядерной войны больше, чем обычно бывает, ибо мы, христиане, пусть и смутно, осознаём, что должны сделать выбор и что будущее христианства на земле может зависеть от нравственности нашего выбора.

«Томас Мертон о мире»

чался. Мне приказано больше не писать о мире. ...В сущности, меня заставляют молчать и не касаться войны и мира».

Это решение, считал Мертон, свидетельствует о «полном непонимании того, как серьёзен нынешний кризис в духовном отношении, о вопиющем нечувствии к христианским и церковным ценностям и смыслу монашества. Они полагают, будто бы я “искажаю монашескую миссию”. Нет, Вы только подумайте: монах, которого так глубоко тревожит проблема ядерной войны, что он протестует против гонки вооружений, позорит монашество! Да Господи, это спасло бы последнюю честь институции, которую многие считают живым трупом! ...Самое нелепое в этой истории, что начальство роет себе могилу, чтобы воздвигнуть на ней пышный памятник».

Мертон и генерал спорили потому, что по-разному смотрели на суть и миссию Церкви. Мертон писал мне: «Церковь жива лишь постольку, поскольку обновляется духовно. Обновление это не знает разрывов и кроется в самой её глубине. Конечно, оно должно как-то выражаться в истории, поэтому исторические кризисы нужно истолковывать духовно. Нужно видеть сквозь них, как растёт человек и как истина распространяется среди людей. Другими словами, нужно различать, как устанавливается “Царство Божие”. Кому же как не монаху проникать во внутреннее, духовное измерение вещей? Если уж и он ничего не слышит и ничего не говорит, то обновляется ли Церковь, не становится ли бесплодной?»

Мои статьи и книги о мире внезапно запретили. Велено не касаться этой темы. Она опасна, разрушительна, гибельна, оскорбительна, противна благочестивому уху, смущает добрых католиков, которым вполне приятна мысль стереть Россию с лица земли. Зачем баламутить людей?

Письмо к Дэниэлю Берригану
от 7 декабря 1961 года

Те, кто понуждает его молчать, пылко продолжал он, считают, что монах должен не подмечать новое и не вслушиваться в него, но «подтверждать... то, что надумали для него другие. Он — не в авангарде, а в обозе и обречён соглашаться со всем, что делают церковные власти. ...Ему нечего делать, кроме разве того, чтобы молиться, о чём

велено молиться, то есть — о нуждах церковной бюрократии. ... Ни под каким видом, ни при каких обстоятельствах ему нельзя говорить и думать самому. Он не должен видеть того, что для него не отобрано со всей тщательностью; не должен слышать того, что не угодно начальству. Мы знаем, что сказал Христос о таком видении и слышании».

Он спрашивал, что лучше — «широко это всё обнародовать, демонстративно уйти или послать их куда следует?»). Разве не справедливо восстать против таких несправедливых приказаний? В конце концов, говорил он, послушание — это любовь. Но поймут ли, что непослушание или публичное несогласие свидетельствует о мире и истине Церкви, или это покажется измышлением, причудой? Не скажут ли братья-монахи, что теперь можно отмахнуться от мнения меньшинства, а «внешние» — что Церковь ещё раз доказала свою неприязнь к частной совести? Кто поймёт, кто духовно изменится?

«В моём случае, — заключал он, — непослушание или публичный протест обернулись бы против меня самого и ничего не дали. Их расценили бы как свидетельство против борьбы за мир и утвердились бы в своих предрассудках и самодовольстве, в своей неоспоримой правоте. Тогда не осталось бы надежды, что кто-то увидит всё по-новому. Да и потом, я не ищу причин, чтобы хлопнуть дверью. Я могу это выдержать.

Но на своём я стоять буду. Я свободно выбрал эту долю и сам здесь остался, когда можно было уйти. Если я мешаю, смущаю — что ж? Стремлюсь я не к этому. Я просто говорю и делаю то, что велит мне совесть, а своего не ищу. Значит, я не буду выходить за границы, которые определили старшие по ордену; и не потому, что согла-

Во имя безжизненных и блёклых писем на пергаменте нам говорят, что жизнь наша сводится к тихой и благочестивой медитации над Писанием и тихому бегству от мира. Но если ты читаешь пророков, открыв глаза и слух, ты не удержишься и станешь вопить о Божией воле, Божией истине и человеческой справедливости.

Письмо к Дэниэлю Берригану
от 27 ноября 1962 года

шусь с теми предложениями, которыми они себя оправдывают, но из любви к Богу, Который попускает всему этому быть, хотя Его замысел и непостижим для меня. Я знаю, что Он в своё время займётся теми, кто несправедливо и неумно ограничивает меня сегодня. Это — Его дело, не моё. В этом смысле послушание и любовь не противоречат друг другу. В сущности, только так можно преодолеть и границы, и произвол опрометчивых приказаний» (237).

Одним из оснований к таким запретам, писал он двумя неделями позже, было то, что оппоненты причислили «Кэтолик Уоркер» к «прокоммунистическим изданиям» (238).

В середине мая Мертон получил письмо от генерала. Дом Габриэль подчёркивал, что одни ордена посвящают себя молитве, а другие — учительству. «Я не прошу Вас оставаться безучастным к судьбам мира, — убеждал он Мертона, — но полагаю, что Ваши молитвы и жизнь в Боге более действенны, чем Ваши писания. Потому я и не думаю, что причиняю ущерб тому делу, которое Вы отстаиваете, когда прошу Вас не публиковать книгу, которую Вы только что закончили, и впредь не писать об атомной войне, военных приготовлениях и т.п.» (239).

Мертон подчинился, но не полностью. Книга не дошла до издателя, но и не канула в безвестность — снова выручил «самиздат». С разрешения аббата, несколько сот экземпляров были отпечатаны на ротаторе и разосланы друзьям Мертона (240). Ни у одной из его книг не было такого узкого круга читателей, но это восполнило внимание, с каким её читали те, до кого она всё-таки дошла (241). Запрет больше не тяготил его. Он радовался тому, что сумел обойти цензуру, и твёрдо верил «в силу мятежных статей, отпечатанных где-то трафаретным способом» (242).

«Мир в постхристианскую эру» казался ему не вполне удачным, поскольку он писал его с постоянной оглядкой. «Когда хочешь сказать что-то важное и понимаешь, что всё попадёт к цензорам, — писал он мне в июле того же года, — получается Бог знает что. Я изворачивался, как мог, смягчая и взвешивая каждую фразу, избегал всех крайностей, остался предельно объективным... [но старал-

ся] говорить так, как велела мне совесть» (243).

Полагаясь в основном на «самиздат» и малые журналы, Мертон время от времени обращался к широкой аудитории, публикуя свои статьи под псевдонимами. Одну из статей в «Кэтолик Уоркер» он подписал «Бenedиктинский монах», что довольно прозрачно. Те, кто знал его юмор в духе братьев Маркс, поняли, что только он мог подписаться «Марко Дж. Фризби».

Цензура огорчала Мертона, но Иоанн XXIII и церковное обновление, которое тот вдохновлял, вселяли в него надежды. В январе 1959 года Папа объявил, что после почти столетнего перерыва созовёт Ватиканский Собор. В октябре 1962 года Собор начался. На первых его заседаниях речь главным образом шла о литургической реформе, но собирались обсудить роль Церкви в современном мире. В декабре 1962 года Мертон переслал все свои работы о войне и мире Хильдегарде и Жану Гросс-Мэйрам, секретарям Международного Братства во имя примирения. Дом Габриэль разрешил этой супружеской чете разослать мертоновские статьи о мире богословам и епископам, готовившим документы по социальной миссии Церкви.

В апреле 1963 года, всего за два месяца до смерти, Папа Иоанн издал энциклику «*Pacem in Terris* (Мир на земле)». Ни одна из папских энциклик не обсуждалась в наше время так широко. Папа Иоанн подчёркивал, что самое главное право человека — это право на жизнь, и пламенно возражал против убийственной гонки вооружений. Он говорил, что больше нельзя восстанавливать войною чьи-то поруганные права, и призывал взять под защиту закона тех, кто по велению совести отказывается от воинской повинности. Папа никак не благословлял слепое послушание

Как жаль, что в монашеском послушании столько формального и пустого. Тут нужно не сокращаться, а думать о том, как это всё обновить, как заново открыть смысл полного послушания Богу, а не только уставу и старшим, требующим послушания. А там уж — мечтай как хочешь.

«Как вести беседу»

властям, полагая, что каждый лично ответствен за охрану жизни и уровень нравственности. «Если гражданская власть позволяет или узаконивает то, что противно воле Божией, то ни принятый ею закон, ни сами её полномочия не могут стать выше совести, ибо надлежит больше слушаться Бога, нежели человек» (ст. 51).

Через несколько дней после появления папской энциклики Мертон писал генералу: «...хорошо, что Папе Иоанну не нужно отправлять это нашим цензорам. Могу я теперь продолжить?» (244). В частности, он просил, чтобы ему разрешили вернуться к «Миру в постхристианскую эру» и подготовить его к печати. Но дом Габриэль подтвердил, что запрет остаётся в силе. В дневнике Мертона есть такая запись: «Видимо, [дом Габриэль] в глубине души уверен, что Франция [он был её гражданином] должна владеть ядерной бомбой и, если надо, её применить. Он говорит, что энциклика [«Pacem in Terris»] не запрещает странам иметь ядерное оружие для самозащиты» (245).

Летом 1963 года Мертон всё ещё не имел права открыто публиковать свои работы. Однако то, что ему удалось издать до появления «Pacem in Terris», изменившей социальную доктрину Католической Церкви, оценили по достоинству. «Пакс» — группа католиков, связанная с «Католик Уоркер», — наградила его медалью. В ответ он писал, что «монастырь — не домик для улитки, а вера — не духовное убежище, где можно лечь на дно и укрыться от преступлений нашего апокалиптического века». Монах, как и всякий человек, должен выбрать жизнь или гибель; ведь на самом деле это — выбор за Бога или против Бога. «Я пытался говорить об этом, насколько позволяли обстоятельства; а позволяли они гораздо меньше, чем мне хотелось бы. Убеждён я в одном: всякий разумный человек просто обязан об этом говорить. Здесь не нужно ни героизма, ни особых прозрений, ни высокой нравственности, ни большого ума. ...Всё это ...яснее ясного. ...Если я так сказал до “Pacem in Terris”, никакой оригинальности в этом нет». То же самое говорили «Папы и до Иоанна, богословы, отцы Церкви, само Еван-

гелие». Тех, кто повторяет древние истины, незачем награждать медалями (246).

В ноябре 1963 года скончался дом Габриэль. Новый генерал дом Игнатий Жиле оказался более благосклонным к тому, что писал Мертон о мире.

Пастырь миротворцев

Наше дело — любить других и не спрашивать, достойны ли они. Это не наше дело. Мы должны любить, и только так мы и наши ближние станем достойными любви.

Хотя Мертон и примкнул к пацифистам, он никогда не осуждал тех, кто прибегает к насилию для самозащиты. Некоторые войны, полагал он, можно считать справедливыми — они случались раньше, когда мирным жителям не грозила массовая гибель от смертоносного оружия; случаются и теперь, когда народы воюют с угнетателями. И всё же, писал он Дороти Дэй в 1962 году, оправдать ту или иную войну можно «лишь умозрительно. ...На самом деле все они... пропитаны злом, ложью, несправедливостью, грехом, и нужно очень постараться, чтобы раскопать хоть крупницу истины в тех “причинах”, которые гонят людей воевать» (247).

Мертон не считал, что христиане должны отказываться от воинской повинности. Однако он был уверен, что тот, кто хочет стать учеником Христа в высшем смысле, должен отказаться от всякого насилия: «Христианам нет нужды воевать. Лучше, чтобы они не воевали, — подражая своему Господу и Наставнику, они

Не попадайте в зависимость от результата... [он] не в моей и не в Вашей власти. Великое случается вдруг, хотя иногда — не без нашего участия. ...По-настоящему надеяться можно не на себя, а только на Бога, Который, неведомо как, обращает во благо то, что мы делаем. Творя Его волю, мы помогаем Ему. Знать же наперёд, что у Него получится, совсем не обязательно.

Письмо к Джиму Форесту
от 21 февраля 1966 года

возвещают, что приблизилось Царство Божие, и свидетельствуют, что *Kyrios Pantocrator*¹. присутствует даже в мирской суете и мирских раздорах» (248). В учении о справедливых войнах он ценил активное противоление злу. Именно это влекло его к Ганди, Дороти Дэй и сообществам, ведущим активную, но ненасильственную борьбу за социальную справедливость, таким, как «Кэтолик Уоркер» или Братство во имя примирения.

Покидать монастырь он не мог, но писал много писем, встречался иногда с теми, кто возглавлял движение. Пожалуй, Мертон — пастырь миротворцев влиял на события больше, чем Мертон-писатель. Беседовал он свободно, зная, что его слова не будут разбирать цензоры. Он не мог протестовать вместе с теми, кого поддерживал, но хорошо всё представлял, поскольку помнил, как что-то похожее происходило при нём в Колумбийском университете. «Мне кажется, что я уцелел, когда 30-е потерпели крушение, — писал он в начале 1963 года, — и мало что сохранилось от той жизни, когда нынешнего мира ещё не было» (249).

Протесту 30-х годов, да и 60-х, не хватало сострадания. Протестующие всё больше злились не только на тех, кого считали виновными в несправедливости и насилии, но даже на тех, кто старался сохранить всё как есть. А без сострадания, говорил Мертон, нас побеждает гнев, и мы уже не можем изменить кого бы то ни было.

«Мы должны терпеливо сочувствовать человеческим страхам и даже иррациональным маниям тех, кто ненавидит и проклинает нас. ... [В конце концов они] обычные люди, они не хотят войны, им самим плохо, они в самом деле хотят построить новый, достойный мир без войн и голода» (250).

Мертон говорил, что большинство людей агитация раздражает и отпугивает, даже если она направлена против милитаризма, ядерного оружия, социальной несправедливости, да и вообще чего бы то ни было, что объективно им грозит. «[Люди] боятся не столько бомб... сколько... студентов с плакатами» (251).

¹ Господь Вседержитель (греч.).

Он повторял, что там, где нет любви, особенно к оппонентам и врагам, не будет ни личной, ни общественной перемены.

В 1961 году Мертон писал Дороти Дэй:

«Личность раскрывается не в уме, не в принципах, а только в любви. Только любя другого, любя врага, мы получим от Бога ключ и поймём, кто он и кто — мы. Без этого мы никогда не узнаем, что нам делать, как поступать. Когда мы выключаем человека, не видим в нём личности, другого “я”, мы начинаем жить по безличному “закону” и по абстрактной “природе”. Иными словами, мы отстраняемся от реального человека, отрекаемся от подлинного общения, нам интересны только мы сами, наши права, наши притязания и требования. Мы оправдываем зло, которое причиняем брату, ведь он уже не брат, а противник, подсудимый. Восстановить общение, разглядеть наше единство, уважать права другого и его целостность, понять, что он достоин любви, можно только тогда, когда поймёшь, что и мы — под судом, и мы нуждаемся в том, чтобы нас спасли неизреченные дары благодати и милости. Чем унижать его, стараясь пройти по нему, как по ступеньке, мы поможем ему подняться — и поможем подняться себе. Когда мы протягиваем руку тонущему врагу, Бог помогает нам обоим, ведь именно Он первый протянул врагу ру-

Мы живём во время, где ничему нет места, то есть в конце времён. ... Непрошенный Христос пришёл в этот мир, в этот постоянный двор для умалишённых, где для Него никакого места не было. Он здесь чужой, Он здесь и неуместен, но оставаться здесь должен, а потому Он всегда с теми, для кого нет места.

«Новые семена созерцания»

Вы не найдёте ничего нового в созерцательном монашестве, только ещё раз убедитесь, что если отважитесь войти внутрь молчания и погрузиться в одиночество своего сердца... то обретёте истинный свет и уразумеете то, что невыразимо в словах, перед чем отступает ум, ибо оно — слишком близко, чтобы его объяснить.

«Монашеский путь»

ку. Это Он “спасает Себя” во враге; это Он, действуя через нас, возвращает Себе потерянную монету, на которой отчеканен Его образ» (252).

Там, где нет жалости и любви, под видом ненасилия скрываются глубокая вражда, презрение, желание победить и унижить противника. В одном из самых проникновенных писем Мертон писал:

«Одна из проблем ненасилия — в том, что к нему неизбежно и незаметно примешиваются агрессивность и раздражение. Я думаю, это особенно верно тогда, когда... не хватает духовной зрелости. Вопрос чрезвычайно тонкий, и всё же мы должны учитывать, что раздражённое ненасилие только усиливает противление и утверждает людей в их праведной слепоте. Иногда оно даже толкает в другую сторону, подальше от нас, подальше от примирения. Возможно, таков Божий замысел, как с пророками — противоположности надо чётко разграничить. ... [Но мы должны] всегда действовать так, чтобы у людей открывались глаза. Если они слепы, мы должны хорошенько подумать, не мы ли их ослепили.

Ведь существует одна опасность — в тесных сообществах, вроде семьи или монашеской общины, борцы за правду выставляют своих гонителей страшно и зримо неправыми. Загнанные в угол гонители с отчаяния ищут убежища в неправде и насилии. ... Спекулируя своей чувствительностью, мы играем [на вине наших оппонентов]. Нет более утончённой пытки. Это одна из труднейших проблем нашего времени... — вина повсюду, а выхода ей нет, разве что взорвать и разметать её в расовой или политической ненависти, в военном безумии. При таком положении дел мы, праведники, — опасные люди. ... Нам надо помнить о том, как остра истина, когда её пользуются, как оружием. Поскольку она — самое беспощадное оружие, с ней надо быть особенно осторожными и убивать одну только ложь. “Пользоваться” истиной нужно умеючи, всегда помня, что мы — её оружие, а не она — наше» (253).

Мертон видел, что борьба за мир часто слишком тесно смыкалась с той или иной политической группой или идеологией. В идеале она должна помогать людям обрести свободу независимо от того, насколько они связаны с насилием. В конце 1962 года он писал:

«Мне представляется, что корень проблемы не в политике, а вне её, в человеке. Самое главное сейчас, продираясь сквозь политические интриги и разделения, изобличать их фальшь и свидетельствовать об ином измерении, совершенно противоположном политическим фикциям, поистине реальном, то есть — об измерении человеческом, которое политика пытается поглотить... Предстоит долгий путь... очищения, очеловечивания и, в каком-то смысле, просветления политики. Нужно когда-то делать первые шаги» (254).

Миротворчество, говорил Мертон, коренится в духовной жизни.

«Мы должны молиться за полную и глубокую перемену во всём мире. Тому, что называется христианским покаянием, не хватает глубины, коль скоро оно не видит проблем и опасностей нашего времени. Власяница здесь не поможет. Нет ничего дурного в умерщвлении плоти, но насколько важнее перемена сердца, совершенно иной взгляд на мир!

...Главное — перемениться внутренне. ... [Всякое миротворческое действие] нужно воспринимать... как духовное усилие, а не как политическое давление. Мы непременно должны понять, как нужна чистота души, иначе говоря — стяжание Духа Святого и Его власть над нами. Это важнее всего» (255).

Приезд Дэниэля Берригана вдохновил меня. Пламенный человек, настоящий иезуит — таких, наверное, немного. ...Очень живой, духовный, преданный истине. По-моему, он много сделает для Церкви в Америке, как и его брат Фил, единственный пока священник, который участвовал в Марше свободы. Им придётся нелегко, за каждый шаг предстоит платить кровью.

«Дорога к радости»

По мнению Мертонa, мы тем полнее вовлекаемся в события, чем меньше привязаны к миру. Свободу от привязанностей обычно путают с безразличием к результату, тогда как только в этой свободе и можно надеяться на то, что ни один благой поступок не совершается напрасно, как бы ни обескураживали первые плоды.

В одном из самых длинных писем на эту тему Мертон советовал:

«Не попадайте в зависимость от результата. Если Вы делаете... апостольское дело, вполне может статься, что плоды покажутся Вам скудными, а то и совсем не теми. Привыкнув к тому, что не в них — суть, Вы начнёте больше внимания уделять ценности и правде самого служения, Вас будут всё больше волновать не идеи, а конкретные люди. Путь будет всё хуже, зато реальнее. В конце концов... спасение — только в реальности личных отношений...»

Легко загореться идеей или лозунгом, отдаться во власть мифа. Потом остаёшься с пустыми руками и видишь, что во всём этом нет никакого смысла. Тут-то и хочется воплями и заклинаниями вернуть утерянное. ... Добиться чего-то великого — не в моей и не в Вашей власти. Великое случается вдруг, хотя иногда — не без нашего участия. Мы можем быть довольны результатом, но полагаться на это не стоит. ... Не это важно. ... Главное — жить, а не служить мифу, мы же всё лучшее превращаем в миф. Если Вы освободитесь от идей и захотите только послужить Христовой истине, Вы сделаете больше и неизбежные разочарования не раздавят Вас. ... По-настоящему надеяться можно не на себя, а только на Бога, Который, неведомо как обращает во благо то, что мы делаем. Творя Его волю, мы помогаем Ему. Знать же наперёд, что у Него получится, совсем не обязательно» (256).

Монах под дождём

Храни, как можешь, тепло, люби Бога и молись.

Пока Мертон старался понять меру своей ответственности за мир, который неудержимо стремился к самоуничтожению, давняя битва внутри него отнюдь не кончилась — он стремился вглубь, к своему подлинному «я».

Он часто болел. В конце 1963 года боли в левой руке и шее так обострились, что ему пришлось лечь в луйсвилльскую больницу св. Иосифа, на вытяжение. Врачи обнаружили у него и другие недуги, прописали много таблеток и посадили на диету.

Мир был поражён куда худшим недугом. Америку просто наводнили люди, дышащие убийством, её захлёстывал расизм, разгоралась «холодная война». Когда в бирмингемской церкви для негров взорвалась бомба и погибло четверо детей, Мертон ещё сильнее почувствовал, что причастен к жертвам насилия. Фото одной из

Что за чудо — сидеть ночью в полном одиночестве в лесу, под заботливым присмотром дивной, невнятной, по-детски невинной речи, самой утешительной речи на свете, беседы дождя на холмах и ручья в лощинах! Никто не начинал всего этого, и никто не помешает — дождь будет говорить, сколько ему угодно, а я буду слушать.

«Вылазки в неизречённое»

погибших девочек, одиннадцатилетней Кэрол Дениз Макнир, он вклеил в дневник. В лесу стреляли, был охотничий сезон. Каждый день высоко над головой пролетали бомбардировщики Б-52 с ядерным оружием на борту, а из Форт-Нокс доносился грохот артиллерийской канонады. Стычки во Вьетнаме перерастали в настоящую войну. В

ноябре 1963 в Далласе застрелили президента Кеннеди; летом следующего года по Гарлему прокатились бунты, а в Миссисипи погибло четыре общественных деятеля, боровшихся за права человека.

Сумятица 60-х, царившая и в Церкви, и в обществе, не прошла бесследно для Гефсимании: несколько зрелых монахов покинули её, среди них — духовник Мертона, отец Иоанн Креста. Мертон страдал, как ребёнок в потёмках, особенно когда оставался один в своём скиту, где с позволения настоятеля проводил всё больше времени. Осенью он стал там ночевать.

В 1964 году новый генерал отменил все запреты на издательскую деятельность Мертона. Осенью вышла книга «Семена разрушения», составленная, главным образом, из самиздатских статей.

Мертон читал о Ганди, и в 1965 году вышла его небольшая книжка «Ганди о ненасилии». В предисловии он восхищался тем, как умел Ганди увидеть единство сакрального и светского, сочетать в своей жизни действие и созерцание. Он сравнил его с Папой Иоанном. Оба они понимали, что «на земле не может быть мира, пока люди не очнутся и не изменятся изнутри» (257).

Книга Ханны Арендт навела Мертона на размышления о главном бюрократе Холокоста, и он написал эссе, посвящённое Адольфу Эйхману. Комиссия психиатров признала Эйхмана нормальным, но для Мертона он был прообразом всех тех, кто совершенствует средства уничтожения просто потому, что так велело начальство. Он писал:

«Эйхман признан вменяемым, и это тревожит. Мы связываем вменяемость с чувством справедливости, человечностью, рассудительностью, способностью любить и понимать других. Мы полагаемся на тех, кто в здравом уме, — они предохраняют

Расовый вопрос не решишь, пока не переменишь сердца, пока не встряхнётся и не покается хотя бы часть белой Америки. Дело не в том, чтобы проявить чуть больше доброй воли или великодушия. Нужно прозреть и увидеть вопиющие несправедливости, ввевшиеся в нас проблемы, которые разрушают нас, если не находят выхода.

«Семена разрушения»

мир от варварства, от сумасшествия и уничтожения. Но вот нам приходится мириться с мыслью, что именно они, нормальные люди, особенно опасны. И мы начинаем догадываться, что здоровомыслящие, приспособленные, вписанные в этот мир как раз и могут без зазрения совести навести орудия, нажать кнопку, открыв тем самым великий пир разрушения, который они и подготовили. ...Нормальные вне подозрений, у них всегда найдётся безукоризненный, логичный повод к тому, чтобы спустить курок. Они будут исполнять здравые приказы, здраво доходящие до них по иерархической цепочке» (258).

К Мертону-писателю присоединился Мертон-художник. Его роман с фотографией начался осенью 1964 года. Позаимствовав фотоаппарат, он снимал на чёрно-белую плёнку деревья и пни, ведра, старые стены, а вооружившись японскими кистями, рисовал чёрным на белой бумаге «каллиграфы» — абстрактные рисунки, от которых, как и от фотографий, веяло необыкновенным покоем. И они, и фотографии были «словами молчания». Первая выставка «каллиграфов» состоялась в ноябре, а вскоре — и вторая. Мертон хотел собрать денег на стипендию чернокожему студенту. (Это ему удалось. Правда, помог и дом Иаков, из монастырских фондов.)

По всей видимости, интерес Мертона к женскому началу в творении, в нём самом и в монашестве как-то сопрягался с этим путешествием за пределы слов.

Для Ганди ненасилие — не только политическая тактика, хотя оно очень помогло и освободило его народ от иностранного господства. ..Дух ненасилия исходил из внутренней его духовной целостности. Мы не поймём, что говорил он о ненасильственном действии и сатъяграха, если будем считать это средством для достижения внешнего единства, а не плодом единства достигнутого.

«Ганди о ненасилии»

Судя по описанным им сновидениям, его тревожило то, что раньше, в миру, он толком не понимал женщин. В марте 1964 года он писал в дневнике, что ему приснилась преподавательница латыни из Гарварда; она приехала в монастырь и стала «петь по-латыни, старательно

скандируя». Послушники слушали и посмеивались. Когда в комнату вошёл аббат, Мертон понял, что она нарушила монастырские правила и её сейчас выгонят. Он проводил её вниз и тут заметил, что одежда её измазана и изорвана. «Она была смущена и опечалена»; он — тоже (259). Может быть, латинистка — западная кухня Притчи? Или латинская Литургия, которую в 60-е годы стали забывать, служа на своём языке? Мертону не доставало латыни. Как бы то ни было, судя по этому сну, его беспокоила неестественность чисто мужских сообществ. Еву всё ещё считали великой искусительницей, от которой мужчинам надо бежать со всех ног.

Однажды, в конце ноября, ему снова приснилась его возлюбленная Притча, на этот раз — в облике китайской принцессы, приехавшей его навестить. Он был поражён её «свежестью, молодостью, истинностью, полной реальностью и недоступностью» (260). Ему постепенно приоткрывалась женственная мудрость Дальнего Востока.

Не Притча ли вдохновила Мертона на одно из его прекраснейших эссе, когда следующей ночью разразился ливень, настоящий потоп? Называлось оно «Дождь и бегемот», а воспевало не только дождь, но и всё то, что отвергает, презирает общество, по крайней мере, пока не укажешь цену. В дожде Мертон различил язык Бога. «Подумать только — низвергаются потоки речи, ничего не продавая, никого не осуждая, пропитывая толстый слой мёртвой листвы, питая деревья, наполняя водой лощины и рытвины, омывая те места на холмах, которые мы от леса очистили! ... Чудесная, непонятная, совершенно невинная, самая утешительная на свете речь дождя» (261).

Шли дожди, снились сны — и приезжали пацифисты (одним из них был я). Мы говорили о «духовных корнях протеста». Встречу устроил Мертон вместе с Братством во имя примирения и едва зародившимся его побегом, Католическим Братст-

Капли росы на траве сверкают, как сапфиры, едва взойдёт солнце, и листья дрожат вслед спугнутому голубю.

«Знамение Ионы»

вом мира. Он помогал им обоим и деньгами, и советом. Четыре дня подряд мы, а в основном — Мертон, говорили об «одиноком свидетельстве» Франца Ягерштеттера, австрийского фермера, казнённого нацистами за то, что он отказался служить в армии Третьего Рейха. Ягерштеттер был истовым католиком, но ни епископ, ни священник не поддержали его. Напротив, они увещевали его присягнуть Рейху. Откуда он взялся, этот крестьянин, так серьёзно внемлющий совести? Для Мертона этот отец семейства был святым, чья святость особенно подходит к веку тотальной войны. Необразованный человек, добровольно отдавший жизнь, чтобы не поворстовать злу, разглядел то, чего не заметили епископы и богословы (262).

16 декабря Мертон впервые остался в скиту на целые сутки. В монастырь он приходил только для того, чтобы отслужить Мессу и поесть горячего.

30 января 1965 года, в канун своего 50-летия, Мертон ещё раз взглянул на себя и очень огорчился, вспомнив, как эгоистично, развязно, без любви он вёл себя с женщинами. Он был «круглым дураком» тогда, в Кембридже, «эгоистичным и недобрим к Джоан». Припоминал он и то, как допоздна сидел с Сильвией на ступеньках лодочной станции. Была ли одна из них матерью его ребёнка? Он не говорит об этом, но замечает, что под робостью снова и снова

скрывалась «неотложная потребность в любви» (263).

В той же записи он опять подтвердил, что призван к уединению. Самые счастливые моменты его жизни приходились на время, когда он оставался один. Тогда он не нуждался в личине. Скрытый от чужих глаз, он радовался, и ему казалось, что он хоть ненадолго становится самим собой.

Все, что отцы Церкви говорят об отшельничестве, совершенно верно. Испытания и радости, а главное — слёзы, и несказанный мир, и счастье. Счастье это чистое, ибо оно не от нас, а дар по милости. Я счастлив тем, что наконец я в том месте, куда меня поместил Бог; тем, что я выполняю дело, для которого Он привёл меня сюда двадцать три года назад.

«Как вести беседу»

Но во сне он один не был. В начале февраля 1965 года ему приснилась негритянка, и он признал в ней любимую кормилицу далёкого детства, которой был обязан жизнью. «Именно

Как бы я ни ошибался и ни обманывался, я был счастлив и жил в истине, насколько я вообще могу об этом судить.

«Как вести беседу»

она, а не мать по плоти, дала мне жизнь. ...Её лицо было безобразно и сурово, но от неё исходило небывалое тепло. Мы нежно обнялись. Я ощутил огромную благодарность к ней и обращал внимание не на её лицо, но на тепло её рук и сердца. ...Потом мы с моей чернокожей матерью немного потанцевали» (264).

Однажды в июне, когда Мертону не спалось, он вспомнил похожую на Притчу Энн Уинзер, тринадцатилетнюю девочку, которую видел подростком, когда гостил у её старшего брата на острове Уайт. «Я помню тихий домик приходского священника в тенистой долине. Она была тише всего. Неприметная, таинственная девочка... Не припомню, чтобы я вообще думал о ней или замечал её, но вчера я понял, что никогда о ней не забывал, она врезалась в мою память». Она была «той частью сада, куда я не заходил», и «сложись моя жизнь по-другому, я, может быть, женился бы на ней». Только она — «такая тихая, каких я больше не видел, а потому я неполон, и этого не исправишь» (265).

Отец Людовик, отшельник

Чего мне искать, кроме этой тишины и простоты, этой «жизни в премудрости»?

В скиту, на двери, висел писанный по-латыни пергамент с благословением Папы Павла VI «отцу Людовику, отшельнику».

«Общинный Совет одобрил моё намерение. Почти все поняли его и приняли, — писал Мертон 20 августа 1965 года. — Завтра — официальное начало. Я могу молиться как хочу» (266). Каждый день он должен был возвращаться в монастырь, чтобы отслужить Мессу в библиотечной часовне и поесть горячего в лазарете, а по воскресеньям — прочитать лекцию для братьев.

«Жизнь так проста, — говорил он в последней беседе с послушниками. — Мы живём в совершенно прозрачном мире, и Бог всё время сияет сквозь него. Это не басня и не сказка, а правда. Если мы забудем себя и предадимся Богу, мы видим это иногда, а то и часто. Мы ясно понимаем, что Он — везде, во всех — и не можем жить без Него. Без Него и нельзя жить, так не бывает, просто мы этого не видим. Почему мир непрозрачен? Из-за нашей суеты» (267).

Расставшись с послушника-

Я живу среди деревьев и обречён бродить по лесу. Я и заключённый, и беглец. Сам не знаю как, родившись во Франции, я очутился в Кентукки... Есть ли у меня «день»? Провожу ли я «день» в каком-то «месте»? Деревьев тут много. И птиц. Это я знаю. Причём птиц я знаю хорошо — они расположились парочками вокруг моей хижины (около двадцати видов). Мы уживаемся, у нас экологическое равновесие.

«Один день странного человека»

В трапезной читают послание Папы, порицающее войну, бомбардировки мирных сёл, карательные акции, убийства заложников, пытки пленных (во Вьетнаме). Понимают ли в этой стране, о ком он говорит? Все привыкли, что Папа клеймит только коммунистов, и давно перестали слушать. Монахи кажутся, понимают. У теще дрожит голос.

«Один день странного человека»

ми, Мертон ощутил благословенную свободу от всякой суеты. Он прихватил старую рабочую одежду и отправился в свой блочный скит — суровое жилище без всяких удобств. Воду нужно было носить, а поблизости, в деревянном сарае обитал уж.

«Живу, как столпник, — писал он в октябре Бобу Лаксу. — Я совершенно один... и больше не пеку булочек в на-

шей пекарне» (268).

Мертон совсем не считал, что наконец пристроился. В первые месяцы затвора он особенно сильно хотел перебраться в какое-нибудь другое место. Как ни стремился он к полному уединению, жить в скиту было трудно. Часто он чувствовал себя покинутым и одиноким. Ему очень хотелось ответить «да» Эрнесту Кардиналу, который приглашал его поучаствовать в монашеском эксперименте. Мертон написал кардиналу Павлу Филиппу, секретарю римской Конгрегации по делам монашества, и Папе Павлу VI, спрашивая, не позволят ли они, чтобы он поехал на время в Никарагуа, оставшись монахом Гефсимании. Ответ был любезный, но ему предписывалось оставаться там, где он есть. Ничего другого он и не ждал. Он был готов ответить Кардиналу «да», а вину за то, что не едет, свалить на Рим.

Переезд в скит отразился на его здоровье. Хуже всего было то, что ближайший ручей, из которого поначалу пришлось брать воду, оказался грязным, и Мертон подхватил дизентерию. Обострилась экзема, приходилось иногда надевать лечебные перчатки.

Пока он боролся с новыми трудностями, на другом конце земли, во Вьетнаме, шла страшная бойня. Одним из тех, кто особенно от неё страдал, был Роджер Лапорт, бывший цистерцианский по-

слушник, а теперь — доброволец «Кэтолик Уоркер» в Нью-Йорке. Он так живо представлял себя на месте тех, кого сжигают заживо американские бомбы, что 9 ноября вечером сел на площади перед представительством Соединённых Штатов в ООН, облил себя горячей смесью, чиркнул спичкой и стал добровольной жертвой войны. Через два дня он умер от ожогов. Никто из друзей не ожидал ничего подобного.

*В Церкви и в мире я должен быть
одиноким исследователем. Не
держатъ нос по ветру, не
схватывать последнюю моду, не
искать самую глубину истины в её
умолчаниях, в её
двусмысленностях и в тех
конкретностях, которые лежат
глубже страха. ...Я живу как на
подводной лодке, и вера моя
оборачивается сомнением, когда
нужно сомневаться, отречься от
общепринятых суеверий и
суррогатов, её подменивших.*

«Вера и ненасилие»

Известие дошло до Гейфсимании 11 ноября. Мертон был ошеломлён и немедленно телеграфировал в офис Католического Братства мира в Нью-Йорке:

УЗНАЛ САМОУБИЙСТВЕ РОДЖЕРА ЛАПОРТА. НЕ ВИНЮ
БРАТСТВО ТРАГЕДИИ ОДНАКО ПЕРЕМЕНЫ ДВИЖЕНИИ
ЗА МИР НЕ ПОЗВОЛЯЮТ ОСТАВАТЬСЯ ПОПЕЧИТЕЛЕМ.
ПРОШУ УБРАТЬ МОЁ ИМЯ ИЗ СПИСКА. ТОМАС МЕРТОН

Из всех миротворческих групп больше всего он был связан с Братством, которое тесно сотрудничало с «Кэтолик Уоркер».

«Нынешний дух этой страны предельно тревожит меня, — писал он мне в тот же день. — Такого не было в нацистской Германии, тем более — в Советской России. Это что-то невиданное. Крутом царит безумие — не только в движении за мир, буквально везде. Это так нелепо, так безнравственно, даже когда то и дело поминают нравственность и совесть (а их поминает каждый). Страна совсем спятила» (269).

Через неделю он передумал и попросил прощения за резкость. «Я, собственно, отшельник-послушник и всё время этим занят. Дел

хватает на целый рабочий день, когда остаёшься совсем один и пытаешься управиться с самим собой» (270).

В начале декабря Мертон писал:

«Самосожжение Роджера вызвало к жизни глубокую поверку, и заведёт она далеко. Как бы неправильно он ни поступил, я верю, что сердце у него осталось чистым, и его не осуждаю. Осуждаю я... это важно и сейчас... ту иррациональность, то стремление к власти, тот напор, то нетерпение, то псевдохаризматическое свидетельство, которое может вконец разрушить всё доброе. ...[В воздухе] пахнет безумием и фанатизмом... и я уже не доверяю тому, что сам делал на этом публичном поприще. ...[Я] уже не могу идти по проторённой дороге... нужно отыскать новые направления мысли и действия, и, если выйдет что-нибудь путное, борьба за мир выиграет от этого больше, чем от моих беспомощных жестов. Так или иначе, сейчас я должен искать и докапываться, и если я упомянул “angst”¹, то это не значит, что я хочу придать себе значимости. Уверяю вас — наша с вами связь реальна и действенна только тогда, когда я молча несу в себе бремя, которое давит на вас извне. Поймите, если мне будет дано что-то сказать, надеюсь — разумное, я сразу это скажу, как говорил до сих пор» (271).

В декабре через Католическое Братство мира он распространил официальное заявление, что стал отшельником, но помогать Братству будет. Там же он говорит, что «сейчас прежде всего нужен не вызов, а терпеливая, созидательная пастырская работа. Вызов лишь подхлестывает враждебность в обычных людях, а не просвещает их».

Кризис, вызванный самосожжением Роджера Лапорта, вдохновил большое эссе «Блаженны кроткие». В 1966 году Католическое

¹ Тревога (нем.).

Братство мира выпустило его отдельной брошюрой (272). Мертон писал, что активное ненасилие — это жизнь по Нагорной проповеди. Кроткие, которых Иисус назвал блаженными, — не просто тихие, послушные люди, не решающиеся никому перечить. Скорее, это те, кто смиренно принимает Слово Божие и готов жить по Божией истине, чего бы это ни стоило. Мертон писал, что не-

насилие немыслимо, если мы не противимся постоянно всплескам ненависти в себе, не стараемся увидеть в своём противнике человека и вступить с ним в беседу. «Всё различие между ненасилием и насилием, — писал он, — в том, что насилие всецело рассчитывает на себя. Ненасилие полагается на Бога и Его Слово» (273).

В самый разгар этой трудной поры Мертон получил подарок, который счёл промыслительным знаком — рукописную икону XVIII века «Богоматерь с Младенцем». Прислал её из Англии буддист Марко Паллис, с которым Мертон переписывался с 1963 года. В ответном письме он писал:

«Не знаю, с чего и начать. За всю свою жизнь я ни от кого не получал столь драгоценного и великого дара. У меня нет слов, чтобы выразить, как глубоко я тронут прекрасной и таинственной встречей. ... Сперва я просто не мог поверить... Вот оно, совершенное богочитание в вечности. Я не устаю глядеть на этот образ. В нём так явно присутствует Дух, Он так реален, так пронизан духовным фаворским светом, словно у Девы и у Младенца — одно сердце, и свет струится из него на всё мироздание. Икона несказанно прекрасна. И тиха. Она исполняет тиши-

Ненасилие должно просто избежать двусмысленности туманного, неясного протеста, от которого поджигатели войны только утверждаются в самоправедной слепоте. Значит, само оно должно избегать поверхностной и фанатичной самоправедности, воздерживаться от надрывного самооправдания. ... Христианское ненасилие... убеждено, что способ борьбы за истину либо затуманивает, либо являет её.

«Блаженны кроткие»

ной мою обитель. ... Посланица явилась как раз тогда, когда я особенно нуждался в вести, и нельзя выразить, как она помогла решить неразрешимые проблемы» (274).

К началу 1966 года жизнь в скиту устоялась, хотя смущение и растерянность ещё посещали его. Свой день он описал Абдул Азизу, учёному суфию, с которым переписывался с 1961 года. Вставал он в 2.30 ночи, читал обычное монашеское последование, состоящее главным образом из псалмов. Потом около часу медитировал, читал Библию, а там и завтракал — пил чай или кофе, иногда с фруктами или с мёдом. За едой он читал; читал и дальше, пока не взойдёт солнце. С восходом — снова молился, потом работал — подметал, убирал, колол дрова. В 9 утра снова читал псалмы. До того как отправиться в монастырь служить Мессу, отвечал на письма. После Мессы обедал один в монастыре. Вернувшись в скит, снова читал. В час дня — молился и ещё час медитировал. Только после этого можно было писать, обычно — не больше полутора часов. В четыре — ещё одно последование псалмов и лёгкий ужин, обычно — чай или суп и бутерброд. Потом ещё час медитировал, а в 7.30 ложился.

Признаюсь, что сижу под сосной и ничего не делаю. Я ничего не делал целый час и собираюсь ничего не делать, сколько удастся. Ботинки я снял. Каюсь, что всё это время слушал пересмешника. Да, именно пересмешника. Я слышу, как он поёт вон в тех кедрах, и горюю; наверно, то моя вина. Опять запел! И так всё время. Где бы я ни очутился, вокруг меня плетут вот такие реакционные козни.

«Подписанное признание в преступлении против государства»

В том же письме Мертон говорил о том, как он медитирует:

«Строго говоря, я молюсь очень просто. Молитва полностью сосредоточена на внимании к присутствию Божию, Его воле и Его любви. Другими словами, она сосредоточена на вере, ибо только в вере нам открывается присутствие Божие. Всё это очень похоже на то, что говорил пророк о “пре-

бывании перед лицом Божиим, словно мы видим Его". Однако это не значит, что я воображаю что-то или создаю себе некий образ Бога; это был бы кумир, идол. Напротив, я поклоняюсь невидимому и бесконечно превышающему наше разумение, понимая, что Он — всё. ...Моё сердце жаждет понять до конца, как ничтожно всё, что не Бог; и

молитва моя — хвала, поднимающаяся из Ничего, из Молчания. Если "я сам" тоже здесь, это только мешает. Если Он захочет, Он может прояснить, просветить Ничтожность до конца. Если не захочет, Ничтожность станет "вещью", "объектом" и помешает общению с Богом. Так я обычно молюсь или медитирую. Я не "думаю о чём-то", я просто ищущу Лик Невидимого, а его не найдёшь, пока не затеряешься в Нём» (275).

Представление обо мне вы составили из своего и ещё чьего-то материала. То, что вы думаете обо мне, зависит от того, что вы думаете о себе. Возможно, в своё представление обо мне вы переносите всё то, чего не хотите в себе видеть. Не исключено, что ваше представление обо мне отражает то, что другие думают о вас. А может быть, вы думаете обо мне то же, что я о вас.

«Человек — не остров»

Притча по имени Марджи

Что доброго в злой разлуке?

Это — смерть.

Это — царство дьявола.

Мы — половинки человека,

Бродящие в двух затерянных мирах (276).

В начале 1966 года у Мертонa начались сильные боли в спине. 23 марта он лёг в луйсвилльскую больницу св. Иосифа. Неделю спустя, поправляясь после операции, он увидел студентку-медсестру. У неё были серые глаза и длинные чёрные волосы, и весь облик её сразу напомнил Притчу из его снов. Звали её Марджи (277). Они беседовали о «Знамении Ионы», о комиксах, о журнале «Мэд». Мертон очень скоро стал ждать её прихода и новых бесед. Когда через несколько дней Марджи уехала на выходные в Чикаго, он почувствовал себя бесконечно одиноким. Полночи он промучился без сна. «Я постепенно догадывался, что мы любим друг друга, и я уже не представлял, как смогу жить без неё» (278). Прежде чем вернуться в монастырь, он оставил ей письмо, в котором говорил, что нуждается в её дружбе, и сообщал, как писать ему, помечая конверт

Когда рана затягивается, сдирают присохшую повязку и вместе с ней — изрядный кусок кожи. ... Когда ты становишься цистерцианцем, с тебя не только сдирают одежду и кожу, но и тело, и большую часть души. Происходит это не в один день, куда там! Цистерцианская жизнь потрошит и вымывает душу, как охотник — добычу.

Неопубликованная рукопись
«Семярусной горы»
из «Томас Мертон Ридер»

словами: «Вопрос совести», чтобы в монастыре никто не вскрыл. Так начался один из самых радостных и мучительных периодов в его жизни.

Когда настало время выписываться из больницы, Мертон был в смятении. 10 апреля он перебрался в монастырский лазарет. Через неделю пришло письмо от Марджи, целых четыре страницы. Отвечая, Мертон признался, что полюбил её. Спустя несколько дней он, в обход монастырских правил, позвонил ей и договорился о встрече на 26-е число, когда должен был ехать в Луисвилль, показаться врачу. Они встретились, зашли в местный ресторан, и Мертон показал Марджи посвящённые ей стихи «Мир в моей крови». (Потом было ещё семнадцать стихотворений.) Марджи сказала Мертону, что он не ведаёт, чем это может кончиться, а он уверял её, что они могут любить друг друга и без телесной близости, духовно. Всё уладится, говорил он.

5 мая к нему приехали Джеймс Лафлин и чилийский поэт Никанор Парра. Они устроили пикник неподалёку от монастыря, и Мертон, одолжив у Лафлина мелочи, позвонил Марджи из автомата, попросил приехать, если сможет. Они пообедали вчетвером в луисвилльском аэпорту. Небритый Мертон, в тенниске и комбинезоне, являл собой довольно странное зрелище. Наверное, писал он в дневнике, меня принимали за заключённого; наверное, так он себя и чувствовал. Занимала его только Марджи, и ей было неловко. Наконец, они вдвоём вышли погулять. Забрёдя на окраину аэро-

Монахи, как известно, безбрачны, а отшельники — ещё безбрачней. Нет, я вовсе не против женщин — просто я не понимаю, почему нельзя любить обоих сразу — и Бога, и женщину. Ведь если Бог ревнует человека к жене, то зачем же Он её сотворил?

«Один день странного человека»

порта, они присели на виду у всех, но всё же — как бы одни. «Сам ясный вечерний свет словно стал любовью, — писал Мертон о той встрече, — и сами мы стали тем светом, той любовью, будто в нас воплотилась чистая красота и смысл тех часов... и смысл всего, что только бывало, внезапно сошёлся в нас, ибо

любовью стали мы. Настал наш черёд — выразить в благоговении суть всей жизни и всей истины».

Майкл Мотт писал: «Полюбив по-настоящему, Мертон нашёл себя» (279). Марджи оказалась для него тем единственным человеком, с которым он мог оставаться без лжи — собой. Он впервые почувствовал, что его знает полностью не только Бог, но и другой человек. Поздно вечером он написал стихи, где есть такая строка: «Бог творит в нас Свою любовь» (280). А в дневнике он размышлял о том, возможен ли «целомудренный брак».

7 мая они встретились снова, на пикнике с друзьями Мертона у монастырского озера, и снова им удалось погулять. Мертон пытался объяснить, что должен жить в уединении, но разлучаться с Марджи ему очень тяжело. Они присели у небольшой излучины и представили себе, что Мертон найдёт работу в Луисвилле, купит машину, и они смогут видеться когда захотят. Мертон писал, что теперь знает, «с какой ужасной полнотой» способен любить. Он догадывался, что всё меньше похож на монаха, давшего обет целомудрия, но при этом ощущал в себе такую полноту жизни, какую даёт только молитва. «Зачем Бог поставил тебя жить в моей сердцевине?» — писал он в одном из стихов (281).

14 мая Мертон поехал в Луисвилль на лечение и снова обедал вместе с Марджи. Они восхищались балладой Джоан Баес «Серебряный нож» и говорили о том, как могли бы жить вместе. (После этой встречи «Серебряный нож» напоминал им друг о друге. Они договорились заводить песню в 1.30 ночи, когда у Марджи кончалась её смена. Ради этого Мертон стал вставать на час раньше.)

Ещё через пять дней они гуляли по монастырскому лесу неподалёку от Виноградного холма — туда редко забредал кто-нибудь из братии. У Марджи была бутылка вина, и они устроили пикник.

Мы созданы для любви. Пока мы одни, жизнь бессмысленна; смысл рождается, когда есть другой. Тайну своей жизни не откроешь, размышляя в одиночестве. Смысл жизни — тайна, и открывается она в любви, через того, кого мы любим.

«Любовь и жизнь»

Радость и сокрушение быстро сменялись; мечты о браке чередовались с решимостью всё порвать и остаться в скиту.

Испуганный тем оборотом, какой стали принимать эти встречи, Мертон решил несколько дней повременить. Он уже вернулся в скит из больницы и оказался лицом к лицу с тяжёлым выбором.

Ещё раз они встретились в луисвилльском ресторанчике Каннигама, месте безопасном, когда Мертон ездил в городскую больницу к врачу. Оба понимали, что отношения стали иными. Вечером Мертон писал в дневнике: «Я могу жить только один. Одиночество — мой привычный климат. То, что мне разрешили испытать такое полное единство, такую гармонию, такую любовь с другим человеком, с ней, — просто удивительно. Людей я люблю, но больше часу мне с ними трудно. С ней я был часами и не уставал, это чудо; но я всё равно отшельник».

Через неделю они снова встретились в Луисвилле, на этот раз — у друга Мертона, психиатра Джеймса Уайгала. Тот пустил их к себе скрепя сердце. Мертон понимал, как он любит Марджи и как пусто будущее без неё.

Чувствуя, что обет целомудрия вот-вот потеряет свою силу, Мертон пошёл к духовнику; так первый из братьев-монахов узнал о его драме. В тот же день он пытался дозвониться до Марджи. Даже после беседы с духовником мысль о браке перебивала все его доводы и зароки.

На следующий день, 12 июня, монах, работавший на коммутаторе, услышал обрывки разговора Мертона с Марджи. От своего келейника Мертон вскоре узнал, что тот монах счёл своим долгом всё рассказать настоятелю. Что-то подобное непременно должно было произойти в маленьком монастыре, Мертон прекрасно это знал. Ему стало и легче, и тревожней.

Не став дожидаться, пока дом Иаков его вызовет, Мертон пошёл к нему сам и рассказал обо всём, не назвав имени Марджи. Реакция аббата удивила его и утешила: он не взвился до потолка, говорил мягко, заботливо и увещевал расстаться с нею. Мертон не был совсем откровенен. Он отрицал, что думает о браке, хотя

именно об этом говорил с Марджи в подслушанном разговоре. Дом Иаков предложил ему вернуться на время в общину и пожить, к примеру, в лазарете, а благословения на скитскую жизнь не снял.

Обо всём, что произошло, Мертон рассказал Марджи по телефону. Оба понимали, что рано или поздно это должно было случиться. Марджи была потрясена тем, как это всё жестоко. Мертон написал горькие стихи о том, что с любовью нужно обращаться очень осторожно, ибо «она несёт разрушение. / Миллионы карманных циклонов / вздымают безудержный гнев, / в нас поселяют хаос...» (282).

На другой день дом Иаков сказал Мертону, что его вчерашний совет — не общаться больше с «той женщиной» — не благое пожелание, а приказ.

22 июня Мертон решился «положить всему конец».

Прошло ещё два дня, и во сне он увидел мать. В ореоле светящихся роз с шелковистыми лепестками она глядела на него сквозь перепутанные тёмные ветки с колючками. В «Семиарусной горе» образ матери был другим, там — только колючки. Благодаря Марджи он стал иначе видеть женщин. Потом ему снилось, что в больнице он «груб и резок» со студенткой-сестрой, — как «настоящий» монах, защищающий обет целомудрия, а не тот человек, каким он хотел быть.

Несмотря на запрет, Мертон думал, что простая жалость обязывает ещё раз увидеться с Марджи. 25 июня он поехал в Луисвилль на рентген, и они встретились. Она была растеряна и решила вернуться в свой родной город, чтобы работать там в больнице «экстренной помощи», а это нелегко. Мертон подарил ей свой «Летний дневник», куда вошли записи последних десяти дней. У дневника был и желчный подзаголовок: «или рассказ о том, как я снова стал неприкасаемым».

Прощаясь в тот день с Марджи, Мертон говорил, что, скорее всего, больше они не увидятся, но 16 июля он снова очутился в луисвилльской больнице, на этот раз с вывихнутой лодыжкой. Марджи зашла за ним в кабинет врача, и они, прихватив пакетик вишен,

Когда любят по-настоящему, хотят не просто быть вместе и утешать друг друга. Общаясь, люди становятся другими, выступают за пределы своего обычного «я», полнее живут, лучше понимают, больше терпят, проявляют свой дар. Они становятся «новой тварью». Любовь — преображает их.

«Любовь и жизнь»

отправились в парк Чероки. Они были необычайно счастливы, хотя знали, что будущего у них нет. Об этом дне Мертон писал: «Покачиваясь, плывём / Бессловесной болью любви / Между раем и адом, / Сионом и синей рекой, / Навстречу счастью и горю...» (283).

28 июля дом Иаков снова беседовал с Мертоном, на этот раз — не о Марджи, а о других неполадках в его жизни. Мертон без благословения посетил близлежащий женский монастырь лоретских сестёр и купался в монастырском пруду с одним из своих гостей. Спросив, не слишком ли тяготит Мертона скитская жизнь, аббат снова предложил ему вернуться в общину. Почему бы ему не вести занятия по Священному Писанию и не взять на своё попечение молодых монахов? Мертон понял, что его отшельническая жизнь под угрозой.

Через неделю дом Иаков заговорил о его отношениях с Марджи, полагая, что между ними всё кончено. Он посоветовал написать ещё одну книгу и назвать её «Как спасти отшельников». Мертон вскипел и сказал, выходя из кабинета: «Когда родится ребёнок, можете быть крёстным!» Аббат принял это за шутку, но явно встревожился.

Решив не испытывать судьбу и не искать встречи, Мертон написал Марджи письмо, «прощаясь по-настоящему»; Марджи вот-вот должна была закончить курсы и уехать из Луисвилля. Представив себе, как она распечатывает письмо и читает, он испугался, стал ей звонить, не дозвонился и написал стихи о том, как ему больно — «я чуть не разорвался надвое». Когда он дозвонился до Марджи, она сказала, что письма не было — его задержали в монастыре, хотя на нём и стояла помета «Важно. Вопрос совести». В дневнике он писал, что голос у неё был сдавленный, она очень страдала.

8 сентября, в уединении, Мертон дал вечный обет отшельничества: «Я, брат Мария Людовик Мертон, монах аббатства Владычицы нашей Гёфсиманской, прожив год отшельником, обещаю посвятить себя уединению до конца своих дней, насколько позволит здоровье». Дом Иаков засвидетельствовал это своей подписью.

И всё-таки в конце октября он дважды, хотя и недолго, виделся с Марджи. Она приезжала в Луисвилль на экзамены, а Мертон лежал в больнице св. Антония, у него было что-то с животом. Потом они только говорили по телефону, последний раз — за несколько месяцев до его гибели.

Так, в самом конце, Мертон подтвердил, что останется монахом и отшельником. Это был самый трудный выбор в его жизни. Марджи он не разлюбил. Душой он с ней сочетался (а может, сочеталась и она с ним). Он не знал, что такое «невозможно», и разбился на полной скорости, но — выздоровел. Летом он писал Марджи, но мы не знаем, отправил ли письмо: «Дорогая моя, что-то очень глубокое в нас велит нам сдаться — но не так, как сдаются, когда одежда падает на пол и тела приникают друг к другу. Насколько поразительней сдаться наготе любви и такому единению, когда между нами нет преграды иллюзий».

О событиях того лета знали лишь несколько друзей, их это очень тревожило. Мертон ничего не собирался держать в секрете. Рукописи стихов он передал Джеймсу Лафлину, чтобы тот сохранил их и когда-нибудь опубликовал. Дневники отошли в Литературный архив, который он основал вместе с отцом Джоном Лофтусом в луисвилльском колледже св. Роберта Белармина. Часть из них решили публиковать через двадцать пять лет после его смерти, но он не хотел скрывать ничего, даже любви к Марджи. «Пусть знают и это,

*Песен не пой,
Разбудишь мать,
Вот она спит
Рядом со мной
И сжимает нож.
Она запретила тебя любить,
Иди к другой.
А я — ну, что ж,
Решила до смерти своей
Спать одна.*

Апалачская баллада
«Серебряный нож»

*Вот мы в коралловой бухте,
Куда не доплыть кораблям,
Не долететь самолётам, —
Это судьба вынесла нас
На край блаженной земли.*

«Образы для Откровения»

ведь здесь — часть меня самого, моя потребность в любви, моё одиночество, моя внутренняя разделённость, моя борьба, в которой уединение и “спасает”, и мешает. Если оно спасает, то, видимо, не вполне».

Член семьи

У меня нет ни умственных, ни моральных, ни душевных сил отвечать за что-то большее, чем курятник.

В начале 1967 года Мертон разослал друзьям отпечатанное на ротаторе письмо, где говорил о том, как поменялся его взгляд на вещи: «В спорах жизнь растрачивается впустую, а её надо целиком отдать любви». Он надеялся «рано или поздно отойти от всякой полемики» (284).

Жизнь шла своим чередом, и в ней находилось место для любви нового рода. Мертон подружился с Томми и Фрэнком О'Калаганам, и отношения их стали такими тёплыми, что он из частого гостя в их многодетном доме превратился в члена семьи. Когда он приезжал в Луисвилль на лечение, дом этот был его главным пристанищем. Мертон ел вместе со всеми, играл с детьми, иногда — ночевал. В тёплую погоду устраивали пикник. Похожие отношения сложились с Томсоном и Вирджинией Вайлетами, другой многодетной парой, уже из Бардстауна. Жениться он не мог, но мог хотя бы побывать в семейном тепле.

В этих семействах, среди прочего, его привлекала живая вера, не скованная правилами и не оголтело современная, «прогрессивная». Мертон как-то особенно не выносил новоявленных прогрессистов, которые

Ещё одна из самых важных Ваших обязанностей — следить за тем, чтобы стареющий автор иногда оживал на пикниках и чтобы он время от времени мог приникнуть к подходящему источнику вдохновения.

Письмо к Томми О'Калаган
от 17 октября 1967 года

считали, что монахов в наше время надо просто сажать в тюрьму. Один из них полагал, что монашеская жизнь — штука нехристианская, нечеловеческая, бесовская. Предостерегая от них Боба Лакса, Мертон писал ему: «Нет на земле ничего уродливей, ниже, пошлее, невразумительней, вреднее, чем этот вид, просто лопающийся от прогресса в мирских сообществах и тейяровских подземках. Оттавиани [кардинал, чьё имя стало синонимом консерватизма] плохи, но эти — гораздо хуже» (285).

Многие из литургических нововведений Мертон считал в лучшем случае забавными, а в худшем — безвкусными и уродливыми. Он не поверил своим ушам, когда во время пострига нового собрата монахи запели «Единый камень Церкви». «И это обновление? Да это просто возврат к тому, что умерло, к викторианской Англии».

В конце февраля Мертону сделали операцию, на этот раз — из-за бурсита. Кроме того, его так донимала аллергия, что врачи прописали строгую диету. Чтобы облегчить жизнь в скиту, настоятель

Пишите же и просвещайте меня во всём, что касается поп-музыки. Я пока что не очень в ней смыслу. Я — заядлый джазмен, но не прочь разбираться и в новой музыке. Я столько слышу о всяких группах... Расскажите мне о них... Какая поп-музыка Вам нравится? Я мало слышал, но из последних записей Дилана мне нравится «Конечно, пять верующих», она такая вдохновенная, шаманская, что ли. Из Битлов мне понравился «Таксмэн», да и всё прочее.

Письмо к Сюзен Буторович, 16-летней школьнице, предложившей Мертону написать что-нибудь для школьной «андерграундной» газеты

распорядился провести туда воду. К концу лета у Мертона появились раковина, вода, нагреватель, плитка и холодильник.

Все эти месяцы к нему то и дело наведывались гости. Среди прочих были мусульманский учёный Сиди Абдеслам, философ Жак Маритен, певица и активный борец за мир Джоан Баес, писатели и богословы Джонатан Уильямс, Гай Давенпорт, Уилл Кембелл, Джеймс Холлоуэй, Розмари Хотон, Уокер Перси, друзья — Боб Лакс, Сай Фридгуд, Наоми Бертон Стоун, Дан

Берриган, Джон Ховард Гриффин, Ролф Юджин Митиярд, Рон Зейц.

52-летие Мертона отмечали в ресторанчике лексингтонской гостиницы «Империал Рамада». Вскоре появилось небольшое эссе Гая Давенпорта, воспевавшее особую благовоспитанность официантов, и благодаря ему мы можем мельком взглянуть на Мертона со стороны. За столом собрались «фотограф Ролф Юджин (скрывавшийся под личной бизнесмена), траппист Томас Мертон (в обычной одежде — просто табачный фермер с тонзурой) и издатель Фочун [не кто иной, как старый друг Мертона Сай Фридгуд], который по пути из аэропорта разбил свою машину и с ног до головы был перепачкан кровью. В Голливуде к таким вещам привыкли (Линда Дарнелл в перерывах между дублями пьёт молочный коктейль с чудовищами вроде Франкенштейна), в Риме и Нью-Йорке — тоже, но для Лексингтона, штат Кентукки, это слишком! Официанты обслуживали нас, не говоря ни слова, словно не замечали, как Мертон пролил мартини, а редактор перевёл все салфетки на свои раны» (286).

Встречи с посетителями много значили для Мертона, но жажда путешествовать самому не унималась. Утолить её без благословения настоятеля он не мог, но тот упорно стоял на своём, позволяя ему лишь краткие местные поездки. Когда в январе 1967 года Мертон сказал о приглашении в траппистский монастырь во Франции, дом Иаков ответил: «Бог даровал вам скит, чтобы вы преуспевали во внутреннем, а не во внешнем» (287).

Несмотря на болезни, огорчения и безответные упования, Мертон не унывал. Юмор сквозил и в письмах, и в тогдашних фотографиях. Однажды в апреле он запечатлел большой строительный крук, висевший над полем, и написал на обратной стороне: «Единственная фотография Бога».

Писать или редактировать он позволял себе два часа в день, но и при таком режиме успел много. Он создал целую серию эссе о

*Скачи верхом по лезвию меча,
Укройся в пламени.*

*Цветут деревья в огне —
И солнце вечером встает.*

«Подражание дзен»

Камю, Фолкнере, Уильяме Стайроне и Симоне Вейль (288), эссе об Иши, последнем из коренных жителей Калифорнии (289), несколько статей о монашестве и созерцательной традиции (290), написал предисловие к японскому изданию «Нового человека» (291). Подготовил он и «Как вести беседу», дневник 1964—1965 годов, но решил повременить с публикацией, отчасти — потому, что тот, а точнее — он сам, вызвал бы негодование прогрессивных католиков, считавших отшельничество отсталым, если не контрреволюционным. Чуть позже он закончил «Дзен и голодные птицы», а в декабре 1967 года вышел 1-й номер (из четырёх) небольшого журнала «Монастырский пруд». Мертон много писал для маленьких журналов и решил выпускать свой собственный (292).

На воскресных лекциях в монастыре Мертон в основном говорил о том, что только что прочёл. Тогда он очень интересовался суфизмом и культурами южных островов Тихого океана (293).

В те краткие промежутки, когда он мог отвечать на письма, ответы вылетали из пишущей машинки, как поднятый вьюгой снег. В июле 1967 года первое письмо прислала 16-летняя Сюзен Буторович и сразу же стала одним из любимых корреспондентов. Она спрашивала, любит ли Мертон поп-музыку, что он думает о Битлз и ЛСД. (Мертон ответил, что ему нравится одна песня Битлз и последние записи Боба Дилана, а ЛСД ему не нужно, поскольку его «заводят птицы»). Позже он писал Сюзен, как варит кашу (294.)

Джун Янгблат, члену квакерской общины в Атланте, Мертон писал, что хочет собрать в Гефсимании для духовных упражнений борцов за гражданские права, но планы расстроило убийство Мартина Лютера Кинга.

Очень порадовало Мертона рукоположение Дана Уолша, благодаря которому он узнал о Гефсиманском монастыре и задумался о том, не призван ли стать траппистом. Уолш долго жил в монастырской гостинице, пока наконец архиепископу Луисвилля не пришлось в голову рукоположить этого прирождённого богослова. Хиротония состоялась 16 мая 1967 года в семинарии св. Фомы, а потом её отмечали у О'Каллаганов. «Отпраздновали на славу, — писал

Мертон. — Я, кажется, перестарался с шампанским. Трапписту это выпадает не часто, и я не ударил лицом в грязь. Помню, поднял я глаза, хотел разглядеть четверых сидевших напротив монахинь, и прочёл в их взоре недоумение и ужас. Как же, пал ещё один столп Церкви!» (295)

Ещё более важное для Мертона событие произошло в июле. Дом Иаков разрешил ему служить в скиту, и 16 июля он совершил там первую Мессу на специально сделанном из кедра престоле. В этот день был праздник Девы Марии Кармильской, покровительницы скита. С тех пор вся жизнь Мертона протекала под сенью скита. (В начале 1968 года к старому зданию пристроили крохотную часовенку.)

В сентябре, к большому удивлению братии, дом Иаков объявил, что уходит на покой. Он решил последовать примеру Мертона и стать отшельником, третьим по счёту. (Вторым был о. Флавиан Бернс.) Мертон забеспокоился, что теперь могут избрать его самого, и написал в редакцию монастырского бюллетеня записку под названием «Предвыборная платформа того, кому его конура дороже настоятельского поста». Там он уверял, что не может «отвечать за что-то большее, чем курятник, и признавался, что дал частный обет никогда не быть настоятелем. Да он просто не сладит со ста двадцатью пятью путаными и беспокойными монахами. Возраст берёт своё, голова уже не та, и он весьма туманно представляет себе, куда должно идти монашество. Впрочем, обещал он, если выберут его, пива будет вдоволь (296).

Аббатом он не стал, но помог подобрать аббата. Вместе с другими он уговорил баллотиро-

Меня спрашивают, смогу ли я теперь, при новом аббате, чаще «выходить»? Смогу ли я приезжать в университетские городки, участвовать в конференциях, спорах и т.п.? ...Я думаю, даже если препятствия не будет, мне не стоит много ездить, бывать на публике (или полупублике) и много выступать. Моё призвание в другом. ...Я выбрал уединение и молитву и надеюсь, что мне будет чем поделиться с другими. Вот и всё.

«Окружное послание» к друзьям.
Канун Великого поста 1968 года

ваться о Флавиана Бернса. Мертону беспокоило, что преемником дом Иакова станет один из тех, кто настроен против скитской жизни, и хлопотал о кандидате, благоволившем к отшельникам. 13 января 1968 года братия почти единогласно избрала отца Флавиана. Неделяй раньше Мертон твердо решил остаться в Гефсимании независимо от того, кого изберут. Как Пастернак, не покидавший Россию, каким бы суровым ни был её политический (или религиозный) климат, Мертон хранил верность своему монастырю и напоминал себе, что пришёл туда не за тем, чтобы идти своим путём.

Дом Флавиан по-другому смотрел на настоятельское служение, чем его предшественник. Он был расположен дать Мертону больше свободы и позволил ему принять некоторые из приглашений.

«Парадокс в том, — писал Мертон в одном из прежних писем, — что приглашают меня, пока я — здесь, но именно по этой причине я не могу никуда поехать» (297). При новом аббате всё изменилось. Ничто не мешало ему стать странствующим отшельником, никто не говорил «нет». Он долго этого ждал и теперь — радовался, но и тревожился.

Я думаю об Азии

*У меня — свой путь, и, куда бы я ни шёл,
мне посреди дороги попадается дзен.*

Среди приходивших приглашений не было ничего серьёзного, но в начале 1968 года одно упало прямо с неба — Мертон звали в Бангкок на конференцию траппистских и бенедиктинских аббатов. В конце марта он сказал дом Флавиану, что хотел бы поехать, а по пути — посмотреть Азию и «места, связанные с традицией дзен». Аббат поколебался и дал согласие (298).

Ещё пятнадцатилетним школьником Мертон мечтал об Азии и защищал Ганди на школьных диспутах. Спустя семь лет, в Нью-Йорке, он встретил индусского монаха Брамачари, и тот глубоко его поразил. В ту же пору он зачитывался Кумарасвами, который писал об искусстве и аскезе. Работая над диссертацией об Уильяме Блейке, он открыл для себя Чунань Цу, слагавшего саги и жившего за несколько веков до Христа.

В конце 50-х годов Мертон снова обратил взоры к Азии. В 1956 году он стал читать Судзюки, японского учёного и дзен-буддиста. Ещё через три года они стали переписываться, и Мертон признавался ему, что, честно говоря, плохо разбирается в дзен,

Скорее уж он мне брат, чем те, с кем я связан расой или национальностью, ведь мы одинаково смотрим на вещи. ..Делайте для него всё, что можете. Если я что-то для вас значу, разрешите сказать так. Делайте для Нхата то же, что сделали бы мне, окажись я на его месте. Я хотел бы на нём оказаться, во многих отношениях.

«Вера и насилие»

Когда Чуань Цу был при смерти, его ученики готовили роскошные похороны.

Но он сказал: «Небо и земля будут мне гробом; солнце и луна будут украшениями из яшмы. ...Чего ещё желать?»

Ученики же ответили: «Мы боимся, как бы вороны и коршуны не съели нашего Учителя».

«Что ж, — сказал Чуань Цу, — на земле меня съедят вороны и коршуны, под землёй — муравьи и черви. Так и так съедят. Чем для вас хуже птицы?»

«Путь Чуань Цу»

Судзуки, этих мастеров дзен ранней Церкви.

Судзуки так и не добрался до Гефсимании, но в 1964 году был в Нью-Йорке, и Мертон с позволения аббата ездил с ним встретиться. Девяносточетырёхлетний глухой, но очень живой старик оправдал его надежды. Они пили зелёный чай и беседовали. «Как прекрасно я понимал этого необычного и простого человека, чьи книги я так жадно читаю уже с десятков лет», — удивлялся Мертон. Судзуки рассказал ему, как один великий мастер видел сон: его мать явилась ему с двумя зеркалами — по одному в каждом из рукавов. Одно было чёрное, в другом отражалось всё, что только есть. Выглядывал оттуда и сам мастер. С Судзуки и мисс Окамура, его помощницей, Мертону казалось, что он ненадолго попал домой. Они напомнили ему друзей из Кентукки, Виктора и Кэролайн Хаммеров, особенно тесно связанных со Святой Софией (300).

Эссе Судзуки пробудили в Мертоне интерес к Чуань Цу. В 1961 году, когда он готовил к изданию «Путь Чуань Цу», ему помогал Джон Ву. «Не помню, чтобы какая-нибудь работа так меня радовала. ... Я люблю Чуань Цу просто за то, что он — такой», — писал Мертон в предисловии.

но очень многим обязан лично ему, Судзуки. «Читая Ваши книги, я снова и снова слышу, как что-то говорит во мне: “Вот оно!” Не спрашивайте, что именно. Я никому не хочу этого объяснять. ...Но оно — тут, во всей своей прекрасной бесцельности» (299). Мертон спрашивал, не собирается ли Судзуки в США, и если да, то сможет ли заглянуть в Гефсиманию? На этот случай он уже заручился благословением аббата. Не преминул он и послать Судзуки изречения отцов-пустынников, этих мастеров дзен ранней Церкви.

В мае 1967 года, когда Мертон тосковал по Марджи, к нему приехал буддийский монах из Вьетнама, мастер дзен и поэт Тич Нхат Хан. Вместе с Джоном Хайдбринком из Братства Примирения он пробыл в монастыре два дня. Мертону казалось, что он повстречал живого Чуань Цу. Он понял, что и они с Нхат очень похожи. Когда эти монахи беседовали, их религиозные системы как бы не имели значения. «Нхат Хан — мой брат, — говорил Мертон, работая над предисловием к книге о вьетнамской войне. — Скорее уж он мне брат, чем те, с кем я связан расой и национальностью, ведь мы одинаково смотрим на вещи». Когда Мертон спросил Нхата, что делает с Вьетнамом война, тот просто ответил: «Всё разрушено». Вот ответ монаха, говорил Мертон на своей воскресной лекции, — самая суть, без лишних слов. Он рассказал о суровой школе, которую проходят монахи во Вьетнаме, и о том, что медитации их учат далеко не сразу. «Прежде чем учиться медитации, — говорил он, ссылаясь на Нхата, — ты учишься затворять дверь». Монахи засмеялись: они давно привыкли к тому, как грохочут дверями опоздавшие на службу.

В 1967 году Дан Берриган предлагал Мертону поехать во Вьетнам «заложником мира», живым щитом — туда, где он, вряд ли упадут бомбы. Мертон этой идеей загорелся. Но ничего не вышло.

Целых 15 лет Мертон много читал об Азии, много писал о ней и рассказывал. И вот представился случай там побывать. Он даже выяснял, нельзя ли туда переселиться, устроив скит где-нибудь в Гималаях. Дом Флавиан не возражал против того, чтобы монахи, не порывая с Гефсиманской обителью, жили за её пределами, но всё-таки в США.

Мертону уже не казалось, что их монастырь достаточно затерян; иногда он чувствовал, что живёт у самого перекрестья

Что движет всей этой машиной глупости во Вьетнаме, безумно дорогой и нелепой? Одержимость американцев мифом «ноу-хау» и стремление к всемогуществу. Стоит лишь поставить это под вопрос, как мы готовы пойти на всё, да, на ВСЁ, лишь бы утихомирить сомнения. ...Теперь мы узнаём, как жесток и неправдоподобен этот миф. Вьетнам — сеанс психоанализа для США.

«Скрытые основания любви»

оживлённых трасс. В апреле, буквально за два дня до убийства Мартина Лютера Кинга, к нему неведомо откуда явилась женщина и представилась Женой из Откровения («странноватая апокалиптическая дама», — записал он в дневнике). Таких посетителей, непрошенных и незнакомых, было немало. У него были все основания опасаться, что, останься он в этой стране, где многие вооружены, к нему в один прекрасный день явится незваный посетитель с винтовкой. На всякий случай между скитом и монастырём провели телефон.

Ему становилось тяжело жить в США. Как писал он другу-бенедиктинцу в Бельгии, Жану Леклерку, «меня до некоторой степени объединяют с обществом, которое, я думаю, судит Бог за преступления во Вьетнаме, и, в каком-то смысле, оно под проклятием». Он не скрывал, что снова думает, не уехать ли в Никарагуа или в Чили, где есть небольшие общинки. И всё же ему представлялось, что нечестно бросать принявшую его страну. «Если это общество — под судом, я тоже пойду под суд. В конце концов, чем я лучше других? Творится великий грех. Мы все повинны в преступлениях против человечности» (301).

6 мая Мертон улетел на Западное побережье, в Калифорнию, где был траппистский монастырь Девы Марии. Там, в Эвреке, он прочёл несколько лекций для монахинь и искал, нет ли в окрестностях подходящего места для одного или нескольких скитов. Больше всего ему понравилась Медвежья гавань, хотя там было слиш-

Я с теми, кого жгут, режут на куски, пытаются, держат в заложниках, травят газом, уничтожают. Их бьют обе стороны. Встать на сторону силы — значит восстать против невинного. Я — с теми, кто устал от войны и хочет мира, чтобы отстроить свою страну.

«Вера и насилие»

ком много машин (302). 15 мая он приехал в Сан-Франциско. Его друг по переписке, поэт Лоуренс Ферлингетти, держал там книжный магазин «Огни большого города». Мертон купил авангардистских стихов, а потом они с хозяином обедали. На обратном пути Мертон сделал остановку в Нью-Мексико,

чтобы навестить монастырь Христа в Пустыне, расположившийся в каньоне неподалёку от Абикуьюи. Жили там всего три монаха, один из них — в скиту. Они подарили Мертону для его часовни индейский коврик. Он не был в Гефсимании всего двенадцать дней, но уже тосковал. Вернулся он 21 мая.

Почти сразу пришло известие о том, что Дан Берриган, его брат Фил и ещё семь человек осуждены за поджог ящиков со списками призывников в Катонвиле (штат Мериленд). Все они получили по шесть лет тюрьмы. Сердцем Мертон был с ними, хотя сочувствовал не мятежу, а символическому акту. Он снова думал о том, чего ещё потребует от него война во Вьетнаме. «Шесть лет! ...Сколько же мне самому осталось гулять на свободе? Вероятно, до тех пор, пока я не приложу особых стараний, чтобы попасть за решётку (что они и сделали). Я не преступал закона, да. Но в один прекрасный день мне придётся пойти на это» (303).

Америка походила на стрельбище. Убили Мартина Лютера Кинга. В Луисвилле вспыхивали расовые бунты. Рабочие на фермах попытались образовать союз, но их посадили, а в Калифорнии — избивали прямо в полях. 5 июня в Лос-Анджелесе был убит Роберт Кеннеди. Статья Мертона «Вера и насилие», опубликованная в июле, пришлась как нельзя кстати.

28 июня Мертон начал сборы к декабрьской поездке в Азию и отправился в Луисвилль разузнать о прививках и визе. Дом Флавиан, как ни странно, сочувствовал его планам и не держал его на привязи. Он даже предложил ему подумать о том, не устроить ли небольшую колонию отшельников где-нибудь на Западном побережье. «Теперь всё открыто для меня, — писал Мертон в дневнике 5 июля. —

Меня пригласили на две встречи в Азии — настоятелей тамошних католических орденов и представителей разных азиатских религий. ...Сколько я там пробуду, неизвестно. Конечно, в этом нет ничего необычного для монаха. Прошу Вас, молитесь, чтобы всё было хорошо. И пожалуйста, не верьте слухам, что бы они ни прибавляли к этому простому сценарию.

«Окружное послание» друзьям.
Осень 1968 года

Я могу ездить куда хочу. Иногда я просто в это не верю». Молитвенная его жизнь была в расцвете.

Он всё больше думал об Азии. Вот несколько строк из его стихов: «О, горы Непала, / тигры и лихорадки, / беглые бандиты со всего мира / и беглые трапписты, / затеряны, забыты...» (304)

В конце июля Мертон получил приглашение от экуменической группы «Храм понимания». Его просили выступить на конференции в Индии. Ещё через две недели архиепископ Джозеф Райан из Анкориджа на Аляске прислал письмо, приглашая провести с монахинями созерцательного монастыря духовные упражнения. Мертон с радостью принял оба приглашения. Отец Флавиан сказал, чтобы он поискал на Аляске подходящие места для скита, в Индии позволил встретиться с тибетскими буддистами, и даже с Далай-Ламой. По дороге Мертон хотел заехать в монастыри, где недавно побывал. В Санта-Барбаре он собирался повидать своего старого друга Пинга Ферри и выступить в Центре изучения демократических институтов.

В августе ему казалось, что он прощается с Гефсиманией, а может, и с Америкой. «Через восемь недель мне уезжать. Кто знает, вернусь ли я? Нет, дурных предчувствий у меня нет». Место для скита могло найтись и в Калифорнии, и на Аляске, и даже в Азии; он мог там остаться. «Мне и в самом деле не важно, вернусь ли я, — писал он в дневнике, перечисляя, сколько кругом машин и оружия, как лают в лесу собаки, кишат у озера дети. — Если я найду место, где смогу исчезнуть, то останусь там. Если придётся странствовать, не имея постоянного пристанища, — что ж, и это можно» (305).

Собираясь в дорогу, он ездил с Фрэнком О'Каллаганом в Луисвилль, чтобы купить сумки и костюм, который быстро сохнет.

К началу сентября всё, связанное с путешествием, было окончательно улажено, кроме разве что встречи с Далай-Ламой. Теперь, когда отъезд стал неминуем, Мертон испытывал смешанные чувства. Его снова манили монастырские поля. Он нервничал, не находил себе места. Пошли какие-то волдыри,

обострилась аллергия. Друзьям он оставил письмо, в котором извещал их, что скоро отправится в Азию и поездка эта никак не связана с политикой и войной во Вьетнаме.

9 сентября к Мертону в скит пришёл брат Патрик Харт, который недавно стал его секретарём. Он только что вернулся из Рима и привёз от Папы Павла подарок его любимому писателю — прекрасный бронзовый крест. Секретарь должен был жить в скиту, пока Мертон путешествует. Вместе с ним пришли брат Морис Флад и Фил Старк, семинарист-иезуит, помогавший Мертону в работе над «Монашеским прудом». Они вместе позавтракали, потом попрощались. Мертон оставил для Джеймса Лафлина набросок длинных, но не законченных стихов.

«Надеюсь, — писал он в дневнике, — найти [в Азии] что-то или кого-то, что (или кто) поможет мне в духовных поисках». Возвращаться или нет, он заранее не решал. «Я остаюсь монахом Гефсимании. Не знаю, где я окончу дни, здесь или где ещё, не так уж это важно. Главное — правильно ответить на волю Божию в этом промыслительном путешествии, что бы оно ни принесло».

На следующее утро Мертон обещал настоятелю хорошо себя вести и избегать прессы. Тот дал ему денег на дорогу и вернул старый лондонский бумажник, подаренный ещё Томом Беннетом к его во-

*Я поселюсь
На высоте колокольной,
Мысль устремив
Туда, где поёт Лучший из лучших.
Стану, как шпиль, отражать
вспышки зарниц,
Освобожусь
От всего,
Что хочет меня поймать.*

*Зима пугает
Седыми узорами окон,
Дразнится в зеркалах,
И море сковано страхом.*

*Летят потерянно птицы
Над выжженной землёй.
— Нет в мире надёжных домов, —
шлёт иволга телеграмму.*

*Устрою гнездо
В конверте с неверным адресом
И без марки,
Обгоню эти стихи
И спасу
Лучшую из свобод.*

«Телеграммы Лучшему»

*Настоящая дорога — это дорога
вглубь. Идя по ней всё дальше,
мы растём; любовь и благодать
поселяются в сердце и заново
творяют нас. Нет ничего важнее,
чем откликнуться на призыв
творить.*

«Окружное послание»
друзьям. Осень 1968 года

семнадцатилетию. Рон Зейц, поэт из Луисвилля, преподававший в колледже св. Роберта Беллармина, заехал за Мертоном в 10 утра и помог купить в городе таблетки от аллергии и пару ботинок. У О'Каллаганов Мертон принял душ и посидел за прощальным обедом. Ночь он провёл в студенческом городке

Беллармин-колледжа, в общине св. Бонавентуры.

Утром он вылетел в Альбукерк, где была первая остановка на пути в Азию.

Всё — сострадание

Чертог инь-ян, соединение противоположностей! (306)

В Нью-Мексико главным событием для Мертон был закрытый для публики индейский праздник. Длился он два дня, чужих туда не пускали, но «святому человеку» позволили прийти и даже сделать несколько снимков. 16 сентября он вылетел в Чикаго на конференцию в монастыре кларисс, а оттуда, ещё через два дня — на Аляску, провести реколлецию с насельниками монастыря Драгоценной Крови. Местный епископ повозил его по окрестностям, чтобы он поискал место для скитов.

27 сентября Мертон на углу самолётки добрался до Якутата, деревни индейцев племени тлингит. Ему очень понравилось расположенное неподалёку озеро Ияк — тихое, окружённое горами, полное диких гусей. Он написал дом Флавиану, что мог бы обосноваться там, хотя почтовый адрес не решит его судьбы. «Мне важно не то, обрету ли я место и найду ли идеальное одиночество. Я хочу раскрыть глубины своего сердца. Всё прочее — вторично» (307).

Когда 2 октября Мертон прилетел в Сан-Франциско, его встречала Сюзен Буторович со всей своей семьёй. Они вместе пообедали, а потом Мертон пошёл ночевать в гостиницу. Наутро он уже вылетел в Санта Барбару, где его ждал Пинг Ферри. Через несколько дней он послал аббату открытку с видом своего номера,

Неужели я вернусь, не решив главного, не найдя великого сострадания, таһакагипа? ... Я еду домой, туда, где ещё не бывал наяву...

«Азиатский дневник»

Пока я не понимал дзен, горы были всего лишь горами, реки — всего лишь реками. Когда я начал его постигать, я увидел, что горы — не горы, а реки — не реки. Когда же я его постиг, горы стали просто горами, а реки — просто реками.

«Дзен и голодные птицы»

ярко-розового, где стояла поистине царская кровать, и написал: «НЕТ! На НЕЙ я не спал!»

В Центре исследования демократических институтов Мертон должен был прочитать лекцию и участвовать в обсуждении; всё это устроил Пинг Ферри. Центр

считался прекрасным местом для дискуссий и исследований, хотя и немного левым. Выступая там, Мертон критиковал радикальные тенденции в христианстве с их тягой к «революционной мистике», словно всё остальное ничего не значит. Он говорил, что призван углубляться в Предание, в традицию. «Мне посчастливилось приобщиться к ней. Теперь у меня есть кое-что за душой, и я двигаюсь дальше. ... Человек не может делать два дела одновременно, а это я делать могу». Он отвергал обновление, которому важнее улучшить завтрак, чем «вернуть утраченные глубины смысла» (308).

Через несколько дней, в Санта Барбаре, Пинг Ферри повозил его по берегу. «Каким он был, когда вы видели его в последний раз?» — спросил я Пинга в декабре. «Как ребёнок, который собирается в цирк», — ответил тот.

9 октября Мертон приехал на трёхдневную конференцию в редвудский монастырь Девы Марии. В этот, второй приезд в Калифорнию он убедился, что для скита подходящих мест там нет — в разгаре был земельный бум, повсюду сновали бульдозеры.

Ещё через шесть дней, пролетая над Тихим океаном, Мертон писал в дневнике: «Неужели я вернусь, не решив главного, не найдя великого сострадания, *mahakaruna*?» (309)

В Токио Мертон пересел на другой самолёт и 16 октября прибыл на два дня в Бангкок. Дикие, грязные, забитые мотоциклами и автобусами улицы неприятно поразили его. Люди, впрочем, показались «милыми, красивыми, тихими — кроме тех, кто слишком быстро учится у американцев» (310). Миновав шумный центр, он добрался до места, где жил Фра Хантипало — англичанин и буддий-

ский монах. Тот очень походил на «ревностного хранителя правил», но оказался весьма здравомыслящим. Они говорили о «Сатипаттхана Сутра», рассуждениях Будды о трезвении (311).

Мертон отслужил Мессу в храме и поехал за город — посмотреть один из древнейших буддийских храмов, Фра Патхом Чеди.

18 октября он приехал в Калькутту, в «Храм Понимания», где происходила «духовная встреча на высшем уровне», но увидел вокруг такую нищету, что и думать не мог среди нищих об экуменическом диалоге. Он, монах, давший обет нестяжания, чувствовал себя богатым американцем, стыдился денег в кармане, фотоаппарата на шее и не решался рта открыть, пока не нашёл Амию Чакраварти — учёного, которому посвятил книгу «Дзен и голодные птицы». Встретил он и тибетского ламу в изгнании, чьи рассказы о бегстве от китайской Красной Армии так потрясли Мертона, что он говорил о нём в последней своей лекции за день до смерти.

В Калькутте было много монахов; видимо, поэтому ему стало жалко, что он покинул монастырь, не попросив прощения у дом Иакова, который жил отшельником в автоприцепе. 20 октября он написал старому аббату, что «никогда не обижался» ни на какие ограничения, «потому что знал, что Вы поступаете по совести, делая то, что считаете нужным».

Выступая 23 октября в Калькутте, Мертон защищал всех тех, кто умышленно шагает не в ногу, в том числе — монахов. Он говорил о том, что из-за нынешних нестроений в монашестве «многие непреходящие ценности... безответственно отвергают», и надеялся, что на Востоке дела обстоят лучше. «Я, собрат с Запада, скажу монахам Востока: будьте осмотрительны. ...Верность традиции спасёт вас. Не бойтесь быть верными».

Нищие просто разбивают сердце — у окошка такси неведомо откуда появилась маленькая девочка, совершенно очаровательно улыбнулась, протянула руку, и глаза её погасли, когда она отдернула её пустой. (У меня ещё не было индийских денег.) От машины она отходила, словно тонула, погружаясь в воду, а мне хотелось умереть.

«Азиатский дневник»

Докладчики много говорили о конвергенции и религиозном единстве. Своё слово сказал и Мертон. Он считал, что единства не достигнуть в разговорах. «Самый глубокий уровень общения — не само общение, а сопричастность. Она не требует слов. Она — за словами, за речью, за понятиями. Мы не открываем сейчас новой общности, она уже есть. Дорогие братья, мы уже едины, но думаем, что этого нет. Вот и надо открыть первоначальное единство. Надо быть теми, кто мы на самом деле» (312).

На следующий день Мертон получил телеграмму из Дхарамсалы, где жил Далай-Лама. Его приглашали туда.

В Нью-Дели он прилетел 27 октября. По поручению Далай-Ламы его встречал американец Гарольд Толбот, с которым они переписывались. Тот изучал буддизм. Они вместе посмотрели тибетские «иконы», а потом зашли в местную общину беженцев. Мертону очень понравилось, как тибетцы смеются — все звуки сливались в какую-то звонкую икону. «Глубокий звук обновляет жизнь, отгоняет ухмылку смерти (неведение). Он исходит из пустоты, он глубок и чист. Он омывает нас неслышным рёвом древнего ледника, пожирающего скалы» (313).

31 октября Мертон и Толбот уехали ночным поездом в Патанкот. Мертон вспоминал, как он в 1941 году ехал в Кентукки и не заметил дороги. На следующий день они петляли на джипе, взбираясь в Гималаи, пока не добрались до домика, где жил Толбот. Прервав дождь, Мертон пошёл пешком, чтобы вкусить «прекрасной тишины», и явился тибетцам с чётками в руках. Из долины, за два километра, долетали звуки пастушьей дудки. Давал о себе знать и

Размышляю о своей жизни и о будущем. Вопрос ещё совсем открыт. Я ценю свой скит в Гефсимании больше, чем прошлым летом, когда мне казалось, что кругом слишком шумно и многолюдно.

«Азиатский дневник»

мир насилия: если до Гефсиманского скита докатывались залпы Форт-Нокса, то здесь слышалась дальняя трескотня ружейных выстрелов.

На следующий день один из тибетских лам, Сонбам Кази, учил Мертона мандале, методу

внутреннего контроля при медитации, и объяснял, что такое Путь Дзогчен (Великий Путь Всеохватности). Мертон пришёл в восторг, когда узнал, что монах по-тибетски — трапас, почти «траппист».

Далай-Лама и Мертон встретились 4 ноября. Беседо-

вали они об иллюзиях, ложных представлениях, метафизике и идеальном обучении. Далай-Лама предложил встретиться через два дня, хотя поначалу об этом речи не было. На Мертона необычный собеседник произвёл большое впечатление: «очень интересный человек... сильный, живой... крупнее, чем я ожидал... очень крепкий, энергичный, щедрый, горячий... харизматичный» (314).

Назавтра произошли два небольших землетрясения. Мертон подумал о том, что в Америке — выборы. Ночью ему снилось, что он вернулся в Гефсиманию не в траппистском облачении, а в одежде дзенского монаха здешних, тибетских цветов — чёрно-красно-золотой (315).

В другой раз ему приснилось, что он там, где родился, на юге Франции. 6 ноября Мертон обсуждал с Далай-Ламой теории познания и методы сосредоточения. Он говорил о том, как важно монаху быть для мира «живым примером свободы и иного сознания, которое возвращает медитация». Он знал, что ламы, подчёркивая сострадание, не одобряют практики полного одиночества; оно, по их мнению, только готовит к соучастию. Ещё они обсуждали загадку ума, сосредотачивающегося на самом себе и где-то в глубине осознующего это. Беседа была оживлённой. Далай-Лама «настаивал на свободе от привязанностей, на “неотмирной жизни”, но считал, что всё это лишь помогает проникнуть в проблемы жизни и мира и полнее участвовать в них». Мертона поразило то, как неспешно, шаг за шагом входил он в предмет разговора. Они договорились встретиться и в третий раз, ещё через два дня (316).

Далай-Лама — сильный, живой, крупнее, чем я ожидал... очень крепкий, энергичный, щедрый, горячий... Последовательно мыслит, входит в предмет разговора шаг за шагом. Его мысли о внутренней жизни очень основательны.

«Азиатский дневник»

Думаю, не стоит совсем расставаться с Гефсиманией, пусть даже я буду там только числиться. Наверное, там я и кончу свои дни. Я скучаю по своему монастырю. Дело вовсе не в том, что мне хочется «уйти из него». Об этом я и не помышляю. Теперь, издали, я ещё больше люблю свой монастырь и вижу его в ином свете.

«Азиатский дневник»

Идеальный образ святости, говорил он, — не царь (он прежде всего спасает себя) и не лодочник (он переправляет людей к спасению и сам причаливает к берегу), а пастух, который идёт позади стада и не будет спасаться, пока не спасутся все.

На третьей встрече Далай-Лама хотел понять, что значат для монахов обеты и как западные монахи освобождают ум от плена страстей. Почему они не едят мяса? Пьют ли они вино? Смотрят ли фильмы? Мертон спросил, что Далай-Лама думает о марксизме и монашестве; он собирался говорить об этом в Бангкоке. Есть ли что-то общее между буддистской диалектикой и марксистской концепцией отчуждения? Как монаху говорить с марксистом? Далай-Лама ответил, что разговор между верующим и марксистом возможен, только «если марксист понимает своё учение как социальное и политическое» и не считает религию служанкой светской власти. В реальной жизни воинствующие атеисты совершенно не способны ни на какие компромиссы, они просто искореняют, «подавляют всякую религию, и в плохой и в хорошей её формах». Мертон поразилось, что Далай-Лама говорил о коммунизме без всякой горечи. «Не часто видел я людей, с которыми так быстро находил общий язык», — писал Мертон дому Флавиану (318).

Встречался Мертон и с тибетскими монахами, каждый из которых жил в своём горном домике. «То, что было для меня в пятницу грубой неприметной горой, усеянной домиками, скалами, перелес-

На другой день Мертон писал в дневнике, что созерцательная жизнь должна вести к ощущению *temps vierge* — «непорочного времени»: не чистого листа или земли, которую нужно покорить, но времени, просветлённого состраданием (317). С бывшим китайским пленником они говорили главным образом о любви и сострадании.

ками, фермами, стадами, пропастями, обрывами и вершинами, обрело духовный смысл из-за монахов, этих средоточий трезвения, которые горят, словно лампы, ровным и осмысленным светом, напоминая нам о дхарме. ... В центре всего — зрячий, звонкий, пробудившийся, крепкий, трезвенный, неветшающий, незатуманенный Будда» (319).

Вернувшись из Дхарасаламы, Мертон и Толбот провели в Нью-Дели субботу и воскресенье. Они посетили обсерваторию XVIII века, встретились с камбоджийским монахом и побывали в мусульманском колледже. Мертон служил Мессу в местной больнице и готовился к бангкокской лекции. Денег не хватало — «всё извёл на марки!».

К приезду в Калькутту Мертон достаточно долго был в Индии, чтобы разглядеть не только её нищету, но и красоту. Само убожество города показалось ему благородным. Он примечал пруды и лотосы, коммунистические лозунги на стенах, буйволов и священных коров, рикш и киноафиши; только его старого друга Брамачари найти не удалось. Город уже не казался ему бесцветным. Городской шум как будто стал тишиной. «Начинаешь смутно думать, что для здешних жителей нет суда, с них хватит нищеты. Мало того, они сами — суд всему остальному миру» (320).

12 ноября Мертон и Толбот улетели в Дарджелинг, горную часть Индии, запрятанную между Непалом, Сиккимом и Бутаном, где выращивают чай. Они остановились в отеле «Уиндомер». Мертон лечился от простуды чаем, ужасаясь ценам на западные лекарства. На следующий день, ещё не поправившись, он служил Мессу в женском монастыре Лоретской Божьей Матери. Потом искал тибетских беженцев и нашёл их — они хранили верность религии, за которую

В беседе [с Чатрал Римпоче] оказалось невысказанным или высказанным наполовину вот что. Каждый из нас увидел в другом человека, стоящего на пороге великого прозрения, знающего об этом и пытающегося (так или иначе) выйти из своего «я» и затеряться в нём. Как благодатна была наша встреча!

«Азиатский дневник»

были изгнаны, а зарабатывали на ковровых фабриках и в ковровых мастерских.

16 ноября Мертон встретился с ламой, очень похожим на староро крепкого крестьянина. Он оказался величайшим из римпоче, которых Мертон встретил в Индии (321). Они проговорили целых два часа, прекрасно понимая друг друга, — как люди, стоящие «на грани великого прозрения». Лама сказал, что Мертон — «прирожденный Будда», и очень удивлялся, что смог так быстро найти общий язык с христианином. Не обошлось и без смеха. «Останься я жить с тибетским гуру, — заметил Мертон, — я выбрал бы именно его». Прощаясь, они пообещали друг другу, что попытаются достичь в этой жизни полного осуществления (322).

Четыре дня Мертон отдыхал в тихом бунгало на чайной плантации, размышляя о том, нашёл ли он «настоящую Азию». Он так и не знал, где ему осесть после паломничества, и склонялся к тому, чтобы окончить дни в Гефсимании. «Воспитанная гималайская пчела-непротивленка» несколько раз садилась на него, но не ужалила. Мертон дал ей поползать по голове, собрать пота «для каких-нибудь искрящихся нежных сот».

Вдали виднелась одна из самых высоких гималайских гор — Канченджунга. Сначала она раздражала Мертона — «28000-футовая открытка», но скоро он обнаружил в ней то, чего на открытках не увидишь, — скрытую гору, «чертог инь-ян, соединение противоположностей». Сфотографировать её нельзя. Краса её не видна, «пока ты не согласишься с немислимым парадоксом» — гора есть, и её нет. «Гору ВИДНО, когда рассеивается туман идей и говорить больше не нужно» (323).

Вернувшись 21 ноября в Дарджелинг, Мертон отслужил Мессу в женском монастыре. Потом его попросили выступить, и он говорил об издержках церковного обновления на Западе. «Мы мечемся, и религиозный гений Азии, её религиозная культура нужны нам, чтобы в нас не пропала глубина. Я бы даже сказал, что нам не хватает сердца, бхакти, любви» (324). Мертон встретился и с другим римпоче, который жил отшельником в центре Сонады и поразил

его мягкостью своих речей. Они долго проговорили об отшельнической жизни — о духовной её сердцевине, о методах и предметах медитации, о её распорядке. Лама сказал Мертону, что у того «подлинный дух Махаяны» (325). (Махаяна — буквально «Великая Колесница Освобождения» — ответвление буддизма, которое особенно подчёркивает сострадание и всеобщее спасение.)

По пути в Калькутту Мертон встретил некоего Джона Балфура, который помнил об этой встрече и много лет спустя. Его поразило лицо Мертона — сияющее, очень ясное, «умытое» лицо, какое бывает у «великих тайновидцев» (326).

Теперь Калькутта стала «городом, который я люблю». Развалюхи и трущобы, конечно, остались, но город уже не казался ему блёклым — белые журавли и зелёные кокосовые пальмы красили его. Пробыв там совсем недолго, Мертон отправился на юг Индии, в Мадрас.

27 ноября он посетил собор св. апостола Фомы, своего тезки, который дошёл до Азии и скончался там. Потом он отслужил Мессу в церкви Владычицы Упования на горе св. Фомы и зашёл по соседству в приют для подкидышей. Неподаляку на берегу океана стоял *lingam* — фаллический символ из чёрного камня. За долгое время набегавшие волны выгочили на нём что-то вроде мужчины и женщины. На следующий день Мертон пошёл посмотреть святилище Маха-балипурам, расположенное на берегу, и среди храмов, покрытых барельефами прекрасных богов и пышнотелых богинь, ощутил древнюю Индию, не знавшую британского владычества.

29 ноября он прибыл в Колombo и сразу же попал в самую

Ступая по мокрой траве и песку, я подхожу к Буддам, босым и безмятежным. Ощуцаю тишину этих необыкновенных лиц. Вижу великую улыбку — огромную и едва уловимую. В ней всё возможно, она ни о чём не спрашивает, всё знает, ничего не отвергает, она полна мира — не холодного, но срединного мира мадхьямика, шуньявада, который разгадает любую тайну, не ставя под сомнение никого и ничего, не опровергая, не приводя доводов. Этот мир и эта тишина страшат доктринёров, чей ум нуждается в крепко обоснованных положениях.

«Азиатский дневник»

гущу событий: город кишел бастующими, полицейскими, солдатами. Оставив вещи в отеле «Карма», он пошёл в американское информационное агентство, думая, что ему помогут найти местных специалистов по буддизму. Директор, Виктор Стер, оказался большим поклонником Мертона и в это самое время читал его «Догадки виноватого наблюдателя».

На следующий день, рано утром, в купе второго класса, специально предназначенном для клириков, Мертон отправился в глубь Шри-Ланки. В Канди он остановился в отеле, прямо напротив церкви, которая вполне могла бы стоять где-нибудь в Сассексе, если бы не кокосовые пальмы. В ближайшем пригороде, в джунглях, располагался монастырь, в котором подвизался Нианапоника Тхера, *bhikhu* («монах» на санскрите; происходит от слова, которое значит «нищий», «попрошайка»). Мертон поехал к нему, и они дошли до ближнего храма. Там его больше всего поразила вытесанная в скале древняя статуя Будды, которая выростала прямо из земли.

Венцом его поездки в Шри-Ланку, очень важным для него событием стало посещение Поллонарувы, древнего разрушенного города на северо-востоке. Было это 3 декабря. Паломники стекались сюда, к вытесанным из камня гигантским Буддам. Самой знаменитой, пожалуй, была статуя спящего (или умирающего) Будды. Мертон смог в одиночестве побродить среди громадных фигур — священник, который его привёз, не захотел соприкоснуться с язычеством и остался в машине. Потрясён Мертон был так, что написал обо всём этом только через три дня.

«Внезапно, почти насильно, одним резким толчком поменялся мой привычный, довольно скованный взгляд на вещи — и внутренняя чистота, ясность, словно вырвавшись из камней, стали мне видны. Как странно очевидна фигура возлежащего, его улыбка, и горькая улыбка Ананды, который стоит, скрестив руки (так просто, так прямо, что улыбка эта куда «повелительней», чем у Монны Лизы). В том-то и суть, что здесь нет ни загадки, ни проблемы, ни «тайны». Все проблемы разрешены, всё ясно, поскольку ясно главное. Скала такая живая, такая материальная, заряжена Дхармакайей

[природой Будды, если под Буддой понимать всякого, кто полностью пробуждён, всецело живёт в реальности и совершенно свободен от иллюзий]. ...Всё — пустота, и всё — сострадание. Не припомню, когда мне случилось так сильно ощущать красоту и духовную ценность сразу, в едином эстетическом прозрении. Конечно, теперь, после Махабалипурама и Поллонарувы, всё в моей поездке встало на свои места и очистилось. Я знаю теперь и видел то, что ощущаю в ней искал. Не знаю, что мне ещё остаётся, но это я видел, я прорвался сквозь поверхность, проник за тень, за личину. Вот она, Азия, во всей её чистоте, не заваленная хламом (азиатским, европейским или американским). Она — ясна, чиста и совершенна. Ей ничего не нужно, она сама говорит обо всём. Поскольку ей ничего не нужно, она позволяет себе молчать, оставаться не приметной и неизведанной. Она не нуждается в том, чтобы её открывали. Это нам (в том числе — азиатам) нужно её открыть» (327).

Иона под покровом

...Спросим себя, не собираемся ли мы следующие двадцать лет тащить за собой тибетских яков?

Приехав в Сингапур 4 декабря, Мертон остановился в отеле «Раффлз». На 15 декабря он заказал билет в Джакарту, куда собирался отбыть сразу после конференции аббатов и настоятелей. Рождество он хотел встретить в Рава Сененг (Мирная Топь), траппистском монастыре на Яве, а оттуда перебраться в Гонг-Конг, к траппистам острова Лантао.

В Бангкок он вернулся 6 декабря. Как было и с Калькуттой, город показался ему другим. В первый приезд он был ошеломлён шумом и грязью, теперь поражался играющим детям, обилию фруктов, риса, мяса, бутылок, лекарств, ботинок, машин, огней и безделушек. Зашёл в легендарный храм изумрудного Будды — величественный, причудливый, где

Пришёл авва Лот к авве Иосифу и говорит: «Отче, я как могу исполняю своё скромное правило — в меру пощусь, молюсь, размышляю, предаюсь молчаливому созерцанию, по мере стараясь очистить сердце от помыслов. Что мне ещё сделать?» Старец поднялся, воздел руки к небесам, и его пальцы сделались как светильники. И он сказал: «Стань весь как огонь».

«Мудрость пустыни»

камни истёрты ногами бесчисленных туристов, а стены слегка поблёкли от фотовспышек. «Во всём этом есть что-то от Дисней-ленда, — писал он в дневнике, — по-моему, они часто теряют меру» (328).

8 декабря, в праздник Непорочного Зачатия, Мертон сделал последнюю запись. Он отслужил Мессу в церкви св. Лю-

довика и перед тем, как отправиться в конференц-зал Саванг Каниват (Красный Крест), пообедать в Апостольской миссии.

Место, где должна была состояться встреча, называлось Самутпракан и находилось в двадцати девяти милях к югу от Бангкока. Мертон приехал туда во второй половине дня и поселился на первом этаже второго коттеджа.

Конференция началась на следующий день приветственным словом Верховного Патриарха Тайского буддизма. Вечером обсуждали брак и целибат.

Мало кто из монахов выспался той ночью. Коты высыпали на соседние крыши и затянули свою ночную службу. Их нарастающий вой чередовался со смехом, раздававшимся из комнаты Мертона (329).

Наутро Мертон делал доклад на тему, над которой размышлял уже несколько недель: «Марксизм и перспективы монашества». Откуда-то появились датские телевизионщики, которые хотели снять его выступление, и он волновался: ведь аббат просил избегать прессы.

Монаху нужно найти своё место и самого себя в мире революций, говорил Мертон, и это — ключевая проблема для современного монашества. Дело не просто в том, чтобы перебороть врага, который хочет разрушить веру или отвратить от неё. Нужно понять, в чём сходны марксизм и монашество и в чём — различны, выйдя за рамки привычных моделей.

Мертон признавал, что сходства есть, и очень важные. В конце концов монах «по сути своей — тот, кто занимает критическую позицию по отношению к миру и его устоям ... [объявляя], что всё, предлагаемое миром, — обман». Кроме того, и монах и марксист

Вот, наверное, о чём буддизм, и о чём — христианство, и о чём — монашество, если толковать их в понятиях благодати... Мы не можем больше полагаться на структуры, которые вот-вот рухнут. ... У дзен-буддистов есть поговорка: «Куда идти с тридцатифутового шеста?»

Из последней речи Мертона.
«Азиатский дневник»

считают, что каждый должен отдавать по способностям и получать по потребностям. Но марксист во главу угла ставит материальную и экономическую сторону жизни, а всё религиозное считает мистификацией. Монах же берётся изменить человека, начиная прежде всего с его совести.

«Вместо того чтобы, начиная с материи, переходить к новым структурам, в которых у человека сама собой сформируется новая совесть, традиционные религии начинают с совести отдельного человека, стараются выявить и высвободить в каждом истину, надеясь на то, что через него истина откроется и другим». В этом призывание монашества: «монах взывает полноты... открывает самые корни своего бытия и может так или иначе передать свой опыт». На последней глубине монах учит других, как жить любовью. Для христиан это значит открыть Христа, обитающего в каждом из нас.

Только в этой любви, продолжал Мертон, и возможно идеальное экономическое устройство, когда каждый отдаёт по способностям и получает по нужде. На самом же деле многие христиане, в том числе — и живущие в монастырях, до этого уровня любви и жертвы не дотягивают. Их жизнь отягощена множеством ложных потребностей, которые и не дают им полностью раскрыться, хотя монах призван именно к этому.

Мертон рассказал историю, которую слышал от бывшего пленника, — о настоятеле буддистского монастыря, убежавшем, когда

Монах принадлежит миру, но и мир принадлежит монаху в той мере, в какой сам он отдал себя, чтобы освободиться от мира и тем самым освободить его. Нельзя просто погрузиться в мир и нестись с ним вместе. Это ничего не решает. Если вы хотите спасти утопающего, вы должны на чём-то стоять.

«Азиатский дневник»

к Тибету стали подходить китайские коммунисты. К нему присоединился ещё один монах, который вёл двадцать пять тибетских яков, гружённых монастырскими сокровищами и «необходимыми» припасами. Настоятель не стал дожидаться ни сокровищ, ни их хранителя и налегке добрался до Индии, нищий, но — живой. Монаха с

яками поймали солдаты, и больше о нём никто не слышал.

«Давайте спросим себя, — сказал Мертон, — не собираемся ли мы следующие двадцать лет тащить за собой тибетских яков?» В конце концов, монашество — это не архитек-

тура и не облачения, даже — не правила. Это, прежде всего, «полное внутреннее преображение. Яки сами разберутся». Монашеская жизнь возникает там, где есть человек, который «как-то ведёт и учит небольшую группу тех, кто пытается любить Бога и соединиться с Ним».

Такое монашество неистребимо. «Оно никогда не перестанет. Оно выражает инстинкт человеческого сердца и свидетельствует о благодати, дарованной человеку Богом. Искоренить его невозможно, от человека оно не зависит, равно как и от культурной среды, общественного устройства или психологии. Оно гораздо глубже их» (330).

Мертон предложил отложить вопросы до вечернего заседания. Завершил он словами: «Теперь я исчезну», — и посоветовал всем выпить кока-колы.

Около трёх часов дня отец Франсуа де Грюнн, живший в соседней с Мертоном комнате, услышал крик и стук, словно что-то упало. Он постучался в дверь, но ответа не было. Почти через час отец де Грюнн пошёл к Мертону, чтобы взять у него ключ от домика, а главное — убедиться, что с ним всё в по-

В смерти лицо отца Людовика обрело великий и глубокий мир. Было ясно, что он нашёл Того, Кого так неустанно искал.

Из письма аббатов, собравшихся на конференцию в Бангкоке, аббату Гефсимани

Мир знал его по книгам; мы знали его по живому слову. Мало кто (а может, и никто) знал его по тайной молитве. А он молился тайно, и это давало жизнь всем его словам и книгам. Многое в нём оставалось тайной и для него самого, но он искусно читал в душах тех, кто искал его помощи. Вот почему, хотя мы смеялись над ним и с ним, словно бы он был нашим меньшим братом, мы почитали его, как духовного отца.

Дом Флавиан Бернс,
аббат Гефсиманского аббатства,
в слове к братии

рядке. Когда и на этот раз никто не ответил, он заглянул в комнату сквозь жалюзи в верхней части двери и увидел, что Мертон лежит на мозаичном полу. Он попытался открыть дверь, но та не поддавалась. Пришлось позвать на помощь, и дверь одолели.

В комнате пахло палёным. Мертон, явно — мёртвый, лежал на спине, под пятифутовым вентилятором. Отец Одо Хаас, аббат Вэкманского монастыря, попытался его поднять, но его ударило током. Руку свело, и он не мог отпустить вентилятор, пока отец Целестин Сай не выдернул шнур из розетки.

Я дам тебе то, чего ты хочешь; Я введу тебя в одиночество. Я поведу тебя путём, которого ты не поймёшь, — ведь Я хочу, чтобы он был самым кратким...

Все, что коснётся тебя, тебя обожжёт, и ты будешь отдёргивать руку, пока не оторвёшься от всего. И тогда ты останешься совсем один. ...

Не спрашивай, когда это будет и как: на горе или в тюрьме, в пустыне или концлагере, в больнице или Гефсимании. Это неважно, так что — не спрашивай. Я всё равно не отвечу. Ты всё узнаешь сам, когда сбудется. ... Ты вкусишь настоящего одиночества, Моей муки и Моей нищеты. Я приведу тебя к вершинам Моей радости, и ты умрёшь во Мне, и всё обретёшь в Моей милости, которая ради этого тебя и сотворила. ...

Чтобы ты стал братом Богу и познал Христа опалённых...

«Семярусная гора»

Весь правый бок у Мертона, почти до самого паха, был прорезан широким ожогом третьей степени. На руках следов не было. Лицо было иссиня-красным, глаза и рот — полуоткрыты. Из затылка текла кровь. Священники прочли над Мертоном отходную, а потом отец Одо пошёл за главой бенедиктинского ордена, отцом Рембертом Викландом, чтобы тот соборовал усопшего. Подоспела и врач — мать Эдельтруд Вайст, настоятельница женского монастыря в Корее. Она проверила пульс и реакцию глаз на свет.

Полиция определила, что «внутри вентилятора неисправна проводка. ... Тока вполне достаточно, чтобы убить человека, прикоснувшегося к металлической части». Тело Мертона передали отцу Викланду, омыли и отправили в часовню. Всю ночь над ним читали молитвы.

На следующий день его перевезли на базу американских ВВС в Бангкоке, а оттуда — в одном самолёте с погибшими во Вьетнаме — обратно в США. 17 декабря гражданский самолёт доставил его из Окленда (Калифорния) в Гэфсиманское аббатство. Гроб ненадолго приоткрыли, и монахи опознали тело.

Заупокойную Мессу служил отец Хризогон Уоддел. На титульном листе буклета был текст из «Знамения Ионы»: «Иона всегда был под покровом Моей милости. ... Иона, дитя Моё, не потерял ли ты Меня из виду? Милость, милость и милость». В конце Мессы читали отрывки из «Семярусной горы», а закончили пророческой фразой: «...чтобы ты стал братом Богу и познал Христа опалённых».

Братья-монахи погребли Мертон на своём маленьком погосте, за монастырской церковью.

С телом была официальная декларация об имуществе Мертон, исчисленном в долларах:

1 часы Таймекс	\$10.00
1 тёмные очки в черепаховой оправе	0
1 цистерцианский молитвенник в кожаном переплёте	0
1 чётки (порванные)	0
1 маленькая икона Божьей Матери с Младенцем	0

Многие запомнили его последние слова. После утреннего заседания отец де Грюнн сказал ему, что одна монахиня осталась недовольна — почему он не сказал об обращении?

Мертон ответил: «Сейчас мы должны не столько говорить о Христе, сколько пустить Его в себя, чтобы люди могли найти Его, ощущая, что Он в нас живёт».

Икона, которую Мертон возил с собой, сохранила его собственные слова. Она безмолвна, а на обратной стороне его рукой написано:

«Если мы хотим угодить истинному Богу и познать самую благословенную дружбу, представим наш дух обнажённым пред Ним.

Не будем привносить ничего от этого мира: ни искусства, ни мысли, ни рассуждения, ни самооправдания, хотя бы мы и владели всей премудростью мирской» (331).

Приложение

Томас Мертон

Семярусная гора

Предисловие к японскому изданию

Ни одна из книг Томаса Мертона не пользовалась таким успехом, какой выпал на долю «Семярусной горы», вышедшей впервые в Америке в октябре 1948 года. За полтора десятка лет «Семярусная гора» выдержала множество изданий на разных языках, но всё это время сам автор ничего не говорил о книге, сделавшей его знаменитым. К публикации на японском языке Мертон написал предисловие, которое так и осталось единственным — ни к одному из последующих переизданий он не прибавил ни строчки.

Д. Форест

С тех пор, как написана «Семярусная гора», минуло почти двадцать лет. Предисловие — хороший повод ещё раз поразмышлять над этой давней историей и над тем, как она пересказана.

Возможно, сегодня я бы сделал это по-другому. Кто знает? Я был молод, когда писал эту книгу, и с этим уже ничего не поделаешь. Теперь она не моя, и я не вправе переиначивать её, глядя с высоты прожитых лет. Повесть принадлежит многим, и автор над ней больше не властен.

Так обстоит дело с книгой. А как с тем, кто её писал?

Решив стать христианином, монахом, священником, я никогда не задумывался о том, что мог бы жить по-другому. Случись мне выбирать сейчас, я бы снова отрёкся от мира, ушёл из общества. Все мосты сожжены, но мои тогдашние побуждения отличаются от сегодняшних.

Я писал эту книгу во власти порыва, побудившего меня — решительно и добровольно — оставить прежнюю жизнь. Мне каза-

лось, что разрыв, отречение — самое важное на свете. Это и зада-
ло тон книге.

С тех пор я научился сострадать миру, ведь его населяют люди, сделанные из того же теста, что и я, во всём мне подобные, а не странные обманутые чужаки. Отвернувшись от «их мира», я почему-то отвернулся и от них. Но, отказавшись от их суевы и самообмана, я страдал вместе с ними; как и они, слепо и отчаянно надеялся на счастье.

Многое роднит меня с теми, кто остался в миру, но только не иллюзии. Я не могу поклоняться материи, силе, количеству, скорости, политике, власти. Из-за них мир превратился в сущий ад, извергший кошмарное пламя двух мировых войн; ад духовной пустыни и звериной ярости, породивших Освенцим и Хиросиму. Я могу и должен его отвергнуть, чего бы мне это ни стоило. Да и никто, будучи в здравом уме, этого не примет. Однако всё не так-то просто: часто, искренне порывая со следствием, мы носим в себе причину.

Я всегда считал, что, став христианином, а точнее — придя ко Христу, я освободился от всего, чем люди обманываются и чем они одержимы. Могу лишь подтвердить, что от толпы, грубо и беспечно попирающей свободу и разум, защитит только вера. Вера, и только она, позволяет жить в свободе детей Божиих, спасает от соблазна забыть о главном в себе. Ведь человек, о чём бы он ни думал, всегда что-то принимает на веру. Если он верит расхожим идеям и лозунгам, то, становясь рабом внешнего, предаёт внутреннее. Если думает, что вера умерла, а видимый мир самодостаточен, он всё равно «верит», что будет счастлив — так или иначе. Не верить человек не может, а то, во что он верит, и есть его бог. Но поклоняющийся материальному или человеческому служит тому, что обречено на смерть, скорбь, ложь, горе. Подлинно свободен лишь уверивший себя беспредельному, неизъяснимому, превосходящему человеческое разумение; тому, что есть Всё, а значит — не что-то ограниченное и отдельное. Всё есть не-что: будь оно чем-то одним, оно перестало бы быть Всем. Этой свободы я и ищу — свободы принадлежать не-что, жить — во Всём, Всем, для Всего; жить

Тем, Кто есть Всё. На христианском языке это значит «жить во Христе», в Его Духе, ибо Дух, словно ветер, веет, где хочет; Он — Дух Истины¹. «Истина сделает вас свободными»².

Если истина сделала меня свободным, я — уже не свой и должен совлечь с себя мнимое «я», «я» как объект, как «вещь». Я должен обратиться в не-что, ибо тогда я — во Всём и Христос живёт во мне³. Но живущий во мне живёт и в тех, кто вокруг. Он незримо пребывает посреди них⁴, в этом хаосе, но никто не знает Его и не узнаёт, потому что Он — не-что. Тот, Кто не может страдать, потому что Он есть Всё, страдает от ужасов этой жизни, злодеяний, лжи, невиданного доселе насилия. Он страдает в нас, чтобы мы могли жить в Нём.

Множество слухов разлетелось по миру с тех пор, как я стал монахом. Говорят, будто я бежал из монастыря, вернулся в Нью-Йорк; уехал в Европу, в Южную Америку, Азию; ушёл в затвор, женился, спился, умер.

Я всё ещё в монастыре и не собираюсь никуда уходить. У меня нет сомнений, что я — на своём месте. Если меня куда и влекло, то лишь к большему уединению, «более монашеской» жизни. Поэтому я, можно сказать, везде. Монастырь — не дом; я не пускал здесь корней, не вил гнезда. Здесь нет частной жизни; я исчез из мира, ничего не жду, но втайне я — всюду, всему сострадаю. Везде можно быть, лишь став ничем.

Уйдя в монастырь, я не бежал от мира. Мне близки его муки и страдания. Всякий, кто живёт, не пытаюсь самоутвердиться, без насилия, смиренно, мирно, по-своему служит миру. Некоторые идут дальше, посвящая себя чему-то одному. Такой путь выбрал и я. Я отвергаю войну и политическую тиранию, губящих мир и челове-

¹ «Ветер, где хочет веет, и голос его слышишь и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так — рождённый от Духа» (Ин 3. 8).

² Ин 8. 32.

³ Ср. «И живу больше не я, но живёт во мне Христос» (Гал 2. 20).

⁴ Ср. «Не придёт Царство Божие приметным образом, ибо вот — Царство Божие посреди вас» (Лк 17. 20).

ство, протестую против их зла и ужасов. Своим монашеством, своими обетами я говорю НЕТ концлагерям, бомбардировкам, политическому фарсу, узаконенному убийству, расизму, экономическому диктату, цивилизации, которая, разглагольствуя о мире, умеет лишь разрушать. Когда я молчу, я протестую против лжи политиков, агитаторов и зазывал. Когда говорю, — убеждаю, что моя вера несовместима с неправдой и насилием, как несовместима с ними и Церковь. Да, мои единоверцы часто стоят за войну, расовый гнёт, диктатуру — лживую, напыщенную. Я должен противостоять и им, причём им — в первую очередь.

«Христианский мир» слишком тесно связан с культурой, политическими и общественными институтами, которые пятнадцать столетий господствуют в Европе и вообще на Западе. В этом его главная «проблема». Первые монахи — уже в IV веке — восстали против двусмысленного положения, в котором оказалась Церковь, против её несвободы. С тех пор европейское христианство достигло многого, но успехи его порою сомнительны. Теперь его истории выносится приговор, и я этому только рад. Я верю, что христианство наконец освободится и перестанет раболепствовать перед силой «мира сего». И очень осторожно отношусь к «оптимизму» христиан, наивно уповающих на то, что всё меняется к лучшему, и забывающих, что их вера эсхатологична. Их упование тщетно.

Я же говорю НЕТ силам мира сего и ДА — добру в мире и человеку. Я говорю ДА красоте мира, но ничего не присваиваю, — чтобы моё слово освобождало, а не поработило. Я говорю ДА людям, моим братьям и сёстрам, хотя никто из них не принадлежит мне, и я не принадлежу никому, — чтобы моё слово укрепляло в свободе, а не подчиняло. Я хочу быть людям больше чем другом, и потому я всем чужой.

Итак, досточтимый читатель, в этой повести я говорю с тобой не как автор, не как рассказчик, не как философ, не как друг — я говорю в каком-то смысле как твоё «я». Возможно ли это? Не знаю. Но прислушайся — вдруг за моими словами ты расслышишь кого-то ещё. Уже не меня, а Того, Кто живёт и говорит в нас обоих.

*Оливье Клеману*¹

23 июля 1960

Дорогой Оливье Клеман,

сердечно благодарю за письмо и дружбу. Я тронут тем, как искренни и просты наши отношения, установившиеся содействием Святого Духа. Афон — то место, куда я часто переношусь сердцем, ведь я по-настоящему люблю православную духовность, афонское монашество, раннее христианство, питающее наши традиции. В святогорских книгах я нахожу то, что всегда искал, — простую монашескую духовность, изначальную, подлинную. Нас многое роднит. Сейчас дочитываю Каварноса. У него попадают поистине кассиановские места. Он так пишет об отшельниках Карулии, что хочется познакомиться с о. Никоном, если тот ещё жив. Впрочем, вряд ли стоит нарушать покой этого святого мужа. Благодарю за его адрес. Думаю написать о. Мейендорфу (только что прочёл одну из его книг, прекрасно написанную и очень важную) и, конечно же, о. Софронию. ... Очень хочу знать больше о старце Силуане; непременно расскажу о нём американцам.

Сейчас размышляю над статьёй о православной духовности, по работам почитаемого мной Павла Евдокимова. Он — великий богослов. Так проникновенно пишет, что сердце откликается; а иного богословия я не признаю. Знаком я и с книгами о. Сергия Булгакова; впрочем, я, наверное, уже писал об этом. В статье хочу подчеркнуть, что в восточном христианстве богословие и жизнь едины — благодаря живой традиции (в первую очередь, литургической), со-

¹ Перевод с французского оригинала, найденного в архивах Мертона каноником Дональдом Олчином (президентом Британского общества Томаса Мертона) и любезно предоставленного для перевода на русский язык.

зерцанию, аскезе. Православная духовность велика и свята, полна света, полна Христа. Там вдыхаешь Духа.

Мне кажется, что у православных во Франции, особенно в Париже, особое и очень важное призвание. Я имею в виду богословие и экуменизм. Традиционно православным часто не хватает человечности. У вас же она есть. Греки, афонские монахи, особенно русские православные, полны предрассудков, часто близоруки, холодны — совсем как ирландские, испанские или американские католики.

Что касается экуменизма, то я, как и Вы, уверен, что созерцание непременно внесёт в него свою лепту. Господу угодно, чтобы и я трудился на этом поприще, — смиренно и тихо, в меру своих сил. Я не люблю кампаний, в этом смысле я — не человек действия. Я монах и всего лишь держу связь с друзьями и людьми, которые мне дороги, делюсь духовным опытом.

Статья о преп. Иоанне Лествичнике не получилась. Не поздно ли поправить? ... Вы очень терпеливы и снисходительны, но, думаю, лёгкий англосаксонский тон отпугнёт читателя с христианского Востока.

Томас Мертон

Архимандриту Софронию (Сахарову)¹

26 января 1961 года

Ваше преподобие, дорогой архимандрит Софроний!

Монахи обычно не отвечают на письма так же скоро и аккуратно, как те, кто живёт в миру. И всё-таки мне неловко оттого, что я так долго молчал. Надеюсь, Вы меня поймёте. Я получил Ваше октябрьское письмо и посылку. Книги и статьи, присланные Вами, прочёл. Я тронут тем, как просто, сердечно Вы пишете и рассказываете о монашеском опыте. В Ваших взглядах столько правды, непредвзятости, что я могу говорить с Вами по душам. Не знаю только, с чего начать, — так много хочется сказать.

¹ Основатель православного монастыря в Толлешенте (Англия).

Прежде всего, старец Силуан, о котором рассказывает Ваша книга, являет поразительный образ святости — вместе и современной, и вполне традиционной, монашеской. В наши дни святые особенно чутки к «тёмной стороне» премудрости, к надежде, побеждающей отчаяние, к опыту ада. Они знают «тёмную сторону» истины, прекрасную премудрость, заглушённую, казалось бы, греховным хаосом. О, как порой падаешь духом оттого, что неспособен творить добро, настоящее добро! Как отвратительна бывает привычная набожность! Ложь и лукавый пугающе вездесущи, но мы не вправе впадать в уныние. Надо так же просто, как старец Силуан, «держат свой ум в аду и не отчаиваться». Не на ложь надо устремлять свой взор, а на истину с её затемнённым ликом, подобную Отроку Господню, неприметному, не имеющему ни вида, ни величия, но восходящему, как росток из сухой земли¹. Не прекрасная ли Премудрость Божия веселится пред лицом Отца во всё время²?

Вы прекрасно, убедительно, глубоко пишете об аскетике. Хочу ещё поразмышлять над Вашими статьями, поучиться монашеству. Как Вы знаете, я очень люблю духовность Афона, целостную, не утратившую, в отличие от многих других традиций, динамизма и силы. Конечно, не всё так безоблачно на Святой Горе. Но разве на этой земле есть совершенство? Я, видимо, понимаю эту духовность (Ваши замечания — великое для меня утешение) просто потому, что люблю её, и только.

Больше всего мне понравилась Ваша статья о единстве Церкви. Вы, наверное, не высказали в ней всего, что хотели, но мне очень близок Ваш подход. Признаюсь, я горячий сторонник этого прекрасного и истинного учения; много о нём думаю, но главное — пытаюсь воплотить его в жизнь, вместить всю христианскую истину и любовь, так чтобы всех христиан, всех, действительно пребывающих во Христе, охватить своей жизнью, по крайней мере —

¹ «Он взошёл пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в нём ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нём вида, который привлекал бы нас к Нему» (Ис 53. 2; см. таже Ис 42. 1, 49).

² Притч 8. 30.

любовью. Мы должны любить истину, где бы она ни была, идти к ней прямо, не оглядываясь. Разве важно, в какой богословской школе она родилась? Поистине, Церковь должна быть Матерью, Церковью Любви Христовой, с любовью принимающей всякого и дарующей свою премудрость. Вы прекрасно знаете, сколько горестей выпадает на долю ищущих истину в любви, а не в формулах... правилах, программах, проектах...

Пути Господни неисповедимы. Кто знает, увидимся ли мы на земле? Но обязательно — я на это уповаю — встретимся на небесах.

Св. Григорий Палама мне очень интересен. Правда, всё осложняется тем, что я не могу читать его в подлиннике; надо бы выучить греческий. Хочу приобщить молодых священников из нашего монастыря к мистическому богословию (а разве не всякое богословие мистично?!); расскажу им об исихазме. Да, я знаком с Иисусовой молитвой; люблю её и творю, хотя и не очень искущён в этом делании. Я узнал о ней уже после того, как — благодатью Божией — «нашёл сердце»; много раз падал, не зная краткого пути. Не могу сказать, что завишу от неё, ведь она не вела меня шаг за шагом. Просто читаю её, когда донимают помыслы, трудно сосредоточиться или устал. ... Жду от Вас, дорогой отец, вестей, спасительного слова. Посоветуйте что-нибудь. Премудрость протягивает мне руку, а я не знаю, как ухватиться за неё. Я ищу и нахожу своё сердце в пустоте, безмолвии; стараюсь бодрствовать, быть готовым, когда в дверь постучит Жених. Но дверь вдруг отворяется сама собой. ... Или же, подобно старцу Силуану, испытываю натиск полной призраками тьмы.

Всё, что Вы рассказали о своей маленькой общине, мне очень дорого. Молюсь о Вас за Божественной Литургией. Буду какое-то время творить Иисусову молитву о Вас, в единстве с Вами. Надеюсь, лучше пойму её.

Что Вы имеете в виду, когда пишете, что исполняете своё молитвенное правило Иисусовой молитвой? Вы отводите какое-то определённое время только ей? Как Вы это делаете? Мне очень интересно.

С благословения отца настоятеля, делаю первые шаги к уединённой жизни — после полудня остаюсь в нововыстроенном скиту,

очень красивом. Я несказанно рад и такой малости. Помолитесь, чтобы мне принести добрый плод.

Ваше преподобие, отец Софроний, письмо получилось слишком длинное. Надеюсь, Вы в добром здравии. Кланяюсь Вам и Вашей братии. Нет ли у Вас кого-либо из друзей, особенно с Афона, кто мог бы находиться в Соединённых Штатах? Я бы с радостью принял его для беседы. О. Иоанну Мейендорфу в Нью-Йорк я ещё не написал, но сделаю это.

Сергею Большакову¹

28 декабря 1962 года.

Спасибо за оба добрых письма. Рад слышать, что Вы будете в монастыре в Толлешанте². Напомните там обо мне и попросите помолиться. Я часто думаю о них и верю, что они много послужат во славу Божию. ...

Работа над «Русской мистикой» идёт медленно, так как помимо неё ещё очень много дел. Начал последнюю часть; там страницы

¹ Переведено с: *The Hidden Ground of Love. The Letters of Thomas Merton on religious Experience and Social Concerns* selected and edited by William H. Shannon. Farrar, Strus, Giroux, New York, 1985, pp. 101–107.

Сергей Большаков — русский православный, родился в 1901 г. в Санкт-Петербурге. По образованию — экономист и социолог. В колледже Крайст Чёрч в Оксфорде защитил диссертацию на степень доктора философии. Активный участник движения за христианское единство. Много путешествовал. Посещал монастыри, был в Риме, Греции, встречался с католическими и православными иерархами. Лично знал Папу Иоанна XXIII, Патриарха Афинагора, архиепископа Кентерберийского Темпла, был в дружественных отношениях с домом Габриэлем Сорте, генералом цистерцианского ордена. Автор многих книг и статей о православии и духовности Восточной Церкви. В 1962 г. на итальянском языке вышел первый том «*Mistici Russi*», книги, первоначально написанной по-английски. Первую рукопись Большаков послал Мертону с просьбой отредактировать её и передать издателю. Но по-английски книга была опубликована только в 1976 г. цистерцианским издательством.

меньше, а почерк плотнее, поэтому и править труднее. Боюсь, местами, облегчая текст, меняю смысл. После меня нужно всё внимательно просмотреть. Ну и, конечно же, кто-то более сведущий в богословии Восточной Церкви должен поправить те части, которые я почти не трогал — о молитве и т.п.

Первая половина рукописи уже у бенедиктинцев в Колегвилле. Они её перепечатывают. Остальное вышлю через пару недель. Тем временем провожу со своим послушниками занятия по русской духовности — по заметкам из Вашей рукописи, из Федотова и других. По-прежнему больше всех люблю преподобного Серафима, но и знакомство с оптинскими старцами принесло много радости. Впечатление от них тем сильнее, что недавно прочёл «Братьев Карамазовых». Не составить ли Вам антологию оптинских текстов?

Монастырская библиотека не может подписаться на Вашу газету, поскольку денег на периодику отпущено очень мало. Но отец аббат благословил послать Вам небольшую сумму на расходы в будущем году. Всё, что нужно, найдёте в этом конверте. Почтём за честь, если Вы примете наш скромный дар.

Очень опечален и обеспокоен тем, что Папа Иоанн XXIII серьёзно болен. ... Созванный им Собор — великое, промыслительное событие, и сам он — великий Папа; для меня — настоящий отец. Поистине, никого не почитаю так, как его, — и за служение, и за человеческие качества. Если будете писать ему или увидите его, передайте эти мои слова, заверьте в моей преданной сыновней любви к нему и испросите для меня благословения.

Дорогой друг, будем возрастать в вере, уповая на неизменную помощь Бога, Отца нашего, и на заступничество великого «облака свидетелей», к коим причисляю подвижников и тайновидцев русских. ...

29 января 1963 года

Спешу Вас обрадовать — я просмотрел всю Вашу рукопись и отдал её перепечатывать. Бенедиктинцы из Колегвилля говорят, что за месяц управятся. Они спрашивают, куда им послать готовый текст, чтобы его вычитали и поправили. Разумеется, один экземпляр пойдёт

Вам, и Вы передадите его кому-то (наверное, кому-нибудь из Шев-
тона), кто хорошо разбирается в богословии Восточной Церкви. На-
пишите в Колегвилль и сообщите, что Вы решили.

...Когда появится машинописный вариант, я напишу предисловие или
даже целую статью. Благодаря Вашей прекрасной книге я теперь не-
плохо знаком с русской мистической традицией. Особенно впечатля-
ет величественная фигура Феофана Затворника, чья духовность мне
очень близка. ... Впрочем, не его одного, а и всех подвижников XIX
века; так что я теперь Ваш вечный должник. Я не раз уже рассказы-
вал своим послушникам о русских подвижниках. ...

Очень признателен за Ваше расположение ко мне. Буду рад по-
лучить рукопись о гефсиманском старце Александре¹. Непременно
прочту. Меня вдохновило Ваше предложение о *jumelage*² между
нашей Гефсиманией и Загорском. Что для этого нужно? С отцом
аббатом я переговорил, идея ему понравилась. Разумеется, будем
осмотрительны, дабы избежать «гласности по-американски»...

11 ноября 1963 года

... Как обстоят дела с Вашей книгой? Мне изредка пишут из монаш-
тыря св. Иоанна; говорят, книга уже в Шевтоне. Надеюсь, дом Фе-
одор внимательно её просмотрит, так как моих правок явно недоста-
точно. Как только появится окончательный вариант, я напишу предис-
ловие. Книга очень ценная; с нетерпением жду, когда она выйдет.

Я, разумеется, рад был слышать, что на Собор приехали на-
блюдатели из России. Это огромный шаг вперёд. Как я понимаю,
наконец-то одобрили идею «епископской коллегиальности». Ме-
ня очень привлекает русская «соборность», которая, по-моему,
помогает понять, что есть Церковь по существу. В толк не возь-
му, как можно это отрицать? Коллегиальность хоть немного при-
ближает к соборности.

¹ Большаков посылал Мертону свою написанную по-французски работу о
старце Александре из русского Гефсиманского скита. Скита больше нет, но
прежде он принадлежал Троице-Сергиевой Лавре.

² Молитвенное общение между Гефсиманским аббатством и Лаврой.

Слава Богу, что запретили [ядерные] испытания. Оказывается, группа преподавателей из Массачусетса (у них своя миротворческая организация) присудила мне премию за этот год. Это меня несколько ободрило, но писать о войне и мире я по-прежнему не могу. ...

Пришлю Вам журнал с моей статьёй о расизме, тяжёлой для Америки проблеме, в чём-то схожей с проблемой мира. Хотя договор о запрете испытаний и подписан, до полной безопасности ещё далеко. Американцы так беспокойны, подозрительны, взвинчены, в их руках оружие такой неслыханной разрушительной силы, что успокаиваться рано. Никто не знает, что нас ждёт впереди. Тем ревностнее должна быть молитва в наших монастырях. Не знаю, что случилось с идеей *jumellage*, но было бы хорошо, если бы монахи договорились вместе помолиться о мире. ...

28 октября 1964 года

Спасибо за недавнее письмо, как всегда, интересное. Вы очень много успеваете, ездите по монастырям. Я всегда с радостью читаю обо всём этом. Бог да благословит Ваши добрые начинания.

Простите, что так долго не отвечал. Неужели прошло уже столько времени? Мне казалось, что я писал Вам весной. Впрочем, какое-то из моих писем могло потеряться. Здесь это часто бывает. Как бы то ни было, ещё раз прошу меня простить. В последний раз Вы говорили о своей книге; я сразу же написал о Колмену Бэрри, но тот так и не ответил. В чём дело, не знаю. Знаю только, что, по его мнению, нужно поправить стиль. Но ведь был уговор, что это сделает кто-то из монахов. Чем всё кончилось, мне неизвестно. Какая досадная проволочка!

Собор делает успехи, многое из происходящего там обнадёживает. Я всё ещё надеюсь, что постановление о мире не станет слабее или даже будет усилено. Для начала, по крайней мере, оно звучит превосходно. Очень своевременно приняли Схему 13, на мой взгляд — документ очень интересный и важный, хотя богословски не столь весомый, как декреты о коллегиальности и Откровении.

Трудное сейчас время, но мы в руках милостивого и премудрого Отца. Он вершит наши судьбы, врачует наши грехи. В мире так много страданий. Будем верны Его благодати. ...

13 декабря 1964 года

Скоро Рождество, и я хочу пожелать Вам всего наилучшего. В знак дружбы примите от нашего монастыря скромный дар. Отец аббат милостиво позволил мне послать Вам его в надежде, что он покроет часть расходов на Ваши добрые начинания, служение единству и примирению.

Новостей о переводе «Русской мистики» всё ещё нет. Книга по-прежнему в монастыре св. Иоанна, хотя, конечно же, ей давно пора бы выйти. В чём там дело, не знаю. ...

Мы не раз говорили о духовном союзе между Гефсиманией и русским монастырём. Время идёт, а положение в России всё так же неопределённо. Так что самое разумное, думаю, — забыть об этом. У русских монахов рано или поздно были бы неприятности. О своих братьях можно молиться тихо и неофициально, без всяких формальностей. Что я и делаю. ...

9 июня 1965 года

... Всецело разделяю Ваши опасения относительно новых течений в монашеской среде. Охотно соглашусь, что за ними стоят самые благие побуждения, — поистине похвально рвение помочь Церкви. Но, по-моему, как ни ценны эти начинания, к монашеству они отношения не имеют. Если, скажем, трапписты захотят жить, как Малые братья, то пусть себе живут, но непременно покинут орден. Нелепо называть это новой формой монашеской жизни. Когда пытаются жить созерцательно по образцу траппистов и работать на фабриках, получается нечто несуразное и искусственное. Ни честной работы, ни молитвенного уединения. Одна лишь наивная, полная благих намерений игра, далёкая от реалий века и монашеских тягот. Если уж мы и в самом деле хотим найти своё место в этом мире, то должны оставаться монахами. Чем совершеннее будет наша монашеская жизнь — в простоте, уединении, молитве, безмолвии и т.п., — тем более оправдано наше существование на земле. Впрочем, нам не стоит и думать о том, чтобы «оправдывать самих себя». Бог — наше оправдание. ...

От о. Колмена Бэрри давно уж никаких вестей; что с Вашей книгой, не знаю. ... Может, он считает, что её вовсе не нужно печатать? Издатель, как и раньше, просит поправить стиль. Очень жаль, что дело не движется.

8 декабря 1965 года

Прежде всего, пользуясь случаем, посылаю Вам рождественский подарок от всей братии. Надеюсь, теперь Вы сможете расплатиться за операцию; в любом случае деньги Вам пригодятся.

... Я сейчас пытаюсь, укрепить свои позиции в уединении, если можно так выразиться. Иными словам, в скиту мне живётся хорошо, но беспокоят старые связи с миром. Некие активные движения всё ещё пользуются моим именем, и получается, будто меня до сих пор волнуют их проекты и дискуссии. Я и в самом деле не могу нравственно оправдать войну во Вьетнаме и считаю, что против неё нужно протестовать, но политический протест — не моё поприще. Тем более, что я не могу, да и не пытаюсь следить за событиями. Но меня вовлекают, причём помимо моей воли, не спрашивая согласия. По-моему, пора с этим что-то делать. Вы правы, мне не следует больше касаться тем, близких к политике. Многие полагают, что христиане, которым небезразлично общество, должны по зову совести примыкать к бесконечным демонстрациям, петициям, воззваниям. Те, кто во всём этом варятся, иначе просто не могут, я же сомневаюсь, есть ли от этого прок. По-моему, дело совершенно пустое.

Со временем, полагаю, станет ясно, что у меня нет ничего общего с подобными движениями. Здесь, в лесу, я живу мирно и всё яснее вижу, что нужно лишь одно. Когда кругом безмолвствует лес, невольно умолкает и всё внутри.

26 апреля 1968 года

Нижайше прошу меня простить — я не смог размножить Ваше пасхальное письмо для «Собеседника». Мне очень жаль, но обстоятельства резко изменились. Для новой Литургии (теперь мы слу-

жим совершенно новую Литургию на английском языке) нужны новые тексты, и те, кто их выпускает, просто выбились из сил. Я не могу множить даже собственные материалы. Последнее пасхальное письмо печатал один из моих друзей. Так что я уже не полагаюсь на нашу братию в этом деле.

Работы стало так много, что молодой монах, которому достался по наследству наш мимеограф, переутомился и попросил дать ему другое послушание. Конечно, его работу сделают другие, но я решил, что не стану никого утруждать; не стоит беспокоить братьев, выпускающих литургические тексты. Новый аббат хочет, чтобы монахи меньше работали и больше отдавались созерцанию. Все теперь стараются не делать лишнего. Сам я буду меньше писать. И, конечно же, не смогу, как прежде, отвечать тем, кто мне пишет. Так что, как Вы понимаете, мы теперь не сможем рассылать Ваши письма. Простите, что огорчаю Вас, но Вы, я знаю, поймёте меня правильно. Возвращаю Вам Ваше письмо; быть может, Вы захотите его подправить и к Пятидесятнице размножите где-то ещё.

Положение становится всё более мрачным и трагичным; теперь, наверное, и самые равнодушные понимают, что страна забрела в тупик. Этот тупик есть не что иное, как безразличие к Богу, подлинным религиозным и нравственным ценностям. Порой те, кто называют себя христианами, оказываются рьяными расистами, несправедливыми, нетерпимыми, полными ненависти. Сегодня как никогда ясно, что нам нужны покаяние и молитва. Но католики — некоторые из них — странным образом уходят в политику, живут внешними, земными интересами, предавая глубину своей веры во имя какого-то прогресса.

Никогда ещё не было такой нужды в подлинном обновлении созерцательной и монашеской жизни. В единстве с Вами по вере и любви, во Христе Иисусе.

Нравственное богословие от лукавого

Эссе из сборника «Семена созерцания»

Лукавый создал свою философскую систему и своё богословие, с помощью которых втолковывает желающим, что всё сотворённое — зло. Бог сотворил зло и хочет, чтобы люди мучились под его игом. Согласно лукавому, Бог радуется, когда человек страдает, да и вся Вселенная стонет и мучается по произволению и замыслу Божию.

Истина в том, утверждает это богословие, что Бог Отец испытал наслаждение, предав на смерть собственного Сына, а Бог Сын приведён на землю, чтобы Отец наказал Его. Оба Они только тем и заняты, что преследуют и наказывают верующих. Ведь Бог, творя мир, заранее знал, что человек согрешит; не для того ли и мир сотворён, чтобы человек согрешил, а Божие правосудие восторжествовало?

У лукавого получается, что первым сотворён ад, а уж всё прочее — после, ради него. Адепты такого богословия просто одержимы злом [1]. Мало им того зла, которое есть в мире, — они множат запреты, измышляют новые правила, растят тернии, лишь бы человек не уклонился от кары. Пусть раны его кровоточат с раннего утра до поздней ночи, но и кровь не искупит его грехов! Крест уже не символ милости (милости вообще нет), он знаменует лишь торжество закона, словно Христос сказал: «Я пришёл не упразднить закон, но сделать так, чтобы он Меня упразднил». Тогда, согласно лукавому, закон поистине исполнен — не в любви, а в наказании. Закон должен поглотить всё, даже Бога; этого требует богословие кары, ненависти, мести.

Строящий жизнь по этим догмам должен был бы радоваться наказанию. Но как искусно он от него уклоняется, перекидываясь с законодателем мячиком закона! Зато уж другим он не спустит, страданий не отменит. Он только и думает о настоящем и грядущем возмездии. Да восторжествует закон! Да сгинет милость! Вот он — главный признак адского богословия. В аду есть всё, кроме милости. Значит, там нет и Бога. Милость — знак Его присутствия.

Богословие это выбирают все, кто, то ли достигнув совершенства, то ли вполне оправдавшись перед законом, в милости больше не нуждаются. Бог ими доволен (мрачна же эта радость!), угодили они и лукавому. Какая удача — успеть и там и сям!

Для тех, кто внимает таким речам, поглощает их и ими услаждается, духовная жизнь словно зачарована злом. С несказанным удовольствием смакуют они грех, страдание, проклятие, кару, правосудие, возмездие и конец света — вероятно, где-то глубоко в подсознании утешаясь мыслью об аде, уготованном всем, кроме них. Откуда же они знают, что сами избегнут адских мук? Разумно ответить на это они не смогут, разве что сошлются на приятное чувство при мысли о возмездии, уготованном для других. Это самодовольство у них и зовётся «верой»: на нём держится странная убежденность в том, что они «спасены».

Бичуя грех, лукавый приобретает много учеников. Он внушает им, что грех — великое зло, порождает в них комплекс «счастливой вины», а потом предоставляет им размышлять о вопиющей греховности и неминуемой гибели остального человечества.

Нравственное богословие от лукавого начинается с принципа «удовольствие — грех». Потом оно чуть-чуть меняется: «всякий грех — удовольствие». Ещё позже лукавый подмечает, что удовольствие практически неизбежно и человек по природе к нему стремится. Отсюда он выводит, что все природные склонности греховны, природа наша сама по себе зла. Вот он и подвёл нас к заключению, что греха вообще не избежишь, поскольку нас тянет к приятному. Наконец, чтобы окончательно утопить человечество, он прибавляет: «То, чего нельзя избежать, — вообще не грех». Тут уже всякое понятие о грехе отбрасывается за ненадобностью. Жизнь превращается в погоню за удовольствиями. Наслаждения, добрые по природе, становятся злыми. Воцаряются грех и беда.

Нередко именно тот, кто страстно обличает зло и возвещает возмездие, подсознательно ненавидит других. Он хочет отыграться, поскольку ему кажется, что мир его не ценит.

Лукавый не боится возвещать и волю Божию, только бы ему не мешали делать это по-своему.

Рассуждает он приблизительно так: «Бог хочет, чтобы вы поступали правильно. Но вас же к чему-то влечёт? Это приятно, это согревает, подсказывает, как поступать. А если кто посмеет вмешаться, понуждая вас сделать что-то другое, процитируйте Писание; скажите, что вы должны больше слушаться Бога, нежели человеков, а потом творите волю свою. Главное — не утратить это приятное ощущение».

Богословие от лукавого — самая настоящая магия. «Вера» тут не обращена к Богу, открывающемуся как милость. Это субъективная «сила», которая подгоняет реальность под наши прихоти. Такая вера — что-то вроде непреодолимого желания. Напористость воли, питаемой «глубокими убеждениями», порождает особый навык, некое мастерство. Обрушившись на Самого Бога всей этой колдовской мощью, мы склоним Его волю к воле человеческой. Бог превратится в средство для достижения наших целей — вера, которую не отличить от потрясающей, невиданной напористости (любой шарлатан может развить её в нас за надлежащую мзду), поистине не знает преград. Став цивилизованными шаманами, мы сделаем из Бога своего слугу. Правда Божия непреложна, но Сам Он поддастся нашим чарам, позволит Себя приручить. Он оценит наш напор и воздаст нам успехом. Мы прославимся, ибо у нас — «вера». Мы разбогатеем, ибо у нас — «вера». Враги сдадутся и преклонятся перед нами, ибо у нас — «вера». Дела пойдут прекрасно, всё и вся будет у нас спориться. А как же иначе?

Однако всё не так просто.

Твёрдо зная, что вера может всё, мы закрываем глаза и напрягаемся, дабы породить хоть немного «душевной силы». Мы верим. Мы верим.

И что же? Да ничего.

Мы снова закрываем глаза и напрягаемся, порождаем силу. Лукавый это любит и охотно поможет. Она просто хлещет из нас — и что же?

Ничего.

Мы будем стараться и тужиться, пока нам не станет худо. Мы устаём «порождать душевную силу». Устаём от «веры», которая ничего не меняет, не избавляет от тревог и конфликтов, не снимает ответственности, не освобождает от сомнений. Магия, в конце концов, не так уж действенна. Она не в силах убедить, что Бог нами доволен, и даже в том, что мы довольны собой (впрочем, тут, надо признать, у многих вера очень действенна).

Теперь, питая отвращение к вере, а тем самым и к Богу, мы вполне годимся для тоталитарных движений, которые примут нас с распростёртыми объятиями. А как же? Мы ведь радуемся распрям, преследованию «низших рас», классовых врагов и вообще всякому притеснению тех, кто не такой, как мы.

И ещё одно свойство такого богословия: различия между добром и злом, правдой и ложью превращаются в непреодолимые бездны. Мы уже не чувствуем, что сбиться с пути может каждый и надо брать на себя чужие ошибки, прощать, понимать, терпеть, любить, помогая друг другу обрести истину. В богословии от лукавого самое важное — быть абсолютно правым. Мира это не даст — всяк хочет быть правым или хотя бы примкнуть к тому, кто прав. Чтобы доказать свою правоту, придётся карать и устранять тех, кто тоже уверен в своей правоте, — и так далее...

Наконец, как и следовало ожидать, богословие от лукавого придаёт исключительную значимость... ему самому. Очень скоро выясняется, что он стоит за всем и всеми, кроме нас самих, помыкает. Не прочь он свести счёты и с нами, а поскольку по силе он не уступает Богу, а может, и превосходит Его, то успех ему обеспечен.

Короче говоря, богословие от лукавого учит, что лукавый — это бог.

[1] Чтобы прокомментировать выражение «одержимость злом», приведём небольшой отрывок из другого эссе Мертонa — «Корень войны — страх»:

«...Мы подсознательно пытаемся облегчить гнетущее нас бремя вины, перекладывая его на чужие плечи. Мы поступаем худо, а потом оправдываемся, обвиняя кого-то “другого в себе”, неизвестно откуда в нас взявшегося».

Но наша совесть всё равно не находит покоя: слишком многое остаётся неразъяснённым. “Другой во мне” привычен, как домашняя мебель. Тогда и приходит искушение: в ком-то другом, вне себя отыскать равную своей вине долю зла. Получается, что мы преуменьшаем свои грехи и в той же степени, в какой это нам удаётся, преувеличиваем вину других.

Но и этого мало. Мы делаем положение ещё невыносимее, обостряя восприимчивость к злу и чувствуя вину за вещи, сами по себе вовсе не дурные. И тогда мы становимся настолько одержимы злом в себе и в других, что все наши умственные силы уходят на то, чтобы как-то обезвредить зло, наказать, изгнать или избавиться от него любыми способами. Мы настолько поглощены этим занятием, что начинаем сходить с ума, и в конце концов ничего другого не остаётся, как прибегнуть к насилию: кого-то или что-то уничтожить. Да и враг нами уже создан, этакий козёл отпущения, на которого можно навесить всё наличествующее в мире зло. Во всём виноват он один, он — разжигатель всех распрей. Стоит его уничтожить, как все конфликты загладятся сами собой, будет покончено со злом, прекратятся войны. ...»

Один день странного человека¹

На титульном листе последнего, третьего варианта эссе «Один день странного человека» Томас Мертон сделал надпись красными чернилами: «Эти строки появились в ответ на просьбу южноамериканского издателя описать "типичный день" моей жизни. Такой день пришёлся на май 1965 года. С тех пор я кое-что переписал и добавил».

В 1964 году Мертон получил благословение настоятеля Гефсимании часть дня оставаться в скиту. К лету 1965-го он окончательно перебрался туда, хотя и должен был ежедневно наведываться в монастырь. Произошло то, на что он долгие годы надеялся, о чём молился, ради чего трудился и чего добивался. За неделю до того, как появился «Один день странного человека», он писал бывшему монаху своего монастыря Эрнесто Кардиналу, уехавшему в Никарагуа обустроить новую обитель:

«Большую часть времени я провожу в своём лесном скиту, иногда по 18 часов в сутки. Спускаюсь в монастырь только по крайней необходимости и для того, чтобы встретиться с послушниками. Замечательная жизнь! Удивительно, но я переменялся и вижу, что нашёл наконец то, чего так долго искал. Если, конечно, всё останется как есть».

А чуть позже, в августе:

«На этой неделе я наконец смогу оставить своих послушников... Я получил благословение жить в скиту всё время и бывать в монастыре только раз в день. Там я служу Мессе и обедаю. Это огромный шаг вперёд. С прошлого года я ночую здесь и провожу

¹ Переведено с: Thomas Merton, *Day of a stranger*, Gibbs M. Smith Inc., Salt Lake City, 1981. Introduction by Robert E. Daggy.

большую часть дня; живу, по сути дела, так же уединённо, как камальдулы¹. Мне это очень по душе».

Переселившись в скит, Мертон впервые в жизни почувствовал себя дома; новая жизнь радовала его, он делился своей радостью в письмах, дневниковых записях, фотографировал вещи, которыми пользовался в скиту. «Молюсь — как дышу», — писал он тогда. Жизнь и молитва сливались воедино; деревья, небо, трава, скит, самые обычные вещи: крест, колесо, тачка, стулья, ведро для дождевой воды, пишущая машинка — становились частью молитвы, созерцания.

«Один день странного человека» очень похож на дневники Мертона. Он пишет о своих раздумьях, о том, что их вызвало, какие книги он читает, как живёт. И хотя здесь описан всего один день, эссе, несомненно, заслуживает того, чтобы встать рядом с его автобиографическими книгами «Знамение Ионы», «Дневник мирянина», «Размышления виноватого наблюдателя», «Как вести беседу (дневники 1964—65 годов)», «Лес, берег, пустыня (дневник мая 1968 года)», «Азиатский дневник».

Мертон называет себя «странным человеком», понимая, что живёт не так, как большинство людей. В других местах, имея в виду то же самое, он употребляет слова «поэт», «наблюдатель» (виноватый или безвинный), «чужестранец», «монах», «беспольный», «беспокойный», «неприспособленный». Он «странный», потому что ушёл из общества, отказался жить по его законам, удобно и безопасно, не захотел вписываться в рамки и вешать на себя ярлык.

«Один день странного человека» входит в серию эссе, которые Мертон писал для Латинской Америки. Эта часть «третьего мира», чуждая, как и он сам, индустриальной Северной Америке, была ему очень близка. Он читал многих латиноамериканских авторов, переписывался с поэтами, издателя-

¹ Камальдолийцы, или камальдулы — монашеский орден, созданный итальянским религиозным движением конца X века. Это движение отличалось бурным и резко аскетическим характером, выдвинув ряд основывавших эремитории пустынников, среди которых был и основатель Камальдоли св. Ромуальд.

ми, реформаторами. В «Письме Пабло Антонио Куадра о гигантах» Мертон сетовал, что живёт в стране гигантов силы и материализма. Американцы, писал он, «не понимают, что странный человек может дать им нечто очень ценное, незаменимое». В первом варианте «Одного дня...» он ещё откровеннее, с нескрываемой болью говорил о том, что страна, эксплуатирующая Латинскую Америку, не слышит и его, он для неё чужак. Мертон с теми, кто унижен и отвержен, и просит прощения за свою страну. Ещё в 1960 году он писал:

«Я не могу быть “американцем”, для которого существуют только реки, равнины, горы и города Севера, того Севера, который колонизировали и обустроили пуритане, где не осталось индейцев, где под высокомерными и язвительными небоскрёбами редко увидишь крест, а Пресвятая Дева стоит с пустыми руками, бледная и печальная. ... Мне кажется, в монастырской тишине я слышу всё полушарие, говорящее во мне ясно, величественно и страшно; моё сердце вмещает и необозримые пустынные равнины, и сверкающее инеем Боливийское плато, и горные долины инков... и холодные степи Боготы, и таинственные джунгли Амазонки».

Быть чужаком трудно, поскольку оставленный монахом мир навязчив. Мертону не дают покоя самолёты, связанные для него с бомбами, войной, суетой мира, лежащего по ту сторону гор. Он иронизирует: горы Кентукки и Теннесси приютили и его, и смертоносную бомбу. Даже рычание монастырских тракторов напоминало ему о прибыли, деньгах, материализме. Современный мир бесцеремонно вторгается в скит отшельника; убежать от него нельзя, но можно не поддаваться ему, оставаясь «странным». В «Послании к поэтам» Мертон взывает: «Поэты, остаемся вне “их” категорий. Мы бесхитростны, как монахи, незримы для журналистов и чиновников». «Мы на самом деле выбираем, — писал он в другом месте, — и можем стать невидимками, недоступными для любых посягательств. Мы вольны отказаться от навязчивых идей, не дать миру использовать нас себе в угоду».

В первом варианте «Одного дня...», кратком, скупом, гневном, Мертон писал о том же. После пассажа об экологии был абзац, вычеркнутый при второй редакции:

«Существует и антиэкология: губительный разлад в природе, задушенной, исковерканной бомбами, радиоактивными осадками, потребительством. Земли пустуют, реки отравлены, почва заражена химикатами и истерзана техникой, деревни умирают, потому что все уезжают в город. ... Нет большей нищеты, чем нищета процветания; ничто так не угнетает, как изобилие. Богатство — отравя. Победоносная техника порождает ни с чем не сравнимые бедствия. Я знаю, что многим и многим, у которых нет ничего, это трудно принять, мои слова покажутся им жестокими. Но не думаете ли вы, что, разбогатев наподобие американцев, избавитесь от нужды? Их нищета ещё больше вашей. Сытое чрево не принесло им ни мира, ни удовлетворения — одно безумие. Впрочем, и тут чрево сыто не у всех. Безумие же на всех одно».

Оно угрожает всем: странным и нестранным, полезным и бесполезным. Первоначальный вариант эссе заканчивался так:

«Скоро нарежу хлеба, поужинаю, прочту псалмы, сяду в дальней комнате, и будет заходить солнце, и за окном будут петь птицы, и долина погрузится во тьму. Погрузится во тьму и страна, упорно сеющая гибель и разрушение, слепая и глухая к протесту, лукавая, могущественная, невежественная. Нельзя быть с ней — нужно оставаться одному, в изгнании, в тиши, говорить, как говорят политзаключённые. Неважно, где именно, неважно, сколько силы в протесте и как он выражен; поэт в конце концов окажется там же, где и я. Он будет один, и он будет молчать, зарёкшись говорить то, чего не думает... и что хотят услышать... те, кто знает его по книгам.

Поэт должен быть свободен от всех, но прежде всего — от самого себя, поскольку именно на “самости” его и ловят. Свобода

обретается под тёмным деревом, растущим посреди ночи и тишины, под райским деревом, *axis mundi*¹ — у Креста».

Первый вариант был кратким. Позднее Мертон убрал из него два только что приведённых отрывка и дописал ещё четыре страницы. Изменился, стал мягче тон эссе, получилась своего рода поэма в прозе, которых у Мертона много. В последнем, третьем варианте по сравнению со вторым недостаёт только одного отрывка, начинавшегося сразу после слов «Мы на самом деле выбираем»:

«Я не хочу принадлежать миру обывателей, где не выбирают во-все или выбирают, поддавшись обману (оказавшись в ревущей толпе или насмотревшись паяцев на телеэкране).

Я не хочу быть гражданином номер 152037 или поэтом номер 2291. Я не признаю никаких классификаций, и пусть меня считают несознательным и вредным. Вашингтонский компьютер, наверное, уже проглотил меня, но он мной подавится. Я несъедобный — несносный священник, монах, о котором честные римские семинаристы, сверкая очками, говорят как о проблеме современной Церкви.

Приятен я или нет, это не важно; я не хочу быть ни тем, ни другим. Мне нет дела до того, что там не переваривают власть имущие, критиканы, церковники, домохозяйки, доморожденные социологи. Это их трудности. Мне им посоветовать нечего».

Вариант с этим отрывком был опубликован на испанском языке в Каракасе в июле 1966 года, а потом переиздавался в Южной Америке. На английском эссе вышло уже после третьей переработки.

(Из предисловия Роберта Дагги)

* * *

В жару горы кажутся голубыми. Лощина переходит в бурое пыльное поле. Слышно, как гудят машины, поют птицы, бьют часы.

¹ осью мира (лат.)

Облака высоки и огромны. Там летит неизменный самолёт — наверное, полный пассажиров из Майами. Что они за люди? Не моя забота. Они там, наверху, вне моего мира, сидят в тесном салоне, который словно и не движется. Их непостижимым образом оторвало от земли во Флориде, подвесило ненадолго с их бесконечными коктейлями, и опустит где-нибудь в Иллинойсе. Вырваться на время из привычного круговорота и поразмышлять — это уже кое-что!

Есть надо мной и другие миры. Пролетают самолёты, где о другом размышляют и другого напряжённо ждут.

Один — с бомбой на борту — низко летел надо мной, а я смотрел из леса прямо на закрытый отсек стальной птицы с научным яйцом внутри. Механическая утроба плавно раскрылась! Всё, во что я верю, чуждо этой железной матери. Но, как и все, я живу в тени крыльев апокалиптического херувима. Он изучает меня как нечто безликое. Наши номера опознают друг друга. Суждено ли им совпасть в доброжелательном компьютерном уме? Это меня не касается, потому что я живу в лесу, напоминая миру, что не хочу быть просто числом.

Мы и в самом деле выбираем.

* * *

В эпоху, когда так много говорят о том, что нужно быть «самим собой», я оставляю за собой право об этом забыть — у меня вряд ли получится быть кем-то ещё. По-моему, тот, кто стремится во что бы то ни стало быть «самим собой», рискует соткать плоть для тени.

Я не могу сказать, что очень уж свободен, хотя и живу в лесу. Меня обвиняют в том, что я живу здесь, как Торо, а не в пустыне, как Иоанн Предтеча. Отвечу на это, что не живу «как кто-то». Не живу и «не как кто-то». Все люди худо-бедно устраивают свою жизнь, так уж заведено. Мне же в моей нищете непременно нужна свобода.

Я живу среди деревьев и обречён ходить по лесу. Я и заключённый, и беглец. Сам не знаю как, родившись во Франции, я очутился в Кентукки. Долго думал, не отправиться ли дальше, но это было нереально. А теперь уже всё равно. Есть ли у меня «день»?

Провожу ли я «день» в каком-то «месте»? Деревьев тут много. И птиц. Это я знаю. Причём птиц знаю хорошо — они расположились парочками вокруг моей хижины (около двадцати видов). Мы неплохо уживаемся, у нас экологическое равновесие. Наша гармония придаёт новые очертания идее «места».

А вот вороны — те из другого мира, горласты и напыщенны, как люди. Их тут не пара, а множество. Они дерутся, обижают птиц, всё время воют.

* * *

В моём лесном убежище есть и экология разума, живое равновесие душ. Здесь поют не только птицы, но и Вальехо, например, Рильке, Рене Шар, Монтале, Жуковский, Унгаретти, Эдвин Мюр, Квазимодо, кое-кто из греков. Или — сухой, волнующий, едкий Никанор Парра. Бывает тут и Чуаньцзы, который, наверное, чувствует себя как дома в этом тихом лесу, где ничего не нужно объяснять. Тут и мирная компания молчаливых Цзы и Фу — Куньцзы, Лаоцзы, Меньцзы, Ту Фу. И Хун Нень, и Чао Чу, и рисунки Сенгаи, и большой изящный свиток от Суцзуки. Тут и сирийский отшельник Филоксен, и алжирский пустынный по имени Камю. Тут слышны пронзительная проза Тертуллиана и сухой воспалённый голос Сартра, диссонансы Одена и сладкие звуки Джона Солсбери. Растёт тут и древний лес, где поют гневные птицы — Исайя и Иеремия. А вот и неперменные женские голоса — Анжелы из Фолиньо, Фланнери О'Коннор, Терезы Авильской, Юлиании Норичской, наконец, самой сердечной — Раисы Маритен. Хорошо, когда выбираешь, что слушать в этом лесу, но голоса и сами выбирают, поднимаются из безмолвия. Чего-чего, а голосов здесь хватает.

* * *

Отшельник живёт без суеты. Он неприметен, ничего почти не решает, ни о чём не хлопочет, не раздаёт поручений. Вот и я не собираю посылок и не шлю их самому себе. Размеренная жизнь. Ни вопросов, ни ответов, ни проблем, ни решений. Проблемы начина-

ются там, у подножия горы. А решения — наверху, у водонапорной башни. Здесь же — только лисицы и лес. И нет нужды в тёмных очках. Моё «здесь» не греет никакое «там». Оно просто «здесь», и до «там» ему нет дела. Отшельник живёт безмятежно.

Монастыри — место жаркое. Разогретое разными «должен», «нужно», «следует». В обителях увлекаются ясностью — «всё должно быть понятным». Но чем всё понятней, тем больше работы впереди. Жизнь раскидывает ветви. Их нужно постоянно подрезать. От усердного ухода они только быстрее растут. Один побег удалят — три новых вырастет. И на каждом большой ветвистый вопросительный знак. Люди снуют по монастырю с важными сообщениями. Они хотят знать, все ли получили последние распоряжения. А может, кому-то уже поручили то, о чём я ещё не знаю? Не могли бы они поделиться со мной? Пойму ли я, о чём речь? Не придётся ли спорить? Не придётся ли встать и, прочистив горло, произнести: «По-моему, св. Бенедикт говорил об этом...»? Св. Бенедикт понимал, что монастырская жизнь выигрывает, если станет спокойней. Сегодня же все только и делают, что будоражат её. Убегая от суеты, переселяешься в скит, а все думают, что у отшельника какая-то особая миссия. Когда же обнаружится, что нет... Ну да ладно, это не моя забота.

* * *

У меня тут не скит, а дом. («Кто этот скит, с которым я видел тебя вчера вечером?...») Ношу я брюки. Занят тем, что живу. Молюсь — как дышу. Кто сказал «дзен»? Прополощите рот, если это вы. Когда увидите проходящую мимо медитацию, стреляйте в неё. Кто сказал «любовь»? Любовь бывает в кино. Духовной жизнью озабочен тот, кто очень занят, но понимает, что нужно быть духовным. Духовная жизнь — это вина. Здесь, в горах, оживает Новый Завет — иначе говоря, ветер веет между деревьями, и вы им дышите. Хочу ли я, чтобы меня поняли? Никого не зову в союзники. И не намекаю, что настанет день, когда все услышат весть: «НЫНЕ». Это не моё дело.

В четверть третьего, в самую тёмную и тихую пору ночи, я уже на ногах. Нездоровится, наверное. В первобытной потерянности ночи меня обступают одиночество, лес и покой; двигаясь во мраке, ищу свет, бодрствую, но слегка ропщу на то, что нужно вставать. Появляется свет, а с ним — икона. Теперь в глыбе темноты есть маленькая светящаяся комната и псалмы. Чуткие к свету, они, как растения, вырастают сами собой — молча, без усилий. Их стебли держатся на одной только милости, великой милости — *magna misericordia*. Слово «милость» само выговаривается в тишине и бесформенности ночи. А с ним и другое, не столь важное: «прости беззаконие моё», «омой меня», «очисти», «беззаконие моё я знаю»¹. *Rescavi*. Деловой мир с его войнами, политикой, культурой и всем прочим это не трогает. Случается, это не трогает и церковнослужителей.

Ещё слова: кровь, коварство, гнев. Недобрый путь. Путь гнева и войны, кровавый, обманчивый.

Лежащие во мраке холмы тянутся к югу. Там, за ними — кровь, коварство, тьма, гнев, смерть: Селма, Бирмингем, Миссисипи. Чуть ближе — атомный город, откуда каждый день вывозят радиоактивное вещество и складывают подобно сокровищу в подземный склеп, на котором стоит эта страна.

«Гортань их — открытый гроб; языком своим льстят, сердце их — пагуба»¹.

Кровь, ложь, огонь, ненависть, открытый гроб, пагуба. Милость, великая милость.

Просыпаются птицы. Начинает светать. Через час-другой проснутся города, людей будут ублажать восхитительные светящиеся улыбки производства и бизнеса.

¹ Пс 50.

* * *

- Почему вы живёте в лесу?
- Нужно же где-то жить.
- Вы чувствуете себя одиноким?
- Да, иногда.
- Вам досадили люди?
- Нет.
- Тогда вы просто решили уйти в монастырь?
- Нет.
- Что вы думаете о будущем монашества?
- Ничего. Я вообще об этом не думаю.
- Правда ли, что вы повредили спину, занимаясь йогой?
- Нет, не правда.
- Правда ли, что вы практикуете тайком дзен?
- Простите, я не понимаю по-английски.

* * *

Монахи, как известно, безбрачны, а отшельники — ещё безбрачней. Нет, я вовсе не против женщин — просто я не понимаю, почему нельзя любить обоих сразу — и Бога, и женщину. Ведь если Бог ревнует человека к жене, то зачем же Он её сотворил? Много говорят о женатом священстве. Это любопытно. О женатых отшельниках пока молчат. Как бы то ни было, у меня тут кругом иконы Пресвятой Девы.

Я, можно сказать, обручился с лесной тишиной. Женой моей будет нежная и тёмная теплота всего мира. Она открывает свою тайну тем, кто слушает в безмолвии, но в этой тайне — всё, что шепчут на своих ложах влюблённые. И не мой ли долг оберегать тишину, молчание, нищету, невинную никчёмность, в которых — средоточие любви? Я ухаживаю за этим растением в полночь, в тишине поливаю его псалмами и пророчествами. И оно становится драгоценнейшим из деревьев в саду: и древним райским дре-

¹ Пс 5.

вом, и *axis mundi*, космической осью, Крестом. *Nulla silva talem profert*. Такое дерево только одно. Его нельзя размножить. Это уже неинтересно.

* * *

Я непременно должен видеть первые проблески света. Я должен быть при воскресении Дня, в одиночестве и полном безмолвии наблюдать, как восходит солнце. В тот самый миг от высоких дубов из леса на востоке приходит слово «ДЕНЬ», каждый раз новое, пререкаемое на неведомом языке.

* * *

Проповедую птицам: «Досточтимые друзья, благородные создания, мне нечего вам сказать, кроме одного: оставайтесь сами собой, будьте птицами. Тогда вы — сами себе проповедь!»

Они отвечают: «Эта проповедь тоже лишняя».

* * *

Ритуалы. Мою кофейник в бадье с дождевой водой. С опаской подхожу к флигелю, там — уж, он обычно лежит, свернувшись на балке. Обращаюсь к ужу, намекаю, что ему там не место. Ритуальный вопрос, звучащий каждое утро в этот час: «Ты там, шельмец?»

* * *

Ещё ритуалы. Опрыскиваю кровать (тараканы и комары). Закрываю все окна с южной стороны (жара). Оставляю открытыми — с северной и восточной (прохлада). Не запираю и с западной, до июня, пока жара не обступит со всех сторон. Опускаю шторы. Беру флягу. Чётки. Часы. Книгу, которую нужно вернуть в библиотеку.

Пришла пора наведаться к роду человеческому.

* * *

Отправляюсь в путь, иду под соснами. В долине уже жарко. Там работают машины — наверное, сажают кукурузу. Лес благоухает.

В дубовой роще подул прохладный западный ветер. Вот тропа, на которой я однажды убил мокасиновую змею. А тут — видел лису, грациозно, с оглядкой бежавшую к норе с кроликом в зубах. А вот и бетонный крест. Послушники спасли его, когда рушили монастырскую стену, и поставили в лесу. Люди думают, что здесь кто-то похоронен, а это просто крест. Почему бы в лесной чаще и не стоять бетонному кресту?

Где-то наверху белка проделывает головокружительные трюки. С дерева на дерево. Кокетство полёта.

Выхожу на опушку над жаркой ложиной и старым загоном для овец. Вот и монастырь — ослабилась окнами, гудит от работы.

Длинная жёлтая стена обращена к солнцу, а прямо под ней — крутой склон с фруктовыми деревьями и ульями. Одно из самых блёклых строений на свете. И всё-таки, как ни старались его обезличить и изуродовать, многие обитатели выглядят ещё хуже. Он так зауряден, что, наперекор самому себе, непритязателен. Прискорбная неудача церковной архитектуры — хотели сотворить ничтожество, но и тут до конца не преуспели! Обливаясь потом, взбираюсь к послушникам и ставлю флягу на бетонный пол. Звонят в колокола. Здесь я монах, и у меня есть обязанности и послушания. Покончив с ними, я вернусь в лес, где я — никто. В хоре поют молодые монахи, то терпеливые, тихие, с очень ясными глазами, то задумчивые, кроткие, смущённые. Сегодня, пожалуй, расскажу им о «Литл Гиддинг» Элиота, разберу первую часть — «Весна посреди зимы — особое время года...» Они будут внимательно слушать, думая, что кто-то другой говорит им о какой-то другой поэме.

* * *

«Аллилуйя» второго гласа — это мощь и основательность латыни, торжественный распев, стоящий на «ре», как на таинстве, присутствии. К «ре» всё неминуемо возвращается. Sol-Re, Fa-Re, Sol-Re, Do-Re. В промежутке много других нот, но слышна только одна. Гармония: каждая нота звучит отчётливо, но все вместе сливаются в одной. (По странному недосмотру в монастыре всё ещё поют григорианским распевом. Это ненадолго.)

* * *

В трапезной читают послание Папы, порицающее войну, бомбардировки мирных сёл, карательные акции, убийства заложников, пытки пленных (во Вьетнаме). Понимают ли в этой стране, о ком он говорит? Все привыкли, что Папа клеймит только коммунистов, и давно перестали слушать. Монахи, кажется, понимают. У чтеца дрожит голос.

* * *

Возвращаюсь в свою душную хижину в полуденную жару, иду с полной флягой полем, дубовой рощей, мимо гумна вверх на гору, потом сосновым лесом. Жаворонки с пением вылетают из высокой травы. Под широким навесом гудит шмель.

Сажусь в прохладной дальней комнате, где не звучат уже слова, где всякий смысл погружён в гармонию жары, соснового аромата, тихого ветра, пения птиц и основной ноты, неслышной и непронизносимой. Время обязанностей прошло. В полуденном безмолвии есть всё, и всё неисповедимо в господствующей ноте, к которой восходят все прочие звуки и устремляется всякий смысл, дабы обрести полноту. Спрашивать, когда она зазвучит, значит потерять полдень. Она уже прозвучала, и всё вокруг вторит ей.

* * *

Подметаю свою хижину. Расстилаю на солнце одеяло. Кошу траву во дворе. В середине дня очень жарко. Пишу. Скоро унесу одеяло и буду стелить постель. Солнце ушло за тучи. День кончается. Наверное, будет дождь. Звонит монастырский колокол. В долине рычит преданный цистерцианский трактор. Я нарежу хлеба, поужинаю, прочту псалмы и уйду в дальнюю комнату. Будет садиться солнце, запоют под окном птицы, долина погрузится во тьму. Меня снова обступят молчаливые Цзы и Фу (люди без служений и обязательств). Птицы кружат над своими гнездами. Я сижу на прохладной соломенной подстилке и глажу на постель, в которой буду спать один под иконой Рождества.

Тем временем в небе над моей головой пролетает стальной апокалиптический херувим, бережно неся своё яйцо и своё послание.

Семирусная гора

Последняя глава¹

Тихо-тихо кругом.

Утренние лучи падают на сверкающий новой краской надвратный дом. Когда смотришь отсюда на холм св. Иосифа, кажется, что пшеница уже созрела. Монахи, готовящиеся к рукоположению в дьяконы, вскапывают гостиничный сад.

Очень тихо. Я размышляю о монастыре, монахах, моих братьях и отцах.

У всех множество дел. Кто занят готовкой, кто — одеждой, кто чинит трубы, кто — крышу. Кто красит дом, кто метёт комнаты, кто драит полы в трапезной. Один, надев сетку, идёт на пасеку собирать мёд. Трое или четверо весь день стучат на машинках, отвечая на письма несчастных, которые просят за них помолиться. Одни чинят трактора и грузовики, другие на них ездят. Кто-то из братьев запрягает упрямых мулов, пасёт коров, ухаживает за кроликами. Один говорит, что умеет чинить часы, другой имеет виды на новый монастырь в Уте.

Тот же, кто не приставлен к цыплятам или свиньям, не пишет буклеты и не рассылает их по почте, не делает сложных подсчётов по церковной книге, одним словом, не имеет особого послушания, всё равно не останется без дела: пойдёт полоть помидоры или рыхлить кукурузные грядки.

Когда зазвонит колокол, я встану от пишущей машинки и закрою окна своей рабочей комнаты. Брат Сильвестр спрячет газонокосилку, этого механического уродца, и его помощники отправятся домой, прихватив мотыги и лопаты. Если останется время до монастырской Мессы, я возьму книгу и пойду в аллею. Остальные усядутся в скриптории и сочинят свои богословские доклады, делая выписки из книг на тыльной стороне конверта. Двое останутся, перебирая чётки и чего-

¹ Переведено с: Thomas Merton. *The Seven Storey Mountain*. Complete and unabridged edition. Image Books, NY, 1970, pp. 500—512.

то дожидаясь, у выхода из маленькой галереи в монастырский сад.

А после все пойдут петь, и будет душно, и громко заиграет орган, и органист-новичок будет то и дело сбиваться. В алтаре же Христос, Которому мы принадлежим и Который собрал нас, будет принесён Богу, Жертва вечная.

Congregavit nos in unum Christ amor¹.

Америка приобщается к созерцательной жизни.

В истории христианской духовности много неясного; непонятно, скажем, почему отцы Церкви и современные Папы так противоречиво говорят о деятельной и созерцательной жизни. Блаженный Августин и святой Григорий скорбели по поводу того, как «бесплодно» созерцание само по себе, стоящее, как они думали, выше действия. Папа же Пий XI в конституции «*Umbratilem*» объявляет, что созерцательная жизнь гораздо плодотворнее для Церкви (*multo plus ad Ecclesiae incrementa et humani generis salutem conferre...*), чем научение и проповедь. Совершенно не понятно, как такое можно утверждать в наше деятельное время.

Всякий сведущий в этом деле скажет, что святой Фома учил о трёх призваниях — деятельном, созерцательном и смешанном, из коих высшим считал последнее. В доминиканском ордене, к которому принадлежал сам святой, оно было главным.

Вместе с тем, вторя «*Umbratilem*», он писал: *Vita contemplativa simpliciter est melior quam activa* (по сути, созерцательная жизнь выше жизни деятельной) да ещё ссылаясь на языческого философа Аристотеля и доводы естественного разума. Вот вам и эзотерический вопрос! Правда, подытоживая, он говорил уже на христианском языке. Созерцательная жизнь прямо и непосредственно обращена к любви Божией, и нет ничего более совершенного и достойного похвалы. Поистине, без любви любая заслуга — ничто. Зная же, как достоинства одного члена влияют на всё Мистическое Тело, легко согласиться, что созерцание вовсе не бесплодно. На-

¹ Да соединимся мы в любви Христовой (лат.).

против, оно-то и делает человека духовно плодоносным. Святой Фома считает именно так.

Допуская, что деятельная жизнь *может быть* совершеннее созерцательной, он делает столько оговорок, что многократно усиливает сказанное им о созерцании. Во-первых, действие тогда совершеннее радости и покоя созерцания, когда совершается от избытка любви к Богу (*propter abundantiam divini amoris*) — для того, чтобы творить Его волю. Оно не постоянно и откликается на то, что нужно именно сейчас. Действие совершается только во славу Божию и не отрывает от созерцания. Мы действуем по долгу и, как только позволит совесть, возвращаемся к могущественному и плодотворному молчанию, возводящему душу к Богу.

Созерцанию предшествует подвиг (упражнение в добродетели, усмирение плоти, дела милосердия). Само же оно — покой («всякое ныне житейское отложим попечение»), таинственное уединение, когда Бог приступает к душе в Своём безмерном и плодоносном безмолвии и она втайне познаёт Его (совершенства) — не столько зрением, сколько любовью.

Но не совершенен тот, кто не идёт дальше. Согласно святому Бернару Клервоскому, немощна душа, которая вкушает созерцание, но не исполняется любви и не стремится передать другим то, что узнала о Боге. Все без исключения великие христианские мистики: св. Бернард, св. Григорий, св. Тереза, св. Иоанн Креста, блаженный Ян ван Рейсбрук, св. Бонавентура — говорили о последних глубинах духа как о брачном союзе души с Богом, о том, что именно в нём святые черпают свою чудотворную силу, ровную и неистощимую энергию для служения Богу и ближнему, спасая тысячи вокруг, меняя ход религиозной и даже светской истории.

Именно поэтому святой Фома возвысил призвание, которое, как он полагал, возводит к таким вершинам созерцания, что душа исполняется ведения и открывает миру свои тайны.

По правде говоря, его скупая фраза: «Религиозные институты, поставленные проповедовать и учить, являются высшими по чину», — сбивает с толку. Невольно представляется благочестивый стара-

тельный клирик, снующий между библиотекой и учебным классом, и непонятно, как христиане могут на этом успокоиться. Но беда в том, что многие, в том числе и принадлежащие к «смешанным» орденам, вовсе не стремятся к большему. И тогда выходит, что если вы сносно читаете лекции, приравнивая к жизни кое-какие положения школьного богословия, то тем самым уже близки к совершенству. ...

Но нет, обратим же свой взор на пламенные слова о том, когда можно оставить созерцание ради действия. Прежде всего — *propter abundantiam divini amoris*. «Смешанная жизнь» лишь тогда выше созерцательной, когда любовь столь горяча и безмерна, что сама собой изливается в проповеди и научении.

Другими словами, святой Фома учит, что так называемое «смешанное призвание» выше созерцательного, если по сути своей более созерцательно. Этот вывод напрашивается сам собой и обязывает ко многому. Получается, что доминиканцы, францисканцы, кармелиты должны быть сверхсозерцателями. Иначе святой Фома противоречит самому себе.

Дотягивают ли до нужной высоты «смешанные» ордена в сегодняшней Америке? Не знаю. Во всяком случае, они нашли компромисс, распределив служения между монахинями и священниками. Монахини предаются созерцанию в обителях, а священники учат и проповедуют в колледжах и городах. Такое устройство не противоречит ни «*Umbratitem*», ни учению о Мистическом Теле, если, конечно, обстоятельства не допускают ничего иного. Но святой Фома начертал программу, гораздо более совершенную и подходящую для Церкви и каждого из её членов.

А что же созерцательные ордена? Их уставы и обычаи, казалось бы, располагают к созерцанию; если же у их членов ничего не получается, то уклад жизни тут не при чём. Допустим, эти ордена ни на йоту не отступили от замысла своих основателей. Посмотрим, нет ли в них чего-то ещё?

И оказывается, что чисто созерцательных орденов просто не существует, — в уставе каждого из них сказано о *contemplata tradere*.

Даже первоначальное «Уложение» (*Customs*) картузианцев, пекущихся о монашеском безмолвии и уединении, говорит о том, что монахи должны копировать манускрипты и писать книги, проповедуя миру пером даже тогда, когда уста хранят молчание.

Цистерцианцы такого правила не вводили. Более того, особым положением они ограничили выпуск книг и запретили поэзию. И несмотря на это их орден дал целую школу богословов-мистиков, прекрасное соцветие бенедиктинской духовности, по словам дом Берльер. Я только что цитировал главу школы, святого Бернарда, но если бы даже цистерцианцы вовсе не делились с остальной Церковью плодами созерцания, *contemplata tradere* осталось бы существенной частью их жизни, ведь аббат и духовники всегда питали братию добрым хлебом мистического богословия, горячим, дымящимся, только что вынутым из печи созерцания. Именно такое слово услышал некогда от святого Бернарда учёный клирик из Йорка Генри Мёрдек, который бросил книги и ушёл в лес, где буки и вязы учили монахов премудрости.

Настал черёд «деятельных» орденов. Как быть с ними? Да и есть ли они? Ни Малые сёстры, ни другие сестричества не могли бы полноценно служить, если бы не имели *contemplata tradere*, не делились плодами созерцания. Даже самое деятельное служение бесплодно, если нет внутренней жизни, и притом глубокой.

Как видно, нет такого ордена, где высшее из призваний, созерцание, было бы не просто возможно, но в той или иной степени обязательно, и где не нужно было бы делиться его плодами. Принцип святого Фомы остаётся неизменным: *contemplata tradere* — высшее из совершенств. Но наделять им одни лишь учительные ордена вовсе не обязательно. Они лучше других оснащены для того, чтобы передавать знание о Боге, которое имеют по любви к Нему; но есть ордена, призванные обрести это знание непосредственно, в молитве.

Как бы то ни было, делиться плодами созерцания можно по-разному. Не все пишут книги или произносят речи. Не все проповедуют, обращаясь прямо к душе. Зато молиться могут все; поистине,

огонь созерцания пронизывает всю Церковь, таинственно оживляя Тело Христово, хотя молящийся не всегда сознаёт это. Св. Фома, казалось бы, сводит всё к видимому, естественному общению (не очень понятно, почему должно быть именно так), но и в нём можно поделиться с ближним знанием Бога, полученным из мистического опыта.

Прочтите *Itinerarium* св. Бонавентуры и вы увидите, что лучше о высочайшем из призваний не писал никто. Великий святой говорил о том, что познал, уединившись на горе Альверно, в том самом пустынном месте, где некогда святой Франциск Ассизский, основатель его ордена, получил стигматы. Он молился, и ему открылось, что значило для Церкви это потрясающее событие. «Там, — писал он, — святой Франциск в молитвенном исступлении вступил в пределы Божественного (*in Deum transit*), дав пример совершенного созерцания... дабы всякий взыскующий Духа мог, как и он, перейти к Богу, выйдя из себя. Он учил этому собственным опытом, а не словами».

Вот ясный и подлинный смысл *contemplata tradere*, бесхитростно переданный тем, кто сам был совершенен в созерцании. Этот путь соединяет с Богом, преображает, возводит к вершинам таинственной жизни и мистического опыта, приобщает ко Христу так, что Христос, живущий в человеке, направляет все его поступки, Сам рождает в других желание искать того же дивного единения. Святые вдохновляют исходящей от них радостью, поразительной живостью, а точнее — тайным присутствием в них Христа, Которому они отдали себя целиком.

Заметьте, и это очень важно, что св. Бонавентура никого не выделяет, — Христос запечатлел Свой образ в святом Франциске, дабы привести к полноте созерцания, или, что то же, полноте любви, не избранных, особо одарённых монахов, а всех истинно верующих. В свою очередь, всякий, достигший этих вершин, привлечёт других. Поэтому *de jure*, если не *de facto*, всякий призван, пройдя горнило созерцания, стать одним духом со Христом, идти и возжигать тот огонь, который Он так хотел низвести на землю.

Призвание на самом деле одно. Учит ли кто, подвизается в монастыре, ухаживает за больными, состоит в ордене, женат или одинок, стар или молод, занят тем или другим — каждый призван к совершенству, углублению в духе, молитве, к тому, чтобы делиться плодами созерцания если не словом, то примером.

Возгоревшееся в душе пламя любви распространится в Церкви и в мире так широко, как ни сами мы, ни наше слово не способны. Святой Иоанн Креста писал: «Слабый проблеск настоящей любви дороже в очах Божиих и полезнее для Церкви, чем все дела, вместе взятые».

Бог знал нас прежде, чем мы родились. Он знал, что одни восстанут против Его любви и милости, а другие — возлюбят, едва научившись любить, и не отступятся никогда. Он знал, что ангелы на небесах возрадуются, когда обратятся заблудшие, и что Он когда-нибудь соберёт нас всех здесь, в Гефсимании, — для Себя, во славу Своей любви.

Жизнь в монастыре — часть таинства. Мы все приобщены к тому, что гораздо выше нас, и не вполне разумеем, что это такое. Но знаем, говоря языком богословия, что мы, члены Мистического Тела Христова, едины в Том, ради Кого всё сотворено.

В каком-то смысле мы постоянно странствуем, бредём неведомо куда.

Но в каком-то смысле мы уже прибыли на место.

В этой жизни нам не дано успокоиться, во всей полноте обладая Богом. Потому-то мы и странствуем во мраке. Но мы уже обладаем Богом по благодати, а значит, уже прибыли на место и обитаем во свете.

О, сколько ещё идти в поисках Того, в Ком я уже успокоился!

Ныне, Боже мой, я могу говорить только с Тобой, потому что никто больше не поймёт меня. Я не могу никого из смертных взять с собой в то облако, где свет Твой и мрак, где я одинок и растерян. Я не могу никому изъяснить, как мучительна радость о Тебе, какая это потеря — обладание Тобой, как я далёк от всего, когда пребы-

ваю в Тебе, как я умираю, рождаясь в Тебе, ведь сам я ничего об этом не знаю; знаю лишь, что хочу, чтобы это кончилось, и хочу, чтобы это началось.

Ты противоречишь всему. Ты бросил меня на ничейной земле.

Каждый день Ты водишь меня под теми же деревьями и твердишь: «Уединение, уединение». Ты всё переменял и бросил к моим ногам весь мир. Ты сказал: «Оставь всё и следуй за Мной», а после приковал к моим ногам пол-Нью-Йорка. Я стою на коленях за той колонной, а в уме моём шумно, как в конторе. И это — созерцание?

Как всё было прошлой весной, в день святого Иосифа, на тридцать третьем году жизни, когда я, будучи рукоположен в клир (*cleric of minor orders*), собирался принести окончательные обеты? Мне тогда казалось, что Ты просишь не мечтать об уединении и созерцательной жизни. Ты хотел, чтобы я оставался в послушании у старших, которые, я знаю наверняка, заставят меня писать, преподавать философию или дадут с дюжину других поручений. В конце концов я стану духовником, который четырежды в день проповедует мирянам, приезжающим в монастырь. А если и не буду занят чем-то одним, то мне всё равно не дадут покоя с двух ночи до семи вечера.

Мне ли не знать, как это бывает? Ведь я целый год писал житие матушки Берчманс, которую послали в новый траппистский монастырь в Японию и которая хотела уединиться для созерцания. И что с ней стало? Она дежурила при дверях, ухаживала за гостями, была ризничим, экономом, присматривала за сёстрами из мирян — всё сразу. А если её от чего-то освобождали, то лишь затем, чтобы дать другую работу, ещё тяжелее прежней — делали, к примеру, наставницей послушниц.

Martha, Martha, sollicita eris, et turbaberis erga plurima... Марфа, Марфа, ты заботишься о многом...

Готовясь принести обеты, я спрашивал себя, выполнимы ли они там, где я живу? Если я призван к созерцанию, но они мне в этом не помогают, а, напротив, мешают, — что тогда?

Но, думая так, я не смог молиться.

Когда пришло время обетов, я уже не знал, что такое созерцательная жизнь, к чему я призван, зачем мне цистерцианский орден. Да и что я тогда знал или понимал наверное? Я лишь верил: Ты хочешь, чтобы я принёс обеты именно здесь и именно в этот день. Зачем? Это знал только Ты. Я же должен был делать, что говорят, и ждать, когда наступит ясность.

В то утро отец аббат молился надо мной, а я лежал посреди храма ничком и улыбался, глотая пыль, потому что, не зная как и почему, сделал поразительно верный шаг. Но моей заслуги тут не было, это Ты совершил во мне Свою работу.

С тех пор прошло уже несколько месяцев; Ты не угасил моих устремлений, но даровал мир, и я начинаю понемногу прозревать. Начинаю понимать, что происходит.

Ты привёл меня сюда не для того, чтобы я навесил на себя бирку, знал своё место и получил чин. Ты хочешь, чтобы я думал о том, Кто Ты, а не кто я. Да Ты и не хочешь вовсе, чтобы я много думал, потому что возносишь меня над мыслью. Если же я непрестанно буду гадать, кто я, где я и зачем, то Тебе меня не поднять.

Я не драматизирую, не говорю: «Ты просил всего, и я от всего отрёкся». Я хочу, чтобы исчезло всё, что нас разделяет; а если я отступаю, полагая, будто нечто протянулось между нами, от меня к Тебе, то непременно замечаю, какая между нами пропасть, вспоминаю, как Ты далёк.

Боже, этот разрыв, эта удалённость убивают меня.

Поэтому я так жажду уединения, жажду исчезнуть для всего тварного, умереть для него, не знать его, ибо оно напоминает о том, как Ты далёк. Творение свидетельствует о Тебе, о том, что Ты вне его, хотя Ты и в нём. Ты создал мир и поддерживаешь его Своим присутствием, но он скрывает Тебя от меня. Я хотел бы остаться один, вне всего. *O, beata solitudo!*¹

Я знаю, что, только оставив всё тварное, смогу прийти к Тебе; я горевал оттого, что Ты словно приговорил меня оставаться здесь.

¹ О, блаженное одиночество (лат.).

Ныне же печаль моя ушла, и я предвкушаю радость — радость, рождающуюся из последней скорби. Я начинаю понимать. Ты научил меня и утешил, я снова надеюсь и познаю.

Я слышу, как Ты говоришь мне:

Я дам тебе то, чего ты хочешь: Я введу тебя в одиночество. Я поведу тебя путём, которого ты не поймёшь, — ведь Я хочу, чтобы он был самым кратким.

Знай же, что всё вокруг вооружится против тебя, будет попира- рать, ранить, причинять боль и так низведёт к уединению.

От этой вражды ты скоро будешь оставлен, изгнан, покинут, отвергнут и окажешься один.

Все, что коснётся тебя, будет обжигать; тебе будет больно, и ты будешь отдёргивать руку, покуда не оторвёшься от всего. И тогда ты останешься совсем один.

Чего бы ты ни возжелал, всё будет палить тебя, как раскалённое клеймо, и ты побежишь прочь от боли, чтобы быть одному. Всякая земная радость обернётся болью, ты умрёшь для неё и останешься один. Всё доброе, что любят, чего жаждут и ищут люди, придёт те- бя умертвить, отсечь от мира и его забот.

Тебя будут хвалить, и ты будешь заживо сгорать от похвал. Те- бя будут любить, и любовь смертельно ранит твоё сердце и погонит в пустыню.

Ты изнеможешь от тяжести даров, которыми будешь наделён. Ты узнаешь, как сладка бывает молитва, но пресытишься и побе- жишь прочь.

А после этих похвал и любви Я отниму все дары, и любовь, и по- хвалу, и ты будешь окончательно забыт, покинут, обратишься в ни- что, в отбросы. В тот день ты познаешь уединение, которого так долго жаждал, уединение, которое принесёт плод многих в душах тех, кого ты никогда не увидишь.

Не спрашивай Меня, когда это будет и как: на горе или в тюрь- ме, в пустыне или концлагере, в больнице или Гефсимании. Это не- важно, так что — не спрашивай, Я всё равно не отвечу. Ты всё уз- наешь сам, когда сбудется.

Ты вкусишь настоящего одиночества, Моей муки и нищеты, Я приведу тебя к вершинам Моей радости, и ты умрёшь во Мне, и всё обретёшь в Моей милости, которая ради этого тебя и сотворила и привела из Прадес на Бермуды, в Сент-Антонен, Окем, Лондон, Кембридж, Рим, Нью-Йорк, Колумбию, Корпус Кристи, колледж св. Бонавентуры, цистерцианский монастырь, к нищим, подвизающимся в Гефсимани, — с тем чтобы ты стал братом Богу и познал Христа опалённых.

SIT FINIS LIBRI, NON FINIS QUÆRENDI¹

¹ Это конец книги, но не конец исканий (лат.).

Примечания

1. Thomas Merton, *The Seven Storey Mountain* (New York: Harcourt Brace, 1948), 7. Далее — *SSM*.
2. *SSM*, 3.
3. *SSM*, 11.
4. *SSM*, 5.
5. Запись от 2 января 1950 года. Напечатано в: Thomas Merton, *The Sign of Jonas* (New York: Harcourt Brace, 1953), 262. Далее — *SJ*.
6. *SSM*, 8.
7. *SSM*, 9.
8. *SSM*, 14.
9. Ивлин Скотт. Письмо к Лоле Ридж от 15 января 1926 года. Напечатано в: Michael Mott, *The Seven Mountains of Thomas Merton* (Boston: Houghton Mifflin, 1984), 26. Далее — *Mott*.
10. *SSM*, 18.
11. *SSM*, 23.
12. *SSM*, 36.
13. *SSM*, 36.
14. *SSM*, 37.
15. *SSM*, 56.
16. *Mott*, 37—38.
17. *SSM*, 51.
18. *Mott*, 37.
19. *SSM*, 51—52.
20. *SSM*, 54.
21. *SSM*, 54.
22. *SSM*, 60.
23. *SSM*, 61.
24. *SSM*, 62.
25. *SSM*, 64—65.

26. SSM, 67.
27. SSM, 73—74.
28. SSM, 79.
29. SSM, 80.
30. Thomas Merton, «A Tribute to Gandhi», *Seeds of Destruction* (New York: Farrar Straus & Giroux, 1964); 222; его же: *The Nonviolent Alternative* (New York: Farrar Straus & Giroux, 1975), 178.
31. Mott, 60.
32. SSM, 82—83.
33. SSM, 83.
34. SSM, 83.
35. SSM, 85.
36. SSM, 88.
37. SSM, 93.
38. SSM, 103.
39. Thomas Merton, *My Argument with the Gestapo* (New York: Doubleday, 1969), 5. Далее — МАГ.
40. SSM, 108.
41. SSM, 108.
42. SSM, 109.
43. Письма к Джун Янгблат, от 22 июня 1967 года и 29 марта 1968 года, перепечатанные в: *The Hidden Ground of Love: The Letters of Thomas Merton on Religious Experience and Social Concerns*, edited by William H. Shannon (New York: Farrar Straus & Giroux, 1985), 637, 642—43. Далее — HGL. О Мертоне с этой точки зрения см.: Donna Kristoff, «Light That Is Not Light: A Consideration of Thomas Merton and the Icon», *The Merton Annual*, volume 2 (New York: AMS Press, 1989), 84—117; и Dom John Eudes Bamberger, «Thomas Merton and the Christian East», *One Yet Two: Monastic Tradition East and West* (Kalamazoo, Michigan: Cistercian Publications, 1976), 440—51.
44. SSM, 110.
45. SSM, 111.
46. SSM, 111.

47. SSM, 113.
48. SSM, 122.
49. SSM, 120.
50. SSM, 122.
51. Mott, 77.
52. SSM, 128.
53. Mott, 78.
54. Mott, 79.
55. Mott, 79.
56. MAC, 138.
57. Thomas Merton, *Collected Poems* (New York: New Directions, 1977), 104.
58. SSM, 124.
59. Письмо к автору, без даты.
60. SSM, 121.
61. SSM, 124.
62. *Restricted Journal*, January 30, 1965; Mott, 77.
63. Завещание Мертона после принесения первых обетов в Гефсиманском аббатстве, Abbey Archives; см. также: Mott, 90.
64. SSM, 124—25.
65. SSM, 126.
66. SSM, 123.
67. SSM, 127.
68. SSM, 128.
69. MAC, 149.
70. SSM, 133.
71. SSM, 134.
72. SSM, 133.
73. SSM, 139.
74. SSM, 137.
75. SSM, 147.
76. SSM, 148.
77. SSM, 145—46.
78. SSM, 149.
79. SSM, 149.

80. SSM, 153.
81. SSM, 153.
82. SSM, 181, 237.
83. SSM, 159.
84. SSM, 171.
85. SSM, 174.
86. SJ, 362.
87. SSM, 175.
88. Дневник периода учёбы в колледже св. Бонавентуры. Запись от 18 мая 1941 года. Не опубликовано.
89. SSM, 185.
90. William Blake, «Poems from the Notebook 1800—1803», *Complete Writings* (Oxford: Oxford University Press, 1969), 418.
91. SSM, 190.
92. William Blake, предисловие к: «Milton: a Poem in 2 Books», там же, 480.
93. SSM, 203; William Blake, «Auguries of Innocence», там же, 431—34.
94. SSM, 189, 191.
95. SSM, 196.
96. SSM, 196.
97. SSM, 198.
98. SSM, 201.
99. SSM, 200.
100. Thomas Merton, *The Literary Essays of Thomas Merton* (New York: New Directions, 1981), 387—453. Опубликовано посмертно.
101. SSM, 204.
102. SSM, 206.
103. SSM, 207.
104. SSM, 210—11.
105. SSM, 205.
106. SSM, 214.
107. SSM, 215—16.
108. SSM, 216.
109. Mott, 120—21.
110. SSM, 224—25.

111. SSM, 235.
112. SSM, 236.
113. SSM, 237—38.
114. SSM, 241.
115. SSM, 248.
116. SSM, 250.
117. SSM, 255.
118. SSM, 220.
119. SSM, 259.
120. SSM, 264.
121. SSM, 279.
122. Thomas Merton, *The Secular Journal of Thomas Merton* (New York: Farrar Straus & Cudahy, 1958), 75—78.
123. SSM, 284—85.
124. SSM, 292—93.
125. SSM, 296.
126. SSM, 298.
127. SSM, 301.
128. SSM, 305—6.
129. SSM, 308.
130. SSM, 301; в неопубликованной дневниковой записи от 30 января 1965 года есть особая ссылка, см. также: Mott, 162.
131. *Secular Journal*, 110.
132. *MAC*, 21.
133. *MAC*, 26—28.
134. *MAC*, 76—77.
135. *MAC*, 160—61.
136. Дневник периода учёбы в колледже св. Бонавентуры. Запись от 4 марта 1941 года.
137. SSM, 311—12.
138. *Secular Journal*, 267.
139. *Secular Journal*, 183.
140. *Secular Journal*, 203.
141. Дневник периода учёбы в колледже св. Бонавентуры. Запись от 4 августа

- 1941 года.
142. SSM, 345.
143. SSM, 345.
144. SSM, 348.
145. Письмо Марку Ван Дорену от 28 ноября 1941 года. *The Road to Joy: Letters to New and Old Friends*, ed. Robert E. Daggy (New York: Farrar Straus & Giroux, 1989), 13. Далее — *Road*.
146. *Secular Journal*, 269.
147. *HGL*, 10.
148. Письмо Бобу Лаксу от 6 декабря 1941 года. *Road*, 163.
149. *Road*, 15.
150. *Road*, 164—67.
151. SSM, 398.
152. SSM, 404.
153. *SJ*, 18.
154. SSM, 410.
155. Письмо Джеймсу Лафлину от 1 марта 1945 года. См.: Mott, 226.
156. Chrysogonus Waddell, *The Merton Annual*, volume 2, 1989, 69.
157. См.: Mott, 227.
158. Robert Giroux, в: *Merton by Those Who Knew Him Best*, ed. Paul Wilkes (New York: Harper & Row, 1984), 20.
159. *SJ*, 109.
160. Robert Giroux, в: *Merton by Those Who Knew Him Best*, 20.
161. *SJ*, 109.
162. *SJ*, 165.
163. *SJ*, 14.
164. *SJ*, 72.
165. *SJ*, 59.
166. *SJ*, 41.
167. *SJ*, 154.
168. *SJ*, 89.
169. *SJ*, 22.
170. *SJ*, 28.
171. *SJ*, 60.

172. *SJ*, 95, 97.
173. *SJ*, 113.
174. *SJ*, 120.
175. *SJ*, 157.
176. *SJ*, 125.
177. *SJ*, 151—52.
178. *SJ*, 170.
179. *SJ*, 186.
180. *Road*, 193.
181. *Road*, 23.
182. *SJ*, 193.
183. *SJ*, 207.
184. *SJ*, 269.
185. Дневник, запись от 30 марта 1957 года.
186. *SJ*, 251—52.
187. *SJ*, 273.
188. Беседа с автором.
189. *SJ*, 328.
190. *SJ*, 322.
191. *SJ*, 334.
192. *SJ*, 337.
193. *SJ*, 338—39.
194. *SJ*, 340—41.
195. *SJ*, 275.
196. *SJ*, 11.
197. Thomas Merton, *The Silent Life* (New York: Farrar Straus & Cudahy, 1957), 153—54.
198. Дневник, запись от 10 октября 1952 года.
199. Дневник, запись от 22 октября 1952 года.
200. Дневник, запись от 20 декабря 1959 года.
201. О подробностях встречи Мертона и Зилбурга и её последствиях см.: Mott, 290—99.
202. Mott, 296—97.
203. Mott, 298.

204. Thomas Merton, *Conjectures of a Guilty Bystander* (New York: Doubleday & Co., 1966), 12; оригинал дневниковой записи см.: Mott, 306.
205. Boris Pasternak and Thomas Merton, *Six Letters* в: Lydia Pasternak Slater (Lexington, Kentucky: The King Library Press, 1973). См. также: Thomas Merton, «The Pasternak Affair», *Disputed Questions* (New York: Farrar Straus & Cudahy, 1960); и *The Literary Essays of Thomas Merton*.
206. *Six Letters*, 23 октября 1958 года.
207. *Conjectures of a Guilty Bystander*, 140—42.
208. Это замечание было сделано в беседе с автором.
209. *HGL*, 136—37.
210. Thomas Merton, *No Man Is an Island* (New York: Harcourt Brace, 1955), 138.
211. Дневник, запись от 17 декабря 1959 года.
212. Mott, 340—41.
213. Дневник, запись от 8 мая 1960 года.
214. *HGL*, 483—84. В письме к Папе, датированном 10 ноября 1958 года, Мертон упоминал о своём интересе к России.
215. *HGL*, 484—85.
216. Стола выставлена в Центре изучения наследия Томаса Мертона в Беллармин-колледже в Луисвилле.
217. Дневник, запись от 3 октября 1960 года.
218. Дневник, запись от 26 декабря 1960 года. Оригинал на латыни.
219. Недатированное письмо к сестре Маделева, в: *Seed of Destruction* (New York: Farrar Straus & Giroux, 1964), 274—75; писания Юлианы Норичской см.: *Showings* (Ramsey, New Jersey: Paulist Press, 1978).
220. Дневник, запись от 25 апреля 1957 года.
221. Дневник, запись от 4 марта 1958 года.
222. Дневник, запись от 19 марта 1958 года.
223. Письмо Виктору Хаммеру от 14 мая 1959 года.
224. Дневник, запись от 2 июля 1960 года.
225. Дневник, запись от 29 октября 1960 года.
226. «The Nature Who makes nature», см.: Saint Thomas Aquinas, *Summa*, I.2, 85 nr 6.
227. *Hagia Sophia* была опубликована в: *Emblems of a Season of Fury* (New

- York: New Directions, 1961), 61—69; позднее вошла в переработанное издание: *Thomas Merton Reader*, ed. Т.Р. McDonnell (New York: Doubleday-Image, 1974) и: *The Collected Poems of Thomas Merton*, 363—71.
228. Thomas Merton, *The Behavior of Titans* (New York: New Directions, 1961), 65—71.
229. Впервые опубликовано в: *The Catholic Worker*; затем вошло в: *Collected Poems*, 345—49.
230. Опубликовано в марте 1962 года в изд-ве New Directions и вошло в: *Collected Poems*, 293.
231. Письмо к Дороти Дэй от 23 июля 1961 года, *HGL*, 139.
232. Письмо к Дороти Дэй от 23 августа 1961 года, *HGL*, 139—40.
233. *The Catholic Worker*, октябрь 1961 года.
234. Письмо Папе от 11 ноября 1961 года, *HGL*, 486. Монс. Каповилла, личный секретарь Папы, вспоминает, что письмо произвело на Иоанна XXIII впечатление. «Возможно, оно как-то повлияло на появившуюся вскоре энциклику *Pacem in Terris*», — полагает монс. Уильям Шеннон.
235. Письмо Джиму Форесту от 5 января 1962 года; *HGL*, 261. (Некоторые из приведённых здесь отрывков письма не были напечатаны в *HGL*).
236. Книга вышла в сентябре 1962 года. Мертон упомянут в выходных данных не как редактор, а как автор предисловия.
237. Письмо к Джиму Форесту, *HGL*, 266—68.
238. Письмо к Джиму Форесту от 14 июня 1962 года, *HGL*, 268—69.
239. См.: Mott, 379 и примечания (там же) пг. 228, 623.
240. Другая книга Мертона так никогда и не была опубликована, и виной тому были не цензоры, а издатели. Взгляды Мертона, по их мнению, были слишком старомодны. *Art and Worship* должна была выйти в 1959 году. Элоиза Шпет, прочитав рукопись, была возмущена мертоновским «художником-святым» с его жуткими иконами». К сожалению, книгу не напечатали даже на ротапринте. Впрочем, несколько глав были опубликованы в виде журнальных статей. Обзор этой до сих пор не вышедшей книги можно найти в эссе Донны Кристоф, см.: Donna Kristoff, «Light That Is Not Light», *The Merton*

Annual, volume 2, 1989, 93—97.

241. Боб Грип рассказывал мне, что видел экземпляр *Peace in the Post-Christian Era* на подоконнике в библиотеке Ватиканского Североамериканского колледжа в Риме.
242. Письмо поэту и издателю Джону Бикеру от 9 июля 1963 года.
243. Письмо Джиму Форесту от 7 июля 1962 года; *HGL*, 269.
244. Письмо Джиму Форесту от 26 апреля 1963 года; *HGL*, 274.
245. Дневник, запись от 10 мая 1963 года, *Mott*, 386.
246. *The Nonviolent Alternative*, «In Acceptance of the Pax Medal, 1963», 257—58.
247. Письмо к Дороти Дэй от 16 июня 1962 года; *HGL*, 145.
248. *Seeds of Destruction*, 129.
249. Письмо Джиму Форесту от 17 января 1963 года; *HGL*, 273.
250. Письмо Джиму Форесту от 29 января 1962 года; *HGL*, 261—63.
251. Там же; *HGL*, 262.
252. Письмо к Дороти Дэй от 20 декабря 1961 года; *HGL*, 140—43.
253. Письмо Джиму Форесту от 6 февраля 1962 года; *HGL*, 263—64.
254. Письмо Джиму Форесту от 8 декабря 1962 года; *HGL*, 272.
255. Письмо Джиму Форесту от 29 января 1962 года; *HGL*, 262.
256. Письмо Джиму Форесту от 21 февраля 1966 года; *HGL*, 294—97.
257. Thomas Merton, *Gandhi on Nonviolence* (New York: New Directions, 1965), 20.
258. Thomas Merton, *Raids on the Unspeakable* (New York: New Directions, 1966), 45—53.
259. Thomas Merton, *A Vow of Conversation* (New York: Farrar Straus & Giroux, 1988), 32—33.
260. *A Vow of Conversation*, 101.
261. *Raids on the Unspeakable*, 9—23.
262. Статья Мертона на эту тему вошла в: *The Nonviolent Alternative*, 259—60. См. также: *Thomas Merton's Struggle with Peacemaking* (Erie, Pa.: St. Benet Press, 1979), 28—30; и *Mott*, 406—7.
263. *A Vow of Conversation*, 140.
264. *A Vow of Conversation*, 144—45.
265. *A Vow of Conversation*, 193—94.

266. Письмо Джиму Форесту; *HGL*, 285.
267. Thomas Merton, *Life and Solitude*, магнитофонная кассета, сторона Б, «Hermit's Legacy: Life Without Care» (Electronic Paperbacks).
268. Письмо Бобу Лаксу от 16 октября 1965 года, опубликовано в: Bob Lax and Thomas Merton, *A Catch of Anti-Letters* (Kansas City, Mo.: Sheed Andrews & McMeel, 1978), 61.
269. Письмо Джиму Форесту от 11 ноября 1965 года; *HGL*, 285—86.
270. Письмо Джиму Форесту от 19 ноября 1965 года; *HGL*, 287—88. Дополнительные подробности об этом событии в жизни Мертона сообщает Форест, см.: *Thomas Merton's Struggle with Peacemaking*, и Mott, 427—30.
271. Письмо секретарю Братства Примирения по работе с Церковью Джону Хейдбринку от 4 декабря 1965 года; *HGL*, 424—26.
272. Это эссе включено в: *Faith and Violence* (Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 1968) и *The Nonviolent Alternative*.
273. *Faith and Violence*, 27.
274. Письмо Марко Паллису от 5 декабря 1965 года; *HGL*, 473—74.
275. Письмо Абдулу Азизу от 2 января 1966 года; *HGL*, 62—64.
276. Thomas Merton, «Evening: Long Distance Call», *Eighteen Poems* (New York: New Directions, 1985).
277. Я называю её просто Марджи, чтобы сохранить конфиденциальность.
278. Подробно об этом периоде жизни Мертона см.: Mott, 435—54 и 461—62, а также в: John Howard Griffin, *Follow the Ecstasy* (Fort Worth, Texas: Latitudes Press, 1983), 77—131. Если нет особых указаний, все цитаты в этой главе даны по этим двум источникам.
279. Mott, 443.
280. «Louisville Airport», *Eighteen Poems*.
281. «Certain Proverbs Arise Out of Dreams», *Eighteen Poems*.
282. «Never Call a Babysitter in a Thunderstorm», *Eighteen Poems*.
283. «Cherokee Park», *Eighteen Poems*.
284. *Road*, 97.
285. Письмо Бобу Лаксу от 26 января 1967 года, опубликовано в: *A Catch of Anti-Letters*, 110.
286. Guy Davenport, «The Anthropology of Table Manners», *The Geography of*

- the Imagination* (San Francisco: The North Point Press, 1981), 348.
287. Griffin, 139—40.
288. Это можно найти в сб.: *The Literary Essays of Thomas Merton*.
289. *Ishi Means Man* (Greensboro, N.C.: Unicorn Press, 1976).
290. Некоторые эссе Мертона на эту тему вошли в: *Contemplative in a World of Action* (New York: Doubleday, 1971) и: *The Monastic Journey* (Kansas City, Mo.: Sheed Andrews & McMeel, 1977).
291. Предисловия Мертона к изданиям его книг на других языках собраны в: *Honorable Reader* (New York: Crossroad, 1989).
292. Четыре выпуска *Monks Pond* собраны в книгу и опубликованы издательством University of Kentucky Press, 1989.
293. Многие лекции Мертона записаны на магнитофонных кассетах. Одна серия выпущена Electronic Paperbacks, другая — Credence Cassettes. Лекция Мертона о культуре карго была расшифрована и издана в: *Love and Living* (New York: Farrar Straus & Giroux, 1967), 80—94.
294. *Road*, 308—13.
295. Письмо Джиму Форесту от 17 июня 1967 года; *HGL*, 303.
296. 17 декабря 1967 года; Griffin, 175.
297. Письмо к Джун Янгблат от 19 ноября 1967 года; *HGL*, 638.
298. Письма Мертона Дом Флавиану вошли в: *School of Charity: The Letters of Thomas Merton on Religious Renewal and Spiritual Direction*, edited by Brother Patrick Hart (New York: Farrar Straus & Giroux, 1990).
299. Письмо к Судзуки от 12 марта 1959 года; в: *Encounters: Thomas Merton and D.T. Suzuki*, ed. Robert E. Daggy (Lexington, Ky.: Larkspur Press, 1988), 5—6.
300. Рассказ Мертона об этой встрече см. в: *Encounters*, 84—86.
301. Письмо Жану Леклерку от 9 марта 1968 года; см. в: *The School of Charity*, 369—70.
302. Thomas Merton, *Woods, Shore, Desert* (Santa Fe: Museum of New Mexico Press, 1982), дневник, который Мертон вёл во время поездки в Калифорнию и Нью-Мехико. Фотографии, сделанные во время путешествия, представлены в: *A Hidden Wholeness* (Boston: Houghton Mifflin, 1970) и в: *Geography of Holiness* (New York: Pilgrim Press, 1980).

303. Дневник, запись от 28 мая 1968 года.
304. Дневник, запись от 19 июля 1968 года; Mott, 529.
305. Дневник, запись от 29 июля 1968 года; Mott, 532.
306. Thomas Merton, *Asian Journal* (New York: New Directions, 1973), 156.
307. Письмо Дому Флавиану от 9 октября 1968 года, в: *The School of Charity*, 402. Более подробно о поездке Мертона на Аляску см. в: *Thomas Merton in Alaska: The Alaskan Conferences, Journals, and Letters*, ed. Robert E. Daggy (New York: New Directions, 1988).
308. *In Preview of the Asian Journey*, ed. Walter Capps (New York: Crossroad, 1989) опубликована расшифровка беседы с Мертоном в Центре.
309. *Asian Journal*, 4—5.
310. *Asian Journal*, 13—14.
311. Эссе Бхикху Хантипало о трезвении вошло в: *Asians Journal*, 297—304.
312. *Asian Journal*, 307—8, см. также: 315—17.
313. *Asian Journal*, 68—69.
314. *Asian Journal*, 100—102.
315. *Asian Journal*, 107.
316. *Asian Journal*, 112—13.
317. *Asian Journal*, 117.
318. *Asian Journal*, 178—79.
319. *Asian Journal*, 105—6.
320. *Asian Journal*, 132.
321. «Римпоче» по-тибетски означает «драгоценный» и употребляется при обращении к духовным наставникам.
322. *Asian Journal*, 142—45.
323. *Asian Journal*, 156—57.
324. По записи, расшифрованной братом Патриком Хартом.
325. *Asian Journal*, 163—66.
326. Письмо Джона Бэлфора брату Патрику Харту от 11 февраля 1976 года; Mott, 555.
327. *Asian Journal*, 233—35.
328. *Asian Journal*, 250.
329. Наиболее подробный рассказ о последних днях Мертона см. в: Mott, 561—68.

330. «Marxism and Monastic Perspectives», *Asian Journal*, 326—43.
331. Цитата из *Philokalia* («Добротолюбия») — собрания текстов о духовной жизни, в частности, об умной молитве, почитаемое в Православной Церкви. Английский перевод «Добротолюбия» в трёх томах опубликован изд-вом Faber & Faber.

Примечания переводчика

Публикации Мертона на русском языке (кроме вошедших в Приложение)

1. «Нравственное богословие от лукавого». Эссе из сборника «Семена созерцания»: «Русская мысль», 16—25 февраля 1998.
2. Из книги «Дзен и голодные птицы». Приложения к: Д. Т. Судзуки. «Мистицизм христианский и буддистский». — Киев, «София», 1996. С. 193—284.
3. «Созерцание в деятельном мире». Эссе из одноименного сборника: «Истина и Жизнь» № 8, 1997.
4. Несколько эссе из «Семян созерцания» в переводе Ольги Раевской-Хьюз: «ВРХД», 128 (1979). С. 108—126.

Переведены два сборника эссе Мертона о духовной жизни, ставшие классикой духовной литературы — «Семена созерцания» и «Одинокие думы». Просим всех, кто хочет пожертвовать на их издание или помочь в его осуществлении, писать секретарю Общества Мертона в России.

Электронный адрес:

akirilenkov@fors.ru.

Подборка материалов Общества Томаса Мертона в России

1. The Merton Seasonal. A Quaterly Review, совместный журнал Международного общества Томаса Мертона и Центра Томаса Мертона в Беллармин-колледже, выходит четыре раза в год, начиная с 1996 г.
2. The Merton Annual: Studies in Culture, Spirituality and Social Concerns. V. 11, 12 (1998, 1999 гг.). Журнал публикует статьи о Мертоне и на темы, которых он касался в своих книгах, биографические изыскания, рассказы очевидцев, неопубликованные тексты Мертона, фотографии.

3. The Merton Journal, v. 3, № 2, 1996 — журнал Британского общества Томаса Мертона, выходит два раза в год.
4. Your heart is my hermitage: Thomas Merton's vision of solitude and community. Papers presented at the Southampton conference of the Thomas Merton Society (of Great Britain and Ireland), May 1996.
5. A. M. Allchin. *The worship of the whole creation: Merton and the Eastern Fathers*. Sobornost, v. 18:2, 1996.
6. Monica Furlong. *Merton. A Biography*. London, 1980.
7. William H. Shannon. *A Silent Lamp: The Tomas Merton Story*. N-Y, 1992.
8. William H. Shannon. *Something of a Rebel: Tomas Merton, his Life and Work. An Introduction*. N-Y, 1998.
9. A Search for Solitude. The Journals of Thomas Merton, v. 3, 1952—1960.
10. Thomas Merton. *Contemplative Prayer*.
11. Thomas Merton. *Opening the Bible*.
12. *The Hidden Grounds of Love*. The Letters of Thomas Merton on Religious Experience and Social Concerns. Ed. by William H. Shannon.
13. Thomas Merton. *A Day of a Stranger*.
14. Thomas Merton. *The Seven Storey Mountain*.
15. Thomas Merton. *Elected Silence*. (Сокращённая и переработанная версия «The Seven Storey Mountain», изданная в Англии).
16. Thomas Merton. *The Sign of Jonas*.
17. Thomas Merton. *The New Seeds of Contemplation*.
18. Thomas Merton. *The Thoughts in Solitude*.
19. Thomas Merton. *No man is an Island*.

Желающие получить доступ к этим материалам могут писать секретарю Общества:

akirilenkov@fors.ru

Книги Мертон в фондах Библиотеки иностранной литературы

1. Cables to the ace, or familiar liturgies of misunderstanding.
2. Conjectures of a guilty bystander.
3. Contemplative prayer.
4. Disputed questions.
5. Geography of holiness.
6. The literary essays of T. Merton.
7. Love and living.
8. T. Merton and James Laughlin: Selected letters.
9. The new man.
10. No man is an Island.
11. Original child bomb: points for meditation to be scratched on the Walls of a cave.
12. Prometheus. A meditation.
13. The road to joy: The letters of Thomas Merton to new and old friends.
14. Selected poems of Tomas Merton.
15. The seven storey mountain.
16. Thoughts in solitude.
17. Thoughts on the East.

Полный список работ Томаса Мертон

- 1944 — *Thirty Poems*.
1946 — *A Man in the Divided Sea*.
1948 — *The Seven Storey Mountain*.
1949 — *Seeds of Contemplation; The Tears of the Blind Lions; The Waters of Siloe*.
1951 — *The Ascent of Truth*.
1953 — *The Sign of Jonas*.
1955 — *No Man Is An Island*.
1956 — *The Living Bread*.
1957 — *The Silent Life; The Strange Islands*.
1958 — *Thoughts in Solitude*.

- 1959 — *The Secular Journal of Thomas Merton; Selected Poems.*
- 1960 — *Disputed Questions; The Wisdom of the Desert.*
- 1961 — *The New Man.*
- 1962 — *New Seeds of Contemplation.*
- 1964 — *Seeds of Destruction.*
- 1965 — *Gandhi on Non-Violence; The Way of Chuang Tzu; Seasons of Celebration.*
- 1966 — *Raids on the Unspeakable; Conjectures of a Guilty Bystander.*
- 1967 — *Mystics and Zen Masters.*
- 1968 — *Monks Pond; Cables to the Ace; Faith and Violence; Zen and the Birds of Appetite.*
- 1969 — *My Argument with the Gestapo; Contemplative Prayer; The Geography of Lograire.*
- 1971 — *Contemplation in a World of Action.*
- 1973 — *The Asian Journal of Thomas Merton.*
- 1976 — *Ishi Means Man.*
- 1977 — *The Monastic Journey; the Collected Poems of Thomas Merton.*
- 1979 — *Love and Living.*
- 1980 — *The Non-Violent Alternative.*
- 1981 — *The Literary Essays of Thomas Merton; Day of a Stranger; Introductions East and West: The Foreign Prefaces of Thomas Merton.*
- 1982 — *Woods, Shore and Desert: A Notebook, May 1968.*
- 1985 — *The Hidden Ground of Love: Letters on Religious Experience and Social Concerns (Letters, I).*
- 1988 — *A Vow of Conversation: Journals 1964-1965; Thomas Merton in Alaska: The Alaskan Conferences, Journals and Letters.*
- 1989 — *The Road to Joy: Letter to New and Old Friends (Letters, II).*
- 1990 — *The School of Charity: Letters on Religious Renewal and Spiritual Direction (Letters, III).*
- 1993 — *The Courage for Truth: Letters to Writers (Letters, IV).*
- 1994 — *Witness to Freedom: Letters in Times of Crisis (Letters, V).*
- 1995 — *Run to the Mountain: The Story of a Vocation (Journals, I: 1939-1941).*
- 1996 — *Entering the Silence: Becoming a Monk and Writer (Journals, II: 1941—1952).*
- 1996 — *A Search for Solitude: Pursuing the Monk's True Life (Journals, III:*

1952—1960).

1996 — *Turning Toward the World: The Pivotal Years (Journals, IV: 1960—1963)*.

1997 — *Dancing in the Water of Life: Seeking Peace in the Hermitage (Journals, V: 1963—1965)*.

1997 — *Learning to Love: Exploring Solitude and Freedom (Journals, VI: 1966—1967)*.

1998 — *The Other Side of the Mountain: The End of the Journey (Journals, VII: 1967—1968)*.

1999 — *The Intimate Merton: His Life From His Journals*.

Информация в Интернете

www.merton.org — Центр Томаса Мертона.

www.monks.org — Монастырь Мертона, аббатство Девы Марии Гефсиманской; на этом сайте есть ссылки на другие связанные с Мертоном ресурсы Интернета и электронные публикации Мертона и о нём.

www.ucl.ac.uk/~ucylrmp/ — Британское Общество Томаса Мертона.

Содержание

Предисловие	4
Предисловие к русскому изданию	9
<i>Pax Intransitibus</i>	15
Детство	18
Англия	26
Христос с иконы	33
Кембридж	38
Нью-Йорк	44
Жильсон, Хаксли, Блейк, Маритен	52
Обращение	58
Брат Иоанн Мертон, OFM	63
Колледж св. Бонавентуры	73
Гефсимания и Гарлем	78
Брат Людовик	83
Томас Мертон против брата Людовика	89
Обеты	95
Во чреве китовом	102
Отшельник с Таймс-сквер	108
Пробуждаясь от сна	116
Благословения	122
Айя София	125
Вынужденное молчание	132

Пастырь миротворцев	140
Монах под дождём	146
Отец Людовик, отшельник	152
Притча по имени Марджи	159
Член семьи	167
Я думаю об Азии	173
Всё — сострадание	181
Иона под покровом	192
Приложение	199
<i>Томас Мертон</i>	
Семиярусная гора. Предисловие к японскому изданию	199
Письма	203
Нравственное богословие от лукавого	214
Один день странного человека	219
Семиярусная гора. Последняя глава	232
Примечания	243
Примечания переводчика	257

Томас Мертон

* * *

Тихо, бесшумно
Ходит Христос по саду,
Гладит деревья,
И ветви легко выносят
Невыносимый свет.

Тихо, бесшумно
Ходит Христос по щелю,
Ищет ученика,
А тот, образован и робок,
Не верит словам.

Тихо, бесшумно
Ходит Христос полями,
Готовыми к жатве,
А ученик во сне
Бормочет: «Сейчас, сейчас...»

Что ж, ученик проснётся,
Когда расслышит историю,
А так — тихо, бесшумно
Господь этой самой истории
Роняет слёзы в огонь.

Перевод Наталии Трауберг

Книга Джима Фореста — не просто описание трудов и дней всемирно известного поэта, прозаика, эссеиста Томаса Мертона. Это рассказ о духовном пути человека, чья жизнь проходила в безмолвии траппистского монастыря, а сердце было открыто всему миру